

СЕРГЕЙ АНТОНОВ



**В
ГОРОДЕ
ДРЕВНЕМ**



Annotation

Действие романа разворачивается в 1943 году. Фронтовик Михаил Степанов, главный герой романа, после ранения возвращается в родной город, недавно освобожденный от гитлеровцев. Отчий край предстает перед Степановым истерзанной, поруганной землей... Вместе с другими вчерашними воинами и подпольщиками Степанов с энтузиазмом солдата-победителя включается в борьбу за возрождение жизни.

- [В городе древнем](#)
 - [ЧАСТЬ ПЕРВАЯ](#)
 - [ЧАСТЬ ВТОРАЯ](#)
 - [ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ](#)
 - [ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ](#)
 - [ЧАСТЬ ПЯТАЯ](#)
 - [ЧАСТЬ ШЕСТАЯ](#)
-

В городе древнем

СЕРГЕЙ АНТОНОВ



**В
ГОРОДЕ
ДРЕВНЕМ**

РОМАН



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



1

Степанов ехал в Дебрянск.

По обеим сторонам дороги, а подчас и прямо на ней стояли, валялись, громоздились друг на друга танки, бронетранспортеры, самоходные орудия, автомашины, остовы огромных платформ...

Разбитая дорога бросалась из стороны в сторону — то обходила сожженный танк, то орудие, осевшее набок словно для того, чтобы удобнее было ударить по цели, то колдобину, выбитую колесами и гусеницами сотен машин. Длинные прицепы — их каркасы скреплены массивными двутавровыми балками, — эти тяжеленные, громоздкие и неуклюжие сооружения, покинутые тягачами, застыли на склоне оврага. Искореженные части машин — гусеница танка, какое-то колесо, остов сожженного грузовика, остатки платформ — все это железо разбросано по полям.

Степанов не видел здесь сёл. Впрочем, каких там сёл!.. Сколько едет — и ни одного дома. Из-за пригорков не вылезали ни крыши с трубами, ни березы со скворечнями, даже дымка не видно.

Справа торчали стволы не то лип, не то кленов с немногими сучьями вверху: артиллерийский огонь скосил крону. Кое-где стояла еще не сжатая, полусгнившая рожь. Черные стаи птиц кружились над нею.

Тихо было на поле отгремевшей битвы. Сравнительно недавно, пятого августа, отгромыхал первый в истории войны салют войскам Западного, Брянского, Центрального, Воронежского и Степного фронтов в честь освобождения городов Орла и Белгорода. Он был услышан далеко, и все поняли, и друзья и враги, — это первый, но не последний. Продолжалось — после Сталинграда — неотвратимое.

Степанов всматривался. Что же осталось здесь?

Тянулась, все тянулась искромсанная земля... Слегка подпрыгивая, проплыл мимо расщепленный снарядом или миной березовый пенёк, промелькнул черно-серый прямоугольник — пепелище чьей-то усадьбы. Еще один прямоугольник, поменьше. Колодец — сруб есть, а журавля нету. Воронка. Еще одна. Перемолотая машинами черная земля. Следы гусениц танков — с дороги в сторону...

Все здесь участвовало в поединке. И вот враг отогнан, машины отдали все силы и валялись железным хламом, земля испепелена и оголена, люди — кто прошел вперед, кого снесли вон на ту высотку, где виднеется размытый дождями холмик и пирамидка с пятиконечной звездой...

И вдруг проскочил мимо покосившийся телеграфный столб с провисшими проводами, а на нем белела, поблескивая, фарфоровая чашечка изолятора. Цела?!

Так и запомнилось Степанову: поля, поля с танками и остовами сгоревших машин, пожарища, воронки и над ними — целехонькая фарфоровая чашечка.

Машина, на которой ехал Степанов, прогудела встречной трехтонке, в кузове которой стояло человек семь военных, и снова — тишина.

Грузовик с военными нырнул в ложбинку, скрылся за горочкой.

Минут через тридцать — сорок шофер, открыв дверцу кабины, сказал Степанову, стоявшему в кузове:

— Здесь...

На дороге был вкопан столб, а на столбе прибита доска с надписью:

«Это город Дебрянск. Боец! Запомни и отомсти!»

И сразу за столбом начиналась пустыня, усеянная битым кирпичом, скомканным, полусгоревшим кровельным железом, койками, скрюченными, вздыбленными или распластанными по земле. Сколько же здесь коек! Торчали еще на этом поле печи, холодные, одинокие, с жадно раскрытыми черными топками... И старательно обходящие груды кирпича тропинки, проложенные, как кому вздумалось, видимо, напрямую, но непонятно, от чего и к чему... В самом деле, куда они вели?

И ничего больше не видно было за столбом — необычными воротами города.

Грузовик остановился. Миша Степанов спрыгнул. Был он высоким, немного горбившимся молодым человеком, в шинели.

Машина, взревев, тронулась дальше, а Степанов, держа в руках небольшой чемодан и заплечный мешок, медленно зашагал по дороге. Уже ко многому подготовленный, он все же не ожидал увидеть такое. В смятении прокралась глупая мысль — сюда ли его привезли? Может, высадили не там, где надо? Но вот чернеют деревья поредевшего городского сада (горсад — так его называли до войны), за ним — спуск к реке... Чуть правее, над рекой, — куб собора с куполом, очень похожий на чернильницу с металлической крышкой... Но сейчас через купол просвечивает небо. В другом конце города, там, где был маслозавод, — очертания стен церкви со снесенной колокольней...

Дебрянск! От него, казалось Степанову, давно уже и навсегда отлетела жизнь...

Неподалеку от городского сада стоял дом, где Степановы снимали квартиру, рядом — школа, где он учился, телеграфный столб, до которого он всегда провожал Веру и где обрывались их свидания. Эта пустыня всего несколько недель назад была красивым, уютным и зеленым городком, в котором четыремя огромными окнами смотрел на

тихую улицу Верин дом, где произошло так много памятного. Помнилось, здесь стояло наклонившееся к земле дерево, и им с Верой нужно было пригнуться, чтобы пройти мимо. Истертые, с выемками, тротуары из белых плит были исхожены вдоль и поперек и знакомы до последней трещины...

Степанов посмотрел в сторону реки и увидел под горой, на которой некогда возвышалась школа, а сейчас торчат печные трубы, остатки свай деревянного моста, разрытые берега, увидел кучи земли, выброшенные взрывами и осевшие на русле...

Степанов остановился. В глазах щипало от слез. В груди — едкая боль. Жаль было города и чего-то еще, невозвратимого, что он сейчас не смог бы определить.

Ходил Степанов и раньше по золе, головешкам и кирпичам, видел и раньше печи и остовы сожженных домов, испытывал боль и ненависть, но такое терпеть еще не приходилось. Ведь это е г о город! Знал каждую улицу, почти каждый дом, и все напоминало о прошлом, частице его жизни...

2

Советская, главная улица города... Кое-где остались от двухэтажных кирпичных домов, самых высоких в Дебрянске — трехэтажного не было ни одного, — островерхие углы. Несколько деревьев... И вот здесь-то Степанов впервые увидел людей. Вон женщина, а вон еще одна... Остановились, пристально всматриваются с надеждой: не муж ли это или сын в шинели и с вещевым мешком?

Сейчас Степанов подойдет и заговорит, расспросит о знакомых. Он ускорил шаги, но не так-то просто здесь было идти: под ногами кирпичи, стекло, проволока...

— Здравствуй, милоч. Чей же ты будешь? — спросила одна из женщин.

— Степанов...

— Вернулись, значит... А мой-то, мой... — И отошла, утирая глаза.

— Ну, погоди, Аннушка... Погоди... — стала утешать ее другая.

Вскоре он встретил еще одну женщину. В старом ватнике, в платке, чиненых-перечиненых чулках... Заметив нового человека, она остановилась в ожидании.

— Здравствуйте, — как можно участливее приветствовал ее Степанов.

— Добрый день, милый... Вернулись? Вернулись... — Это был, к сожалению, не тот, о ком она думала дни и ночи. И указала взглядом на город: — Вот ведь как!.. Кто ж будете?

— Степанов я...

Женщина покачала головой:

— Не помню таких...

— Соловьевы, Кореневы здесь? — спросил Степанов.

— Не знаю, милый... Сама только нынче ноги приволокла. Ничего не знаю...

Квартал за кварталом шел он то по улице, то по тропинкам, проложенным вдоль и поперек, вкривь и вкось. Ни одного прямого угла!

Теперь Степанову долго никто не попадался.

Безлюдье. Тревожный покой. Тишина. И что-то еще, неотступно преследовавшее его... То был запах пепелищ...

Начало темнеть, когда Степанов вдруг заметил, что он прошел весь бывший город: впереди линия железной дороги, груды кирпича, оставшиеся от небольшого, но красивого вокзала.

Окраина. А за этой окраиной — такая же пустыня, как и в центре, только без печей...

Знакомое железнодорожное сооружение — кажется, пожарный сарай, теперь служивший, видимо, временным зданием станции, — оказалось справа от Степанова, и он вышел прямо к путям, где стояли платформы. Они были гружены бревнами. Две женщины наверху колыями придвигали к тонким скатам тяжелые кряжи, и те с грохотом свергались на землю.

— Осторожно! — кричали сверху. — Майка, не лезь под бревно!

Степанов посмотрел на Майку: девочка-подросток, тоненькую комплекцию которой не мог скрыть даже просторный, не по плечу, ватник.

Но, сбрасывая бревна, верхние сами все время работали с некоторым риском: перекладын между бревнами не было, не было

поэтому, собственно, и рядов. Скатывая одно, можно было рассыпать все остальные и вместе с ними слететь вниз.

Шесть женщин относили бревна в сторону, укладывая их в невысокие штабеля. Степанов поставил чемодан на землю, на чемодан — мешок, молча взялся за еловый ствол.

От девушек на станции Степанов узнал, что все организации и учреждения района размещены на краю города. Здесь уцелело с десяток домов. В небольших полукрестьянских домиках этой самой захолустной окраины жил и работал весь так называемый районный актив. Секретарем райкома комсомола, как выяснил Степанов, был Ваня Турин, его одноклассник.

После окончания школы Ваня Турин, комсомольский активист, не стремился, как почти все его товарищи, в Москву, Ленинград или Смоленск. (Почему-то три эти города притягивали дебрянскую молодежь больше всего.) Он остался на родине и устроился на мебельную фабрику, где его вскоре выбрали секретарем комсомольской организации. Так он и пошел по комсомольской линии. В последний приезд Степанова в Дебрянск Ваня Турин был инструктором райкома. Степанов даже присутствовал на каком-то молодежном митинге в горсаду, слышал выступление Турина.

Здесь, в этой части города, уже чувствовалась жизнь. Прошли двое мужчин, за шторами в окнах — свет керосиновых ламп, даже, кажется, голоса...

Степанов спросил, где райком комсомола, и ему указали домишко в три окна. Никакой вывески, как и на остальных, на нем не было. Планировку этих домов Степанов знал превосходно — все на один манер: тесовый холодный коридорчик, из него ход на кухню, где добрую греть занимает русская печь. Чистая половина, за кухней, разбита тесовой перегородкой надвое: «залу» — самую большую комнату в доме — и крохотную спальню...

Так оно и оказалось. Степанов прошел коридор и очутился в кухне. Здесь было бы совсем темно, если бы не свет топившейся печки. Из «залы» слышались голоса. Степанов понял, что идет бюро и оно, видимо, в самом разгаре. Войди он сейчас, Ваня бросится ему навстречу, полчаса будет толковать с ним: что? как? откуда? — а может, и совсем перенесет бюро, в общем, нарушит ход своих дел. Поэтому, как ни хотелось встретиться с другом сию минуту, Степанов

остался на кухне, сел у топившейся печи, стал смотреть на горевшие поленья.

— Следующий вопрос, — услышал Степанов голос Турина, — заявление Ободовой...

Кто-то вздохнул, стул с шумом отъехал в сторону, видимо, Ободова встала.

«Какая Ободова? — вспоминал Степанов. — Ободова, Ободова...» «Нина Ободова, ученица седьмого «А» класса, прочтет стихи «О Родине», — вспомнил он голос и интонацию преподавателя литературы, объявившего на каком-то школьном вечере ее выступление. На сцену — это было, кажется, в Доме пионеров — вышла невысокая девочка в короткой юбке. С ходу, едва дойдя до рампы, она начала читать стихотворение.

Нина Ободова читала громко, выразительно и под конец, когда окончательно освоилась с аудиторией, свободно и с большим чувством. Зал, где было много родителей, долго аплодировал. Слушателям нравилось и само стихотворение, и то, что читает его милая девочка, вся какая-то ясная и радостная, дочка Георгия Петровича и Нины Семеновны Ободовых, людей, уважаемых в городе.

Нина поклонилась в ответ слегка и с достоинством. Ободренная, она продекламировала второе стихотворение уже совершенно свободно и с еще бóльшим чувством. Ей опять аплодировали.

И вот сейчас Степанов услышал, как Турин читал заявление этой девочки. Нина Георгиевна Ободова, 1924 года рождения, комсомолка, русская, во время оккупации города работала в организованном немцами квашном пункте, потом — на каком-то складе, участвовала в вечеринках, куда заглядывали и офицеры. Свой комсомольский билет она спрятала. Когда пришли наши, отырла его, но увидела, что билет испорчен сыростью... Стали задавать вопросы:

— Где же ты его зарыла?

— В сарае... Он все время был у нас сухим, сарай, а потом протекать стал, а я не знала, что протекает...

— В этом и вся твоя вина?

— Нет...

— Вечеринки где устраивались?

— У соседей... — Нина отвечала с уважением к спрашивающим, но коротко, не оправдываясь. Чувствовала ли она себя виноватой или

считала, что говори не говори — не поймут?

— Немцы всегда бывали?

— Иногда...

— Что же они делали на вечеринках?

— Танцевали...

— Только и всего? — Кто-то хихикнул нехорошо, с намеком.

Молчание. На этот раз Нина уже ответила не без вызова:

— Только и всего!

— Ну, ну, Ободова! — осадил ее Турин. — Значит, фашисты танцевали с девушками... С твоими подругами, русскими?

— Да...

— А с тобой?

— И со мной...

Степанов услышал, как сразу, словно сговорившись, тяжело вздохнуло несколько человек, зашуршало, наверное по толстой оберточной бумаге, перо секретаря.

— Ну, хорошо, — продолжал Турин. — Ты рассчитывала, что наши, видимо, вернутся, и решила билет не бросать, а запрятать... Да еще, говоришь, в тряпочку завернула?

— Да.

— Значит, все-таки надеялась?

— Надеялась...

— Ну, а как же так: сидеть дома, работать на наших врагов, ждать, пока другие, такие же, как ты, снова вернут тебе родину?

Нина не ответила.

— Все ведь хотят жить и веселиться, — пояснил Турин.

И сейчас девушка не ответила.

— Значит, не такие, — сказал кто-то зло, и слова эти прозвучали приговором. — Воевали не такие.

В «зале» снова помолчали. Потом Турин попросил Ободову, пока бюро вынесет решение, подождать на кухне. Нина вышла.

Увидев солдата, освещенного пламенем звонко трещавших в печке поленьев, Нина прошла в темный угол и только там тихо всхлипнула.

Степанов со смешанным чувством жалости и неприязни посмотрел на нее. Нина немного подросла, повзрослела, и красота ее стала не детской... Свет из печки падал то на ноги в шелковых чулках,

то на платье, казавшееся сейчас сиреневым, с аккуратной овальной заплатой внизу... Овал этот был верной приметой нужды, и Степанов уже не чувствовал недавней неприязни к Нине Ободовой...

Вытирая лицо, она вдруг повернулась и узнала его.

— Миша? — чуть слышно проговорила она и непроизвольно подалась к нему.

Степанов не ответил и не поднялся.

— Вот как... — заметила Нина Ободова и с укоризной покачала головой. Всхлипывать она перестала.

Из «залы», откуда последние минуты доносились лишь приглушенные голоса, вдруг послышалось громкое:

— Да я бы ни одной такой билета не дал! Суки...

— Товарищ Гашкин! — одернул Турин одного из самых ретивых. — Выбирай выражения!

И вслед за этим донесся отчетливый глухой стук. Так могли стучать только костыли.

— «Выражения»... — повторил Гашкин. Видимо, он в гневе, стукнул костылями или переставил их с места на место. — Нас убивали, а они?! Немцев на своих пуховых постелях ублажали?

— Хватит, Игнат! — сказал Турин.

В «зале» стало тихо. Нину вызвали и, осудив ее поведение, объявили, что пока выдать ей новый билет райком не считает возможным.

Нина Ободова пробежала к выходу, не взглянув на Степанова.

Сразу все разошлись, быстро минуя темную кухню, где к тому времени дрова в печке догорели. Степанов проводил взглядом плотную фигуру одноногого, глухо стучавшего костылями — это был, очевидно, Гашкин, — и с широко распростертыми для объятий руками вошел в комнату, где остался Турин.

Тот сразу узнал старого приятеля, но — странно! — даже не выказал большого удивления.

— А-а, Миша? Откуда ты?

И тут же, словно только в этот миг поняв, что руки распростерты для того, чтобы обнять его, и что перед ним Маша, Ваня Турин бросился к Степанову.

— Не думал... Не думал... — говорил он. — Вот не думал... Раздевайся, садись...

Степанов разделся и сел.

Районный комитет комсомола занимал дом Клецова, бывшего при немцах владельцем ресторана и обежавшего с ними. В комнатах остались цветы, стол, комод, кушетка, вазы. Вазы использовались то как пепельницы, то как подставки для керосиновых ламп.

— Рассказывай, рассказывай! — теперь уже торопил Турин друга, не без удивления рассматривавшего необычную обстановку райкома. — Воевал, ранили?.. Серьезно?.. Где?.. Что будешь делать?..

Рассказывать... Да как о войне, в которую столько всего вместилось, вот так взять и все выложить? Год будешь рассказывать — и то всего не расскажешь!

Степанов ответил не сразу:

— Крещение получил под Вязьмой в сорок первом, — и пытливо взглянул на Турина: «Понимаешь?»

Турин лишь кивнул, хотя обо всем, что вкладывал в этот безмолвный вопрос Степанов, мог лишь смутно догадываться. А Степанов помнил...

К 7 октября моторизованные корпуса врага отрезали пути отхода 19, 20, 24, 32-й армиям. Но наши войска продолжали упорные, неравные и потому особенно кровопролитные бои, вначале сковывая действия двадцати восьми немецких дивизий. Вражеская группировка не добилась решающего успеха в наступлении на столицу, однако сражение в районе Вязьмы очень дорого обошлось нашим войскам.

— ...Но была не только Вязьма, — продолжал Степанов, — потом был и Воронеж, и Курск, и, конечно, десятки сел и деревень...

— Освобождал?

— Участвовал...

— А служил кем?

— Минометчиком...

— Ранило где?

— Под Курском...

— Тяжело?

— Нет... Бывает хуже! Я-то еще, можно сказать, легко отделался! Правда, еще контузия была. Вот и списали. Неужто!.. Да хватит обо мне! Как вы здесь?

Но Турин все не унимался:

— А к нам как попал?

— Попросил назначения...

— Молодец! — похвалил Турин. — Не каждый поедет.

— Да брось ты, Иван!.. — оборвал его Степанов.

И этот рассказ о себе, и похвала Турина показались Степанову зряшными: города нет, что-то в его жизни и сотен других людей сломалось навсегда...

— Ты где ночуешь? — спросил Турин.

— Не знаю...

— Останешься у нас, — решительно сказал Турин. — Ничего лучшего не найдешь... — И позвал: — Власыч!

Из комнатки, служившей, видимо, спальней, вышел рыжеватый парень.

— Вот председатель нашего «колхоза», — представил его Турин Степанову. — А это, Власыч, мой лучший друг, Миша Степанов, из самой Москвы... Как, примем?

Власыч и Степанов пожали друг другу руки.

— Конечно! — И Власыч сейчас же вышел.

Турин сказал, что он и инструктор Власов живут здесь, в райкоме.

— Совсем недавно, — продолжал Турин, — условия жизни были еще хуже. Войска и партизаны, партизанил и я, вступили в горящий город. Немцы взорвали все каменные дома, подожгли деревянные и по шоссе отступали на запад, оставляя позади себя пустыню. Пустыню в буквальном смысле слова. Нашим потомкам трудно будет поверить, что все делалось совершенно сознательно, со старанием, с целью уничтожить все следы человеческой деятельности на протяжении веков. Население: женщин, стариков, детей — всех, кого можно и кого нельзя, под конвоем угоняли на запад. И если бы не наша армия — не вернуться бы им назад! А вернулись — ни жилья, ни воды, ни хлеба. Негде вымыться, постирать белье... Теперь-то мы живем — не сравнить! Теперь у нас почти все есть!

— Что «все»?

— Мельница есть, сами муку мелем... Пекарню открыли...
Магазин... Работают парикмахерская, почта. Ты их видел?

— Нет. Ничего я еще не видел...

— Обязательно сходи посмотреть. И амбулаторию не видел?

— Нет.

— Посмотри, посмотри...

— Заболею, схожу...

— Нет, ты так посмотри, — настаивал Турин.

Несколько раз Степанов перебивал его, узнавал о школьных товарищах, одноклассниках. Турин сначала переспрашивал: «Кто это?» Потом, вспомнив, говорил:

— Ах, Колька? Ну да, Колька Журавлев? Колька не знаю где.

— Зоя?

— Зоя? — повторил Турин. — Зоя давно замуж вышла. В войну с матерью эвакуировалась.

И так же коротко говорил о погибших:

— Катю повесили. Она у нас связисткой была... Выследили... Будешь идти по Советской, могилку увидишь против фотографии. Это ее могилка.

О некоторых товарищах Турину сообщил Степанов. Окончили институты, многие работают на военных заводах. Но большинство, как выяснили сообща, на фронте: лейтенанты, капитаны и майоры. Есть даже один подполковник.

— А Маша Польшова?

— Вышла замуж за немца и уехала в Германию.

— Маша?!

— Да. Работала на квашпункте. Теперь мы там восстанавливаем склад для продуктов. Обязательно посмотри, — советовал Турин.

— А Лида?

— Лида? — Турин припоминал.

— Сасова. Перед тобой сидела на парте.

— Лиду немцы угнали. Видели ее бережанские в толпе... Отбили наши или нет, не знаю... Да, брат, дела... — заметил Турин и после паузы спросил: — Не женился?

— Да нет... А ты?

— Не успел...

Степанов спросил о родителях.

— Приткнулись в Белых Берегах... Дом неплохой... А мать твоя все еще в Саратове?

— Пока там... Слушай, а где Иван?

— Иван Дракин?

Степанов промолчал: «Сам знаешь! Кроме тебя был только один Иван».

— Дракин у нас уже с орденом... Был в партизанском отряде, потом ушел в армию. Все наши ушли в армию. Вот только Власыча, меня да еще двух-трех товарищей и оставили — город возрождать. Слово-то какое легкое — «возрождать». А на самом деле!.. — Турин лишь рукой махнул: что говорить! — Так вот, Дракин оставил нам в наследство типографскую машину, он в отряде ею заведовал, будем на ней газету печатать... Кстати, ты в райкоме партии еще не был?

— Когда же? — удивился Степанов.

— Тебя наверняка в редколлегию введут. Ты ведь человек пишущий... Не забыть подсказать... В редколлегию! В редколлегию!

Когда Турин начинал говорить о предстоящих делах, он увлекался и уже совсем был не похож на того Турина, который отвечал на расспросы Степанова о прошлом: не переспрашивал, не тянул, становился оживленным.

— В какую редколлегию? — недоумевал Степанов. — Что я могу? Я же ничего не знаю о здешней жизни.

— Ладно... Ладно... Это дело неблизкое... Газеты еще нет... К тому времени разберешься...

Степанов спросил еще кое о ком, Турин отвечал и все время сворачивал к сегодняшнему дню, к текущим делам и заботам.

В семилинейной лампе догорал керосин, и нагоревший фитиль вонюче дымил, протянув кверху тонкую, извивающуюся черно-бархатную ниточку.

Как только на минуту прекратили разговор, глаза у Турина вдруг закрылись, голова упала на грудь... Он вздрогнул, силой заставляя себя бодрствовать.

— Вот так-то, брат... — проговорил он.

Через минуту его опять охватила дремота, тяжелая голова сама собой стала клониться, клониться, подбородок уперся в грудь.

Степанов недвижно, какой-то оцепенелый, сидел и думал о дремлющем Турине. Он не завидовал ему, его рассудительности,

спокойствию, отрешенности от прошлого, хотя понимал, что так, может быть, лучше и наверняка легче.

Степанов долго удерживался от вопроса: что с Верой? Где она? Думал: спросишь — Турин сейчас же многозначительно улыбнется, а может, подмигнет: «Я еще тогда, брат, знал все...» Но сейчас Турин вряд ли был способен предаваться лирике, и Степанов решился, спросил:

— А Вера?

Засыпающий Турин вздрогнул, с трудом открыл слипающиеся глаза и, стараясь придать голосу бодрость, ответил:

— Хорошей учительницей будет... — И, помолчав, признался: — Ох уж этот хлебозакуп!.. В четыре часа сегодня встал. Да и спать было холодно... И вчера!..

«Какой хлебозакуп? Что он там говорит?!» Сдерживая нетерпение, как можно спокойнее Степанов спросил:

— Где же она?

— В школе...

— Здесь?!

— Ну да...

— В городе или в районе?!

— Да в городе же! На бюро она была. Разве не заметил?

Степанов хотел что-то сказать, встать — и не мог. Что-то прибило его. Он вспомнил: когда расходились с бюро, через темную уже кухню прошло несколько мужчин, две женщины. На них он даже не взглянул как следует. Его интересовал человек на костылях, кто так безжалостно и строго осуждал Ободову... Вспомнил сейчас: одна женщина была в сапогах, с сигаркой во рту, кажется, в ватнике... Другая... Другая — в пальтишке... Высокая... Так это и была Вера!

Степанов даже рассердился на Турина, словно тот все мог, но не захотел ничего сделать для их встречи. А почему он сам внимательно не посмотрел на проходящих женщин?.. Да потому, что даже и предположить не мог, что Вера — в городе. И как дурак сидел битый час у печки!

— Где она живет? — спросил Степанов, поднимаясь.

— Где жила, там и живет... Только не в доме, конечно, дома нет, а в подвале... Ты уж не туда ли собрался?

— Туда!

— Придется отложить... Во-первых, уже поздно, а она там живет не одна... Во-вторых, она уехала...

— Куда?

— В Красный Бор... Оттуда как раз один товарищ был с подводой, вот он ее и прихватил...

— Когда вернется?

— Завтра я отправлюсь по деревням, заеду за ней, вместе и вернемся...

Радость и досада одновременно охватили Степанова. Радость оттого, что Вера здесь, в городе, досада — что так нелепо он упустил ее и теперь вот жди целые сутки, пока она вернется из Красного Бора. А все-таки радости было больше, и, сразу подобревший к людям, Степанов вдруг проникся жалостью к невыспавшемуся другу:

— Ложись, Иван, ложись!

— Ты ел что-нибудь?

— Ел, ел... Ложись. Ты, значит, и хлебозакупом занимаешься?

— Хлебозакупом-то в основном и занимаюсь... Хлеб всем нужен...

Турин стал устраиваться на столе. Расстелил старое пальто, положил подушку...

— Ты на кушетке ложись...

Он уже расстегнул солдатский ремень, но в комнату, широко расставив руки и держа в них медный поднос с жареной картошкой, вошел инструктор Власов.

— Иван Петрович, — радостно сообщил Власов, — картошка! В райкоме партии жарил. Говорю, так и гак, гость из столицы. Дали под гостя. Садитесь, садитесь... Остынет!

Не спалось.

Степанов вышел на улицу. Его мучила какая-то безысходность, чувство, которого он не знал никогда, даже в тяжелые минуты на фронте. Города не было, и казалось, что одновременно с ним он безвозвратно потерял что-то...

Днем, возвращаясь со станции по узеньким тропкам, Степанов увидел неподалеку от большого холма, остатков дома, двух ребятишек. Железными прутами выковыривали они из груды золы и щебня плитки печного кафеля, обгорелые скобы... Попался медный подсвечник... Сковородка... Спорили, ссорились... Ненужное забрасывали как можно дальше... И подсвечник тоже полетел в сторону...

А холм этот — от дома, где жили Степановы. И подсвечник медный стоял у них на комодке. Ребята и понятия не имеют об этом. А через годы? Через годы уже никто не будет знать, что ходит по тем местам, где стоял дом Веры, их школа, живет там, где был небольшой сквер... Но город будет — просторный, светлый, многоэтажный. Будут квартиры со всеми удобствами... Отличный будет город!

В Дебрянске стояла ощутимая тишина. Ощутимой, вещной она казалась потому, что ясно, четко осознавалось: некому и нечему шуметь. Ни собак, ни радио, ни разговора, ни песен... Если посмотреть в сторону центра — три-четыре дымка над землей, над кирпичами. Кто-то в землянках еще не спал, сидел у железных печек... Люди в земле, как кроты.

Степанов свернул за угол и вдруг увидел свет в окне. Сначала не поверил. Но действительно, в окне такого же дома, какой занимал райком комсомола, горел желтоватый слабенький свет. Другое окно, видимо, как и полагалось, отделенное от первого перегородкой, не доведенной до самого потолка, еле светилось. Казалось, кто-то, вопреки позднему часу и правилам маскировки, зажег свет нарочно: пусть люди в беспредельной пустыне остановят взгляд на огоньке и порадуются, что есть, есть свет впереди!

Быстрее зашагал Степанов и вскоре остановился у освещенного окна. Такая же, как у Турина, «зала», дощатая перегородка, стол. Два полевых телефона в коричневых прочных ящиках. На столе — путаница проводов. Наспех прикрепленные к стене, они ведут в другую комнату. У стены, боком к окну, стоит среднего роста сухопарый человек. Полувоенный костюм защитного цвета, сапоги, широкий ремень, за который засунут палец левой руки. Что-то говорит, улыбаясь, поворачивая голову в сторону. Ага! Позади человека, у самой печки, — мальчик на стуле. Он ест картошку из походного котелка, зажатого между колен. Смотрит то на человека, то на картошку. Иногда поднимает голову, слушает. Свет лампы, стоящей

близко к нему, падает на лицо — и тогда в глазах мальчика можно угадать настороженность и затаенную боль.

Мальчик доел картошку, что-то проговорил, видно благодаря доброго человека, и встал, собираясь уходить. Из кармана грязного ватника вынул смятую кепку, надел на голову... Человек подошел к нему, что-то сказал, похлопав по плечу. Наверное, это участие трогало душу мальчика, и все же, когда Степанов вновь увидел его глаза, в них по-прежнему стояли напряженность и затаенная боль... Может, они и слабели постепенно от этих неслышных Степанову слов, ласковых похлопываний по плечу, но, наверное, их было так много, настороженности и боли, что исчезнуть сразу они не могли...

Степанов еще раз посмотрел на человека в полувоенном костюме, на мальчика и скользнул взглядом по фасаду. Между окнами была прибита дощечка. В темноте скорее угадал, чем прочел:

Дебрянский
районный комитет
Всесоюзной Коммунистической
партии (большевиков)

— Я знал, куда ехал.

— И все же я хочу предупредить вас, товарищ Степанов, о трудностях.

— Простите, но о них, кажется, можно догадаться самому.

— Хорошо. Жилья предоставить вам не смогут. Разве только койку где-нибудь...

— Я уже устроен.

— Вот и ладно... По вашей специальности сейчас в городе делать нечего: школы еще нет.

— Заметил...

— Не думайте, что о ней будут заботиться другие. Прежде чем преподавать литературу и русский язык, вам придется заниматься вещами, имеющими к вашей профессии весьма косвенное отношение.

— Чем именно?

— Помочь выяснить, в каких селах мы можем немедленно открыть школы. Составить списки детей в городе... Сколько ребят? Списки есть, но они неполны... Хватит ли нам бережанской школы? Тетрадей нет... Карандашей нет... Чернил нет... Всего не перечислить!.. Сходите пока на Бережок. Это слободка... Там сохранилась школа, но здание ее самовольно занято. Надо освободить.

— Хорошо.

Этот разговор происходил между Степановым и заведующей районо Галкиной, пожилой, с острым лицом женщиной.

Кроме районо в доме помещался райсобес и, судя по репликам из другой комнаты: «Мы этого делать не будем! У коммунхоза сейчас другие задачи!» — коммунхоз. Степанов и подумать не мог, что так жестко будет разговаривать со своим начальством, женщиной намного его старше, у которой время и невзгоды оставили следы на всем облике: морщины, толстые синие вены на больших, много поработавших руках... Но как только Степанов заметил нотки снисходительного сочувствия в ее голосе: «Бедняга! Угораздило же тебя из Москвы попасть в наш город!» — ожесточился в разговоре, хотя и сознавал, что поступает нехорошо.

Раздражало его и что-то еще в Галкиной, но пока он не мог определить, что же именно...

— Перспективных, стопроцентных работников у нас мало, — повествовала заведующая. — Некий Воскресенский уже старик, да и оставался здесь, у немцев. Я совершенно не знаю его... Кто он? Нужно познакомиться как следует, посмотреть. Прошу и вас — со всей армейской решительностью...

Заведующая была приезжая. Она и не догадывалась, что Степанов — дрянский житель, и говорила как с новым здесь человеком.

Степанов уже знал, что среди районных руководителей очень мало местных, большинство было приезжих, пришедших с армией и из партизанских отрядов. Он понимал, что Галкина, относящаяся к незнакомым ей людям с некоторым недоверием, права. Бдительность необходима. Но в то же время он не мог не удивиться, что Владимир Николаевич Воскресенский стал «неким Воскресенским», человеком, гражданские качества которого требуют проверки. Вот она, Галкина, человек проверенный, безупречный, а всякие здесь личности,

остававшиеся при немцах, это еще как сказать: может, сто́ящие люди, а может, и нет... Посмотрим, расспросим, заглянем в прошлое, сделаем выводы... Так, чего доброго, Галкина начнет копать и в его жизни, и, хотя там не найдет ничего предосудительного, копанье это было бы оскорбительно.

Так думал Степанов, поглядывая на пожилую женщину с настороженностью.

А Галкина, несмотря на нескрываемую неприязнь к ней Степанова, говорила с ним доверительно. И эта доверительность была неприятна ему. Как будто он что-то брал в кредит, не будучи в состоянии потом вернуть...

— Придется многое переосмыслить, пересмотреть, прежде чем начнем работу в школе. Школа — прежде всего идеология. Двадцать два немецких месяца — это все не так-то просто, как некоторые себе представляют... — Галкина говорила, говорила, настраивая несомненно «перспективного», «своего» работника на нужный лад.

Степанов уже не слушал. «Морщины... Вены на руках... А ей ведь не так уж много лет... Просто раньше времени постарела... В уголке — керосинка... На окне — железная кружка... На шкафу свернуто что-то вроде постели... Работает и живет здесь, не зная ничего, кроме работы от зари до зари...»

Степанову хотелось быть как-нибудь помягче, потеплее, посогласнее с этой измученной женщиной — и не мог.

— Простите, пожалуйста, — перебил он Галкину. — Я понимаю, что бдительность необходима. Что все не так просто. Но, слушая вас, можно подумать, что чуть ли не все здесь подавлены немцем.

— Я не говорю — все... Но людей нужно прежде всего узнать.

— Верно. Но многие из них давно уже известны нам. И они не могли перемениться, стать другими, сдаться, наконец. На таких людях земля держится. Проверять всех — это признать, что у нас нет ничего вечного, незыблемого... Что вообще у нас нет преданных людей. — И, заметив, что начинает горячиться, оборвал себя: — Да что там говорить!.. Таких, как Владимир Николаевич, я хорошо знаю. И его самого знаю восемь лет. Замечательный человек. И он не мог перестать быть русским, советским.

— Что это за Владимир Николаевич? — спросила Галкина, поправляя очки.

— Воскресенский, преподаватель истории.

— Ага! — Заведующая из-под очков быстро взглянула на Степанова: — Так вы что, местный, выходит?

— Да.

— Вы знали его восемь лет и не знаете последних два года. Хотя он-то еще ничего... Кажется, даже помогал партизанам.

— Я знаю его, — настойчиво повторил Степанов. — И представить не могу, что́ в нем надо проверять, к чему присматриваться!

— Это хорошо, товарищ Степанов. И Штайна знали?

— Ивана Ивановича?

— Не интересовалась именем-отчеством... Знали?

— Да.

— Восемь лет?

— Восемь лет.

— Что вы о нем можете сказать, товарищ Степанов?

— Отличный учитель и человек...

— Да? Так, по-вашему?

— По-моему, да. И не только по-моему...

— Штайн служил в городском управлении, или как там его называли, и понес заслуженное наказание. В лагерях... — Заведующая в упор смотрела на Степанова. — «Иван Иванович»... — добавила она, помолчав.

Степанов весь сжался, пригнулся, на миг закрыл глаза. «Неправда! Не может, не может этого быть!» Но, видимо, так было.

Словно не замечая его состояния, Галкина сказала:

— Начните, пожалуйста, с Бережка, со списков детей...

От начальства Степанов вышел в некоторой растерянности и остановился: куда же ему направиться теперь?

Война поворачивалась к Степанову другой, неизведанной стороной.

Одно дело, установив прицел, одну за другой кидать в ненасытную горловину тяжеленькие круглые тельца мин и слышать их взрывы, уничтожающие кровного твоего врага, чувствовать на плечах гнет чугунной плиты, которая придавливает тебя к земле, отступить с горечью, наступать, зная, что наконец-то выполняешь свое назначение

солдата, защитника Родины... Другое — вот это: первобытная жизнь, перепутанные людские судьбы, бесконечная мелочь дел...

Жить тяжело, а видимого врага, которого можно уничтожить — пусть ценою собственной жизни, — нет! Не стрельнешь по нему из винтовки, не дашь залп из миномета, даже «катюши» не помогут.

Степанов уже чувствовал, что здесь ему будет, возможно, в какой-то степени тяжелее, чем на фронте...

Фронт... Почти два года...

О начале войны Степанов узнал в комнате общежития. В этот день он собрался с товарищами в Музей изобразительных искусств имени Пушкина, и вдруг — война. Правильно и до конца понять тогда, что означали эти пять букв, ни он сам, никто из товарищей, пожалуй, были не в состоянии. Но разве можно теперь сидеть в маленькой комнатке общежития, читать о немецких романтиках, учить какую-то диалектологию, думать о Веселовском? Степанову и его сокурснику, с которым он жил в одной комнате, казалось, что все годные для военной службы мужчины уже получили винтовки и пулеметы и на машинах, поездах едут, мчатся в действующую армию.

В райвоенкомат сразу не пробиться, в райком тоже. А когда после ожидания и толкотни все же прорвались к одному из работников военкомата, услышали:

— Старшекурсники? Быть может, и позовем, но когда потребуется. Пока учитесь...

С каждой передачей Совинформбюро, которую ждали и слушали обычно всей группой, становилось яснее и яснее: страшное бедствие, о котором нельзя было и помыслить, обрушилось на страну и одолеть врага будет не так-то просто. Враг силен. Они, конечно, еще не знали, что по плану «Барбаросса» Гитлер рассчитывал к 15 августа захватить Москву, а до 1 октября войну с СССР вообще закончить, чтобы никакого СССР к этому времени уже не осталось. Население? Это фашистами решалось просто: незначительная часть его останется на месте, но без каких-либо прав, остальная — уничтожится.

Бомбили наши города... Лилась кровь...

Окна домов в Москве покрылись крестообразно полосками бумаги, зашторивались светонепроницаемой бумагой или кусками материи, были установлены дежурства на крышах и в подъездах,

готовились бомбоубежища. Одно из них оборудовали студенты общежития.

Дипломы их курс получил досрочно, а через несколько дней Степанов, как и другие студенты и преподаватели, записался в народное ополчение. Что это за народное ополчение? Видно, как и во времена первой Отечественной: и стар, и млад идут защищать Отчизну, идут на врага. Говорили, правда, и другое: будут охранять мосты, склады, военные объекты в городе...

Ополченцев поселили в школе, неподалеку от института. Классы не узнать: в них сооружены двухэтажные нары. У двери и калитки в школьный сад выставлены посты. Много часов ополченцы занимались строевой подготовкой.

Степанов с товарищами несколько дней сочиняли походный марш. Но странное дело — марш не получался. Столько стихов писали для стенгазеты, а вот придумать текст походной песни не могли. Только одну рифму и подыскали: вперед — поход. Песня должна быть бойкой, веселой, ведь через несколько дней, видимо, они вступят в дело, а своей песни нет... Конечно (иначе и помыслить нельзя!), воевать они будут своей ротой — все институтские. Свои взводы, своя рота, быть может, свои командиры, которые свято блюдут законы институтского братства и студенческие привычки...

О чем они думали тогда? Смех...

Никому не нужна была бойкая песня, которая, кстати, так и не получилась... Не кончилась война через месяц-два... И воевали на своей земле... Много было крови, лишений и потерь. Много.

Потерял Степанов и слепую, бездумную веру в громкое слово, истинность которого не постигнута душой, не проверена собственным опытом.

Верь другому, но и сам думай. Верь, но решай и сам. За судьбу страны отвечаешь и ты.

И сейчас многое нужно решать самому. А если у тебя твердые взгляды, убеждения, отличные от других, то научись и отстаивать их, не боясь усложнить себе жизнь.

Степанов осмотрелся.

Шел он, оказывается, на Бережок.

Первомайской улицей город спускался к небольшой реке Снежадь, через которую был перекинут деревянный мост. А за мостом — село Бережок, по незнанию названное Галкиной слободкой. Перед войной Бережок почти слился с городом: приезжие из деревень строили на лугах и пустырях между Дебрянском и селом дома, распахивали землю под огороды. Сейчас усадьбы эти смахнуло огнем и Бережок оказался как бы снова откинутым от города.

Моста не было, редкие машины и подводы, люди с тележками переправлялись вброд. Для пешеходов сделаны шаткие мостки. Степанов прошел по ним и оказался в селе.

6

От большого села осталась внушительная церковь, внизу изрешеченная осколками снарядов, закопченная с одной стороны дымом пожара, и большой дом в окружении лип. Дом этот до революции принадлежал помещику, потом в нем была школа. Немцы устроили там лазарет... Дом стоял все еще прочный, несмотря на многочисленные испытания, с огромными окнами, с высокими потолками. От деревянных колонн ничего не осталось, крыша в дырах, кое-где красная обшивка отодрана, обнажены толстые бревна, стекла в двух окнах разбиты и заменены горелым кровельным железом, и тем не менее — дом замечательный! В городе такого нет.

Осталось еще от Бережка три сарая, несколько погребов, превращенных в жильё... Кое-кто вырыл землянки... Судя по железным трубам, выведенным из-под земли, их было не так уж много... Две, три... Вон четвертая...

Степанов прошел к дому по дорожке с липами по бокам и, не зная, что несколько человек давно уже заметили его и следят за ним, недолго думая, открыл дверь.

Он попал в прихожую, из которой две высокие двустворчатые двери по сторонам вели в комнаты. Из дверей выглядывали женщины с настороженными лицами.

— Здравствуйте, товарищи! — сказал Степанов, снимая шапку. Можно было бы еще ходить и в чем-нибудь полегче, но ни пилюльки, ни кепки у Степанова не было.

Ответили ему не все.

— Выходит, тут живут?.. — удивился Степанов, только сейчас поняв, что означали слова Галкиной о том, что школа самовольно занята.

Высокая женщина с восковым лицом шагнула к Степанову из комнаты. С силой сцепленные пальцы прижаты к груди.

— Живут, — подтвердила она.

— Вот как... — Дело оборачивалось непросто.

— А что вы хотели, молодой человек? — спросила женщина, и Степанов увидел, как, одобряя ее, жильцы закивали: зачем, мол, пришел? Зачем?

— Видите ли... Я — преподаватель литературы и русского языка, Степанов. Приехал учить ребят, а школы нет. Ни у вас, ни в городе...

— Ну и что же?.. — подталкивая Степанова к более ясному ответу, спросила сердитая молодка. — Говори!

Степанов посмотрел на нее. Такие первыми кричат на собраниях, чего-нибудь требуя, ходят по приемным и оглушают начальников своими пронзительными голосами.

— Я пришел посмотреть, нельзя ли это здание использовать для школы...

Не успел Степанов закончить фразу, как сердитая молодка уперла руки в крутые бока и подступила к нему: скажите, мол, какой!

— «Использовать»? — повторила она. — «Использовать»?!

Высокая женщина разняла руки и тронула молодку за плечо:

— Погоди, Зоя... — И, распахивая дверь в комнату, обратилась к Степанову: — Вы хоть взгляните!

Комната была заставлена железными койками, все такими же, какие мозолили глаза Степанову в городе. Оставлены лишь небольшие, узкие проходы да места для трех столов и железной печки. Старики... Ребятишки... Женщины... Спертый воздух...

— Я понимаю, — сказал Степанов. — Но ведь вас не будут выкидывать на улицу...

— Дома построят! — взвизгнула молодка и рассмеялась, — Ой, умру!

— Оставьте вы нас в покое! — закричали из комнат.

— Немцы издевались-издевались. И теперь...

— Какая теперь школа... «Школа»! Не до школы!

Степанов уже понимал: сюда надо было идти, лишь зная, что обещать этим пострадавшим людям, зная, на что они могут рассчитывать взамен здания школы. А сейчас лучше уйти. И, чем скорее, тем лучше.

Степанов уже подкинул в руке шапку, собираясь сказать несколько успокаивающих слов на прощание, как вдруг в комнате слева кто-то громко крикнул:

— Сожгем, а не отдадим школе!

И Степанова занесло. Замерев и только лишь оглядываясь в поисках крикнувшего, он спросил нехорошим, зловещим голосом:

— Кто это сказал? — и поднял полу шинели, словно для того, чтобы достать из-под нее пистолет. — Провокаторов расстреливают на месте! Кто это сказал?

Женщина с восковым лицом подошла к Степанову и, сжав его руку, которая так демонстративно рвалась к оружию, в полной тишине с укором спросила:

— Что вы, Степанов?..

Он, сделав вид, что только вмешательство этой женщины и удержало его от справедливого гнева, резко опустил полу шинели.

— Разберемся, — проговорил чуть слышно и — к выходу.

Едва захлопнулась дверь, Степанов быстро пошел, закрыв глаза ладонью.

«Какой позор!.. Какой стыд!.. — повторял он. — На женщин, на детей, на стариков поднять руку с оружием!»

Ему представлялось сейчас, что у него действительно было оружие и он поднял его на детей и женщин. Как это могло произойти? И еще эта жалкая и беспомощная угроза, это расхожее словечко: «Разберемся!» Кто только не швырялся им, запугивая и угрожая!

Невольно он оглянулся, почувствовав чей-то взгляд за спиной. По дорожке за ним нерешительно шла девушка с косами, в коротком пальто и валенках на босу ногу. Сунула ноги в валенки, верно, чтобы поскорее выбежать за ним, не упустить...

Когда Степанов обернулся, девушка сделала еще два неуверенных шага и остановилась. Ошарашенный происшедшим, он рассеянно посмотрел на нее и двинулся дальше...

Он заспешил, чтобы вернуться в райком засветло: идти по этим стежкам и дорожкам и днем нелегко — нога перебита фрицевской

пулей, а вечером тем более...

Степанов любил вечернюю пору. Угасал день, становилось немножко грустно. Осенью и зимой ощутимо темнело с каждой минутой. Пропадал суетливый дневной шум, и напоздали издали совсем другие звуки: обрывок песни с того же Бережка, лай собаки, галочий гам, кваканье лягушек... Сейчас тоже темнело ощутимо, прямо, как говорится, на глазах, но ни один звук не пробивался сюда из города. Мертвая, мертвая земля...

Забыв, что ему нужно спешить, Степанов остановился уже недалеко от горсада и осмотрелся: ни огонька, ни голосов, никаких признаков жизни... Вот только дымок из-под земли...

Степанова неудержимо потянуло к дымку. Труба из кровельного железа, конечно уже побывавшего в огне... Темная дыра — ход под землю... Кто там? Чем живут?

Он еще не был ни в одной землянке, но знал, что придется побывать во многих. Подошел к дыре и по ступенькам, чувствовалось — еще ровным, не сбитым ногами, спустился к двери. Постучал.

— Кто там? — слышался женский голос.

Степанов подумал и счел за лучшее ответить, как отвечал на вопрос матери:

— Свои...

— Кто же это «свои»? — Тем не менее что-то звякнуло и дверь открылась.

В землянке горела коптилка. Она освещала дощатый стол, лицо старухи, приподнявшейся с постели, девочку у стола...

— Проходите...

Степанов вошел и только теперь увидел женщину, которая открыла ему дверь.

— Не бойтесь впускать? — спросил Степанов. Стоял он согнувшись: голова доставала до потолка.

— Кого нам бояться? — сказала женщина. — Кто и что нам может сделать?.. Садитесь, голову свернете... — Она указала на что-то глазами, и Степанов, увидев единственную табуретку, сел.

— Я — новый учитель, Степанов, — представился он.

Женщина, присевшая на койку, и старуха кивнули и теперь глядели на гостя ожидающе.

— Школу думаем открывать... Вот хожу, смотрю...

— Школа, значит, будет? Вот теперь-то?! Теперь?.. — В ее голосе и удивление, и уважение к людям, которые хотят, чтоб все было как прежде, до прихода этих трижды проклятых фрицев.

— Обязательно! Как же!..

— Да-а... А когда же замирится война?

— Замирится... — Степанов вздохнул. Осмотрелся.

Стены из теса. Между двух железных коек — стол. В углу — печка. На одной из стен — фотография молодого мужчины со значком ГТО на груди. Маленькая деревянная иконка в углу. Возле печки — ящик, на нем — посуда...

— Наша матка, — сказала девочка, — каждого спрашивает, когда замирится война.

Степанов взглянул на девочку. Кругленькая мордочка с большими серыми глазами, а кожа на щеках шершавая: давно не умывалась как следует.

— Почему ты говоришь «матка»? — спросил Степанов.

— А я и «мама» говорю... Все одно...

— Разве все одно?

Девочка не ответила, а мать махнула рукой:

— «Яйки», «брот», «фрау» — все переняли!..

— Все ребята так говорят, — в оправдание заметила девочка. — Как будто ты не знаешь... — И обиженно поджала полные губы.

Степанов задумался.

— А в школу с охотой пойдешь? — спросил он после молчания.

— С охотой...

— Молодец, — похвалил Степанов.

— Вот только в чем я буду ходить, когда кальтуха наступит?.. — как бы раздумывая, сказала девочка.

— Оденем, — пообещала мать. — Наизнанку вывернусь, а тебя одену, чтоб в школу ходить!..

Степанов не понял:

— Что наступит? О чем она говорит?

Мать снова махнула рукой:

— Мартышка немецкая! Вон дядя ничего не может понять! — упрекнула дочку. — Говори как положено! Одергиваешь, одергиваешь — язык отобьешь! — Мать уже сердилась. Немного остыв, пояснила Степанову: — О холоде она говорит... Холода наступят...

Степанов вспомнил, что по-немецки «кальт» означает «холодно».

— Как тебя зовут? — спросил девочку.

— Ирой...

— Ну вот, Ира, пойдешь скоро в школу. И пожалуйста, называй все-таки маму мамой. Будешь?

— Буду...

Степанов встал и хотел уже выйти, как услышал:

— Погодите, если можете... Вы, видать, на фронте были... Как же там?..

Только теперь Степанов по нерешительности, трепетности, с которыми был задан вопрос, понял, что от него ждали не краткого и обычного «замирится», а ответа на все — поистине неисчерпаемое: и обстановка вообще, и вот на эту неделю, и как на фронте уцелевают (уцелел же он!), и прогнозы на будущее. С начала войны жизнь этих людей была вся связана с фронтом, все помыслы, все думы и надежды — и днем, и особенно бессонными ночами, когда под обшивкой землянки скреблись и шуровали мыши, когда что-то вдруг потрескивало в потолочных балках и казалось, что потолок и насыпанная на него земля рухнут и заживо погребут всех. Не все еще начали получать письма, редко видели фронтовые фотографии, а о нашей кинохронике и говорить не приходится, но каждый хотел знать, что же там, на фронте?

— Теперь что!.. — ответил Степанов. — Теперь уж не сорок первый. Наступил великий перелом, и обратного ходу войне нет. Но и сейчас, конечно, трудно... Впрочем, а разве вам здесь легко?

— Да разве ж можно равнять? — не согласилась женщина. — Там на смерть ради нас идут... А мы что ж, всё перебедем, всё перетерпим, лишь бы поскорее победа и хозяин наш домой вернулся... Нужно работать — пойду работать, и все, кто может, пойдут... Ничего не пожалеем, лишь бы войне конец... И сыночкам нашим, и мужьям полегче было...

— Вернется... — сказал Степанов, не найдя ничего нового и лучшего в утешение: никому не дано отнимать последнее — надежду. — Вернется...

— Ох, если бы!.. — вздохнула женщина.

Степанов сел и стал рассказывать об успехах на фронте, какие города на этих днях взяты, какие вот-вот возьмут.

— А Киев? — спросила женщина. — Когда ж Киев-то?

— Кто-нибудь из родственников там? — догадался Степанов.

— Старшая сестра... Может, уже и нет в живых... Хотя бы детям досталось выжить...

— Чтобы взять Киев, нужно форсировать Днепр. Но конечно же возьмут. Дело времени... Боюсь гадать. Должно быть, через месяц-другой... Если дело так пойдет и дальше, через год-полтора войне конец, — закончил Степанов убежденно.

— Дай-то бог... Еще говорят, будто салюты бывают в Москве. Какие же они?

Ира, когда Степанов начал рассказывать о салютах, даже рот приоткрыла. Нелегко было ей представить огромный город в огнях разноцветных ракет: ни больших городов, ни ракет она никогда не видела. А вот упоминание Степанова о залпах из орудий вызвало немалое недоумение.

— А зачем же из пушек-то?.. Из пушек нехорошо... — убежденно сказала она, и ее большие серые глаза с огорчением и даже укором смотрели на Степанова, будто он каким-то образом был причастен к обычаю воздавать честь и хвалу победителям пальбой из орудий. — Нет, нехорошо...

— Пушки по нас били, — объяснила женщина. — Страшно били...

Теперь Степанов понял: в представлении девочки пушки могли нести только зло.

Степанов стал объяснять, что теперь пушки гонят немца назад.

— А хоровой кружок в школе будет? — неожиданно спросила Ира, все более привыкая к посетителю. — Раньше был...

— Если найдутся охотники петь, создадим, конечно. А во что ты играешь?

— Играю?.. — Девочка задумалась. — Мы давно ни во что не играем.

Да-а... Пожалуй, это был бестактный вопрос, и Степанов понял, что у него еще нет умения общаться с детьми. Откуда ему быть? Общежитие... Фронт... Марш-броски... Отступление... Наступление... И приказы, приказы, приказы! «Глубже надо! Глубже! — приказывал рыть окопы командир взвода лейтенант Юрченко. — Уцелеешь — не пожалеешь». И он оказывался прав. Они, конечно, не были детьми, но сколько внимания и заботы проявлял о них командир, умея найти подход к каждому...

Так-то так, но все-таки здесь специфика! И конечно же, надо перенимать опыт у Владимира Николаевича!

Ясно: разруху не побороть, если в школе видеть только здание, где учат грамоте и арифметике, не хватит сил. Только великие цели рождают великие силы — давно известно. «Брот... Яйки... Матка...» Так, чего доброго, услышит он не «Тот, кто с песней по жизни шагает...» и не «Есть на Волге утес...», а какую-нибудь прилипчивую «Мой милый Августин...» или что-нибудь из репертуара обольстительной Марики Рокк... Но если осознать историческую, что ли, значимость того, что творят сейчас люди на дебрянской земле, в том числе и значимость каждого урока, тогда силы могут найтись... Должны найтись! Главное — понять людей.

Было уже совсем темно, когда Степанов вышел из землянки. Идти было нелегко, он то и дело оступался, и ему вдруг вспомнился их первый ночной марш. Тогда тоже была кромешная тьма, но они шли в строю, чувствуя рядом плечо соседа, и от этого идти было намного легче... Жили они тогда в пятиэтажной школе и с утра до вечера занимались строевой подготовкой, изучали оружие. Завтракали, обедали и ужинали — нарочно не придумаешь! — в ближайшем ресторане. Сотни раз проходил Степанов до войны мимо этого ресторана, а вот попасть туда ни разу не довелось: на студенческую стипендию не разгонишься. И вот пожалуйста: строем, четверо в ряд, в ресторан. И к тому же бесплатно, ведь они на военной службе.

Однажды ночью их подняли и они выступили. Одни шагали с вещевыми мешками, другие — с портфелями, мешков под рукой не оказалось. В костюмах, куртках, плащах длинная колонна прошла улицу Горького, Ленинградское шоссе и свернула на Волоколамское. Догадывались, идут, очевидно, не склады охранять, не мосты... На

какой-то станции погрузились в товарные вагоны и в ту же ночь выгрузились. Под ногами — мелко крошенная щебенка. Синяя лампочка у входа в какое-то станционное здание. Название не прочтешь — темно.

Их снова построили.

— Шагом арш!

Еще не вполне сознавалось: началась фронтовая жизнь. Что ж, они исполняют свой долг. Кто-то погибнет, кого-то покалечат, но кто-то и вернется домой с победой. Это несомненно, вот только неизвестно, кто и когда...

Едва Степанов вошел в райком, как услышал:

— Товарищ Степанов, чайку!..

Власов поставил на стол чайник, вскипяченный в печке. Положил несколько лепешек величиною с блюдце, с замысловатым узором, сделанным, по-видимому, вилкой. От них аппетитно пахло сдобой.

Степанов нашел свою кружку.

— Откуда же это? — указал на лепешки.

— Иван Петрович всегда привозит...

— И часто он выезжает по хлебным делам?

— Часто. Сейчас все брошены на хлебозакуп.

— Сколько же людей в райкоме?

— Иван Петрович, Козырева и я.

— Ты — инструктор, а Козырева?

— Завучетом.

— Гашкин?

— Он не в штате. Самый активный член бюро.

— Так... Значит, все — на хлебозакупе. А комсомольские дела?

— Без хлеба победы не будет. Хлеб — все дела.

Машинально Степанов отламывал от лепешки кусочки и ел. Лепешка действительно была сдобной, вкусной.

— Без хлеба победы не будет... — повторил Степанов.

— Товарищ Степанов, а правда, что вы из Москвы?

Степанов усмехнулся:

— Из Москвы... А что, не похоже?

— Никогда в Москве не был... Как подумаешь: Кремль, Красная площадь, музеи, театры... Идешь по улице — и все магазины,

магазины... Там ведь и люди, наверное, особые!..

— Везде особые. В Москве — москвичи, в Дебрянске — дебрянцы...

— Не скажите... У нас в основном из деревень оседают... А начальство все пришлое. Так, с бору по сосенке. Из руководителей один Иван Петрович — местный. Нет, вру. Еще второй секретарь райкома партии — местный, из партизан. А вот я — из Бежицы... Распылились местные...

— Турин когда обещал вернуться?

— Точно сам не знает. Поездка сложная. В Крайчиках то не было хлеба ни пуда, то будто целый амбар нашли, а потом снова говорят — ни пуда. Связи нет, организации не везде восстановлены. Вот и бьется.

— И часто приходится Ивану Петровичу вот так мотаться?

— Часто.

— А Вера Леонидовна может только с ним приехать?

— А с кем еще? С транспортом трудно... Да он уж небось из Крайчиков мотанул в Красный Бор... — При этом Власов добро улыбнулся, намекая на что-то.

Но Степанов не уловил тонкого намека: «Что там может быть, в Красном Бору?» — и ничем не выказал своего волнения. Он стелил на кушетке постель, заводил часы, а сам думал: «Выходит, Вера уже знает о моем приезде... Турин конечно же не мог не сказать ей об этом».

Учитель Степанова, преподаватель истории Владимир Николаевич Воскресенский, жил теперь в небольшом, с двумя окнами, сарайчике, собранном из остатков дома. Сарайчик, правда, еще не был закончен: его нужно было обмазать глиной, утеплить потолок, многое доделать, но хорошо, что уже смог выбраться из угнетающей душу землянки. Может, зимой в ней было бы и теплей, но жить под землей, в сырости!..

Учитель знал о приезде Степанова — людской телеграф в городе работал сейчас более образцово, безотказно, чем любое учреждение связи, — и ждал его. Он припас на случай появления гостя четыре кусочка сахара, воблу, немного хлеба.

Боялся отлучиться из дома: только уйдешь — вдруг явится Миша Степанов, постоит и уйдет, мало ли у него дел!

И все же, когда Степанов в шинели, туго перехваченной ремнем с блестящей пряжкой, появился в дверях, Владимир Николаевич понял, что не готов, совсем не готов к встрече. И дело было не в угощении...

Он видел отступление наших, долгих двадцать два месяца жил при немцах, шел под конвоем на запад, куда гнали население фрицы. К счастью, от принудительного переселения на чужбину удалось спастись: конвоирам пришлось самим удариться в бега, чтобы не быть отрезанными передовыми частями Красной Армии. Потом брел с сумой от хаты к хате, гнил в сыром погребе... Он пережил унижение, страдания и муки, тупое отчаяние, когда плелся в Германию; горькое счастье возвращения... Единственное, что его поддерживало — ненавистных ему бандитов-гитлеровцев наша армия гнала с его родной земли...

— Здравствуйте, Владимир Николаевич!

Старый учитель в длинном расстегнутом пальто стоял, порываясь двинуться навстречу гостю, но что-то его удерживало на месте. Отяжелевшие, прямо-таки свинцовые ноги почему-то не повиновались ему.

— Владимир Николаевич...

— Миша! — громко проговорил старик и, наконец оторвав валенки от пола, мелкими шагами направился к Степанову. — Как ты меня нашел?

Тот ничего не ответил и крепко пожал учителю руку, полусогнутую и прижатую к груди. Владимир Николаевич вдруг обнял Степанова.

— Проходи, Миша, садись... — Хозяин повел гостя к столу. — Как я рад тебя видеть!

— Я вас тоже, Владимир Николаевич!..

Они уже сели за стол, и сейчас учитель с горечью взглянул на гостя:

— Боюсь, не большая это радость, Миша...

— Владимир Николаевич... Почему?

Старый учитель лишь махнул рукой.

— Где был, что делал? Рассказывай... Да, сейчас чаю, что ль, выпьем...

Он засуетился. Положил на стол сахар, хлеб, отнес к соседям в землянку взогреть чайник, предварительно убедившись, что из трубы над истоптанными грядками идет дымок.

Миша рассказал о себе то, что уже рассказывал Турину: был на фронте, ранили, получил направление и вот приехал...

— Молодец, молодец, — похвалил Владимир Николаевич. — Читаю иногда газеты, вдруг попадется знакомое имя в сводке, какой-нибудь заметке, и хочется думать, что это наш ученик... Твой или не твой, а хочется считать своим... Оправдание жизни! Молодец, что приехал сюда. Сам попросился?

— Сам...

— Здесь тебе будет очень трудно...

— Думаю, что трудности — не так уж долго.

— Долго, Миша, долго.

— Да через год-два город будет, Владимир Николаевич! Ну, через пять...

Учитель глубоко вздохнул, опустил глаза под густыми бровями. Сказал после большой паузы:

— Через десять — пятнадцать будет город. Если будет...

Вот уж чего не ожидал услышать Степанов от своего учителя.

— Почему же нет?..

— Вспомним историю, Миша...

Дверь без стука открылась, худенький мальчик, согнувшись, внес чайник.

— Спасибо, Витя. — Учитель поставил чайник на стол. — Вспомним историю, будем элементарно грамотными. Существовал такой славный городок Радонеж, под Москвой. Прошумели набеги, войны, перепахали лицо земли... Ты, ученый человек, слышал о Радонеже?

— Нет, Владимир Николаевич, — признался Степанов.

— Вот видишь! Андрей Рублев оттуда... Сергей, прозванный Радонежским... Знаменитый городок! А ты и понятия о нем не имеешь. А все потому, что теперь такого города нет. Не восстал из пепла. Не поднялся. Не воскрес. Началось другое время, и оно оставило Радонеж всего лишь небольшим поселением, известным своим прошлым только историкам...

Учитель вспомнил о мальчике.

Тот стоял у двери, не то чего-то ожидая, не то желая послушать, о чем говорят взрослые.

— А-а, — догадался учитель и подал Вите кусочек сахара.

Мальчик схватил его грязной ручонкой и унес, ничего не сказав.

— Заметь, дети не могут оторвать взгляда от сахара. Воспитанные, невоспитанные — все равно!.. Пей, Миша!..

С одним кусочком — больше нельзя и меньше нельзя —пил Степанов вторую кружку, хотя пить-то особенно не хотелось. Хлеб боялся взять, а ведь гостеприимный хозяин положил перед ним самый большой кусок.

— Владимир Николаевич, — повел Степанов деловой разговор. — Вчера утром мне все казалось яснее, чем сегодня... С чего начинать? За что ухватиться?..

Степанов рассказал о посещении им Бережка, землянки. Рассказал о Галкиной, но так, чтобы не подчеркнуть ее отношения к Владимиру Николаевичу...

— Ты думаешь, я — царь Соломон? Царь Соломон в драном пальто и подшитых валенках, неизвестно с чьей ноги — на дороге подобрал... — Старый учитель ухмыльнулся. Видно, его угнетало это нищенство, эта убогость. — В общем, ясно. Миша, начинать надо с людей. Больше чудеса творить некому. И видно, надо всегда помнить, на какой земле живем... В общем-то, все давно известно, и в то же время ничего мы не знаем. Вот, взгляни.

Владимир Николаевич повернулся. Взял с подоконника папиросную коробку, перевязанную суровой ниткой. Развязав, достал из нее несколько темных монет.

— Продавщица в хлебном ругается: немецкие деньги вместо наших подсовывают... Но разве это немецкие? — Старый учитель положил перед Степановым две монеты. — Я забираю у нее «негодные»... Другие ребята приносят... Что сам нахожу... — объяснил он происхождение этой небольшой коллекции.

Степанов, вежливости ради, стал рассматривать монеты. В коробке были не только немецкие монеты: старые русские, польские... А две, положенные перед ним, не были похожи ни на русские, ни на польские. Степанов повертел их в руках так и этак, разобрал одну надпись, вторую, неуверенно спросил:

— Французские?

— Да... Французские остались после нашествия Наполеона, польские — после Лжедмитрия... Земля обнажена, как никогда, и сейчас в ней можно найти такое, что коллекционерам и не снилось...

— Разве тут проходил Наполеон?

— Проходил... И польские интервенты... До них — татары... И все — жгли! А город воскресал... В летописи наш город упоминается раньше Москвы... Дай-то бог, чтобы и сейчас воскрес!

Послышались громкие голоса, дверь распахнулась, в ней показались две женщины.

— Крупы опять нету! Опять на картошке сиди!

Это адресовалось Владимиру Николаевичу, вероятно, возвращало к давнишнему спору или разговору с ним, и можно было почувствовать, что Владимир Николаевич будто в чем-то виноват.

Говорившая, еще крепкая, рослая женщина в платке, только сейчас заметила постороннего и бесцеремонно всматривалась в него: это кто ж такой, чего ему надо?

Степанов наклонил голову, а учитель вдруг заторопился: встал, закрутил вокруг шеи шарф, начал застегивать пальто...

— Пойдем, Миша, на улицу... — предложил он.

— Да... Да... — Степанов поднялся, первым вышел из сарая.

Неудобно было спрашивать, но, видно, это были дальние родственницы или хорошие знакомые, у которых Владимир Николаевич жил. Да и то: хватило бы у старого учителя сил и средств построить такой сарайчик?

По тропке они выбрались на Первомайскую улицу, от которой осталось лишь название, и пошли к центру, туда, где чернели редкие деревья горсада.

— Не знал я истории города, — заметил Степанов.

— Мало кто ее знает. Говорю не в утешение... Петр Великий, или, если хочешь, Первый, приезжал в наш город...

— Зачем?

— Снимать колокола с церквей... Снежадь, видно, была более полноводной, чем сейчас: на плотках колокола оплавляли в Десну, оттуда — к медеплавильным заводам. Лили пушки... Жил Петр в Свенском монастыре, неподалеку от города... Ходил вот здесь, распоряжался... Высокий, узкоплечий... Вот там, — Владимир Николаевич показал вправо, — жили купцы Масленниковы. Не знаю,

знамениты ли они чем-нибудь еще, но именно у них останавливался Фонвизин...

— Автор «Недоросля»?

— Денис Иванович, он самый... Был уже болен, ехал в Вену лечиться. Брился у пьяного солдата, который чуть не содрал с него кожу. Денис Иванович искусством бриться не владел...

Степанов посмотрел направо, куда указал Владимир Николаевич, увидел такие же холмы и трубы печей, какие были всюду. Но теперь на те холмы смотреть стало почему-то интересней.

— Тургеневскую улицу знаешь? — спросил меж тем Владимир Николаевич.

— Как же!

— Стоял там дом купца-мецената Шестакова, где педтехникум потом разместили... Иван Сергеевич был в дружеских отношениях с меценатом, не раз приезжал в наш город, останавливался у Шестакова... Ездил с ним на охоту...

— Это вы про Тургенева? — спросил Степанов.

— Да... В 1903 году, в ознаменование двадцатилетней годовщины со дня смерти писателя, Шестаковскую улицу переименовали в Тургеневскую... Что тебе еще сказать? — Владимир Николаевич остановился.

Все это — приезд Петра, Фонвизина, Тургенева — словно было на его памяти. Степанов не удивился, если бы учитель начал с мельчайшими подробностями рассказывать о пребывании в городе Тургенева, точно сам видел его торжественную встречу, обед у Шестакова, выезд на охоту.

— Был у нас свой Совет Народных Комиссаров, — продолжал Владимир Николаевич. — Просуществовал до августа 1918 года.

Степанов не поверил:

— Свой Совнарком?

— Да.

— Может, ревком? — не поверил он.

— Совнарком, Миша! — немного наставительно, как на уроке, заметил Владимир Николаевич. — Тогда в некоторых городах были не городские советы, а Совнаркомы, чтоб все как в Москве! И соответственно — народные комиссары. Был и народный комиссар просвещения, я отлично помню его... — Владимир Николаевич вдруг

зло затопал валенком о землю: — А когда эти бандиты жгли город, они не только дома жгли — они хотели выжечь у нас память о прошлом. Они хотели обокрасть нас духовно, сделать нас скотами, думающими только о хлебе и щепотке соли! Люди — в землянках и действительно поглощены заботой о хлебе насущном. Но ничего! Пусть я думаю о хлебе, хожу в драном пальто и белье, я все помню! И пока жив, я постараюсь напоминать другим: великая Россия — и здесь, вот на этом месте, где все, казалось бы, сожжено, взорвано, вытоптано, поругано и оскорблено!

Владимир Николаевич приложил руку к груди: сердце.

Степанов молча взял учителя за локоть.

— Ничего, Миша... Теперешний народный комиссар просвещения города Дебрянска товарищ Галкина этого не понимает. Пробовал с ней толковать — ни до разума, ни до сердца и души не достучался. При взгляде на город она видит только кирпичи, пепел и изломанное железо. А я — все события восьмисот лет, что существует Дебрянск... Пройдем еще немного, Миша...

Они прошли, свернули в переулок, где недавно еще стояла школа. Вот оно, это место... Здесь отзвенели отрочество и юность Миши Степанова. Каменный прямоугольник полуподвального этажа... Печь... Груда кирпичей... И опять все то же железо!..

Они стали спускаться к реке. Дорога уходила все ниже, а справа все больше и больше вырастал, загораживая небо, крутой склон холма. У Снежади Владимир Николаевич остановился и повернулся спиной к ней. Степанов сделал то же. Он видел теперь оба склона холма.

Застроенный домиками и домишками, сарайчиками и сараями, поросший липами, тополями, березами, малиной, крапивой, яблонями, раньше он не имел такого впечатляющего вида. Сейчас огонь и взрывчатка смахнули с него деревья и все сотворенное человеком, и он стал таким, каким был когда-то, сотни лет назад.

— Наш кремль, — сказал Владимир Николаевич. — Когда построен, точно не известно, но не позднее XIII—XIV веков.

Теперь стало отчетливо заметно, что склоны холма были крутыми и довольно ровными не только от природы: справа склон подымали, насыпая землю, слева, чтобы образовать такую высоту, прорывали ров, сверху тоже насыпали... Казалось, если бы еще пустить тын по самой кромке холма с дозорными башенками по углам, в этой тишине можно

было бы услышать пронзительное гиканье и крики кочевников, которые готовятся переплыть Снежадь и приступом взять богатый город...

Былинной силой, седой стариной веяло с высот холма.

— Ладно, Миша, иди... Ребят я переписываю, думаю, двухэтажной школы нам не потребуется, — сказал учитель с горечью. — Пока хотя бы простую хату...

Когда Степанов несколько дней назад впервые увидел Дебрянск, пустыня на месте зеленого, уютного города ужасала, угнетала, захлестывала ненавистью. Теперь он понимал, для чего это было фашистами сделано. Вместе о уничтожении материальных ценностей фашистам надо было выжечь у русских память о великом прошлом.

Да, это прекрасно понимали те, кто вырабатывал подробные инструкции послушным Гансам и Фрицам, как именно и с помощью чего уничтожать города и с ними память народа о своей истории.

Враги это понимали. А мы сами?

Понимаем ли, что умаление славной истории, небрежение к зримому ее воплощению в камне, дереве, бумаге, а пуще того уничтожение ее реалий — преднамеренно ли совершенное явным врагом или по причине пустоты в голове своим человеком — не только делает нас беднее, а прежде всего — безоружнее. Предатели и шпионы, мерзавцы всех оттенков и калибров — люди без памяти, люди без прошлого и будущего.

Опасение, что некоторые недостаточно знают о силе истории, что она не взята ими на вооружение, уже не могло не волновать Степанова.

Надо было разузнать в райкоме и в стройтресте, что предполагают сделать для бережанских. Ведь ясно — людей на улицу не выгонишь... Потом уже можно было идти к Галкиной с конкретным предложением...

Разговор с Владимиром Николаевичем многое прояснил для Степанова. Он понял: все, что делала и говорила Галкина, в основе своей правильно и нужно, но это не было все скреплено большими чувствами, которые руководили, допустим, Владимиром

Николаевичем: Россия... Родина... Крутые повороты ее истории, совершенные вот на этих полях, историческая судьба народа. Хотя бы легкий отголосок этого чувства не затрагивал деятельность Галкиной. Как-то получалось так, что она произвольно умаляла масштаб событий, прогремевших здесь.

А ведь школа, допустим, была не просто добытым в трудах зданием для занятий, а утверждением и продолжением того, что начато здесь давным-давно и что бандиты, как называл фашистов Владимир Николаевич, пытались отнять... прекратить связь времен.

Перед теми, кто первыми вернулся в Дебрянск, лежала пустыня. Что будет здесь? Что должно встать над этим пепелищем? Владимир Николаевич, Галкина, Турин, Власов, другие, с кем увиделся Степанов, несомненно, думали об этом. Но чувство связи прошлого с настоящим и будущим, чувство необходимости этой связи у всех было разным.

Никого, кроме начальника, невысокого, рыхлого Троицына, Степанов в стройтресте не застал. Но и это была удача. Степанов сумел уже убедиться, что самое трудное в Дебрянске — найти нужного человека, вернее, застать его на работе. Одни уехали в глубинку, другие болели, третьи оказывались где-нибудь в городе, на объектах.

Однако и Троицын собирался уходить. Заметив человека в дверях, но не разобрав еще, кого это бог послал, Троицын энергично накинул на себя бушлат, выхлопотанный по знакомству в воинской части, что стояла под городом, и стал быстро застегивать пуговицы, всем своим видом показывая, что он уже ушел, ушел!..

— Здравствуйте. Я — Степанов, из районо...

— Ухожу... Ухожу, товарищ Степанов... — проговорил Троицын бабьим голосом и, только сейчас рассмотрев, что «учителишка» в шинели, оставил пуговицы в покое. — Ты, значит, ко мне?

— К вам, — с ударением сказал Степанов, которого кольнуло это панибратское «ты». — К вам...

— Ну, садись, — добродушно разрешил Троицын, совершенно не восприняв стараний Степанова.

Как был в полузастегнутом бушлате, Троицын сел за стол, намереваясь, видно, за несколько минут покончить с этим Степановым. Но в это время кто-то мелькнул в окне — невысокого

роста, проворный, — и Троицын, встав на стуле, проводил его настороженным взглядом: не к нему ли?

Суматошливый человек, мелькнувший за окном, был Ефим Петрович Соловейчик — работник райисполкома.

В хилом теле Соловейчика заключался источник дьявольской энергии и предприимчивости. Скромный по должности — всего лишь инспектор, — он был своим человеком во всех учреждениях Дебрянска. Случайно вот так заглянет в стройтрест во время какого-нибудь разговора его работников и обязательно вмешается:

— «Лампы»... «Лампы»... А почему бы тебе, Троицын, не наведаться в хозяйство майора?

— При чем тут майор?

— У него на объекте через неделю движок пустят, — объяснял всезнающий Соловейчик. — Как ты думаешь, керосиновые лампы после этого будут ему нужны? А?

Но, оказывается, для того чтобы лампы очутились в руках Троицына, а не в чьих-нибудь еще, хорошо бы девушкам дать в воинской части концерт самодеятельности: солдаты соскучились и по искусству, и по девушкам...

— Какое искусство?! Какие девушки?!

— В Красном Бору девчата собираются по вечерам и поют... Заслушаешься!

— Ну и что? Как это все практически осуществить: Красный Бор в одной стороне, воинская часть — в другой... Да и вместо шефства какая-то торговля получается: ты — мне, я — тебе...

— Как хочешь, — сурово говорил тогда Соловейчик, — покупай лампы в центральном универмаге города Дебрянска. И проси, чтобы тебе их доставили на дом. — Он делал паузу и доверительно добавлял: — Завтра заседание райисполкома, на котором будет председатель и из Красного Бора... Я скажу, чтобы он к тебе зашел. Жди.

Удаляясь, он говорил с укором:

— Развел детский сад.

И Троицын был уже впутан в хитроумную комбинацию, не осуществить которую вроде как непатриотично по отношению к городу.

Сейчас Соловейчик прошел мимо.

Слабо махнув рукой, мол, слава богу, что пронесло, Троицын спросил, обращаясь к Степанову и не видя его:

— Что у тебя? Откуда явился?

— Из Москвы.

— А-а... — удивленно протянул Троицын, теперь уже внимательнее вглядываясь в Степанова. — Воевали?

— Да.

— А теперь, значит, направлены к нам? Учителем? И учились там?

— Совершенно верно.

— Располагайтесь, располагайтесь, — неизвестно что имея в виду, предложил Троицын. — Значит, из самой Москвы?

Уже не первый раз замечал Степанов, как люди меняли отношение к нему, узнав, что он из Москвы и что шинелька на нем не чужая.

— Из Дебрянска я сам, из Дебрянска, — настойчиво сказал Степанов. — В школе здесь учился!

— Ах, вот что!.. На родные места потянуло? Ну что ж, хорошо...

Заметив, что взгляд посетителя остановился где-то у него над головой, Троицын в догадке, с какой-то опаской, повернулся и поднял голову. Он словно не верил своим глазам.

— Висит! — воскликнул он, словно призывая Степанова в свидетели.

Под потолком, над Троицыным, висела выцветшая, засиженная мухами старая олеография, изображавшая счастливых влюбленных среди роз и каких-то непонятных цветов. Над влюбленными витали ангелочки, тоже безмерно счастливые.

— Семь раз сказал, чтобы сняли эту... пакость! Сам, наконец, снял. И вот пожалуйста — висит! — Троицын показал рукой на олеографию, но заметил, что посетитель лишь метнул на эту картинку безучастный взгляд и не проявил ни к ней, ни к его словам никакого интереса.

— Я хотел спросить, товарищ Троицын, — начал Степанов, — намечено ли что-либо строить для бережанских, которые сейчас живут в здании школы?

— Нет, — с проворностью, совсем неожиданной для такого с виду медлительного человека, отрубил Троицын. — Нет, не собираемся.

— Как же так?! Почему?

— А почему мы для них должны строить в первую очередь? — вопросом ответил Троицын и, чувствуя, что разговор может затянуться, стал снимать свой бушлат. — Почему?

— Не понимаю... — все еще недоумевал Степанов. — Не гнать же людей на улицу?

Троицын поднялся и в нетерпении помотал головой:

— Не с того конца! Не с того конца, товарищ Степанов!

— Что «не с того конца»?

— Не с того конца смотрите на положение вещей! — Троицын стал перед Степановым. — Семьям воинов-фронтовиков трест отпустил стройматериалы в первую очередь! — Троицын резанул рукой. — Так? Так! Семьи фронтовиков эти материалы без шума реализовали и землянки себе построили кто на Бережке, кто в городе. Они не позарились на школу! А другие, кто и прав-то меньше на эту школу имеет, ее захватили. Там, если копнуть, товарищ Цугуриев может для себя немало работы найти! А мы им, выходит, землянку на подносе!

— Подождите... Подождите... — остановил Троицына Степанов. — Я не знаю, кто такой товарищ Цугуриев и что он там должен делать.

— Напрасно не знаете. Товарищ Цугуриев проводит большую работу. Хочешь ты того или нет, а факт остается фактом: одни шли к партизанам, а другие — к немцам. Правда, — здесь же уточнил Троицын, — последних немного, но они были... Или возьмите просто темные личности — ни вашим ни нашим. Кто их знает, кто такие?.. У всех теперь одна отговорка: при немцах пострадал! Документов нет, справку навести не так-то легко: архивы сожжены...

— Цугуриев это...

— Из органов, из органов, — подхватил Троицын. — Работки у него хватает!

Степанов тяжело задумался. Чем больше он вникал в обстановку, тем больше сложностей и трудностей выявлялось...

— Вот так-то, товарищ Степанов, — закончил Троицын. — У меня одна бригада настоящих плотников, и все дырки ею не заткнешь. Не фокусник я!

Степанов не обратил внимания на эти, как бы заключающие разговор, слова.

— Ну, хорошо! Допустим, часть людей, живущих сейчас в школе, не стоит наших забот, скажем так. Но ведь там же есть и вернувшиеся только что из-под Почепа или Погар, ни в чем не повинные или даже заслуженные люди. Куда же их из школы?

Тысячи горожан немцы гнали на запад. Под Почепом и Погарами конвой разбежался — стремительно наступали наши, — и невольники из Дебрянска оказались предоставленными самим себе. Кто как мог возвращались домой. О них и говорил Степанов.

— Как куда? — Для Троицына вопросов словно не существовало. С какой-то невидимой Степанову полочки брал он давно приготовленный ответ и давал его непонятливому собеседнику: — Пусть строят землянки!

— А материалы дадите?

— Далеко не всем.

— А как же остальным? Где им жить?

— А вот как!.. Вернулся недавно в город учитель. Никуда не ходил, ни к кому не обращался, а землянку построил. Я и не знал: оказывается, уважаемый здесь человек. А сейчас и во времянку, кажется, перебрался...

— Воскресенский?

— Во-во! С религиозной фамилией... Поактивнее, по-фронтовому нажать на бережанских, и все решится, товарищ Степанов. Уверяю. Будет вам школа. А мы, что следует, вам подремонтируем, не откажемся... Сразу сделаем... Только дай команду. А забивать голову излишними заботами не надо. Вот! — С этими словами Троицын положил перед Степановым бумаги, сшитые в левом верхнем углу суровыми нитками вместо скрепки...

Степанов стал их просматривать. Прачечная... Баня... Больница... Столовая... Детский сад... Клуб... Даты... Объем работ... Сроки... Он заметил, как вошла женщина, но отвлекаться от бумаг не стал, краем уха слышал разговор:

— Обои?

— Да, Федор Иванович...

— Последние, что ль?

— Все, что осталось, Федор Иванович...

— Испишут и эти. Писать на них противно, а испишут... Тебе деньгами или, так сказать, натурой?

— Мучицы бы, Федор Иванович...
— Натуральный обмен! Ладно, зайди завтра...
— Когда, Федор Иванович? Утром?
— К вечеру, к вечеру...

Степанов обернулся: голос этой женщины был ему знаком.

— Миша! — воскликнула она и, положив тяжелый рулон обоев на стол, в то же мгновение оказалась перед Степановым.

Это была Пелагея Тихоновна, мать школьного товарища Миши — Николая Акимова.

— Живой! Вернулся? — спрашивала она. — К нам, на работу? Молодец... Молодец... А Коля-то мой без вести пропал!.. — Пелагея Тихоновна утерла платочком нос. — Никто ничего не знает... Ты, случаем, не слыхал?

— Нет, Пелагея Тихоновна...

Троицын снова накинул на себя бушлат, просунул в рукава руки: он, наконец, должен уйти! Да, видно, и знал наперед, как несчастная женщина будет сейчас допытывать Степанова, как допытывала каждого нового в Дебрянске человека. Но что-то все же не позволило ему уйти, лишь нетерпеливо захлопал фуражкой по колену!

Пелагея Тихоновна достала из-за пазухи завернутый в тряпочку прямоугольник, вынула фотографию сына. Каждый раз, когда судьба сводила ее с новым в городе человеком, она доставала ее с надеждой, что на карточку непременно взглянет этот человек и, быть может, заставит себя получше припомнить: не встречал ли где, не встречал ли вот этого светленького, узколицего паренька с зачесом на левую сторону, ее сынка?

— Помню я эту фотографию, — сказал Степанов, беря карточку в руку. — Я его и снимал...

— Вот видишь!.. А самого-то, значит, не встречал там?

— Где ж там встретишь, Пелагея Тихоновна...

Женщина молча, медленно и аккуратно, завернула карточку. Спрятала ее где-то за пазухой, молча же пошла к выходу.

Степанов взглянул на присмирившего Троицына и двинулся вслед за Пелагеей Тихоновной.

Надо зайти к Пелагее Тихоновне, посидеть, поговорить, вспомнить прошлое. Встречами с людьми, сотнями мелочей оно напоминало о себе. Подумав, что ему, пожалуй, не миновать завтра разговора о бережанской школе в райкоме партии, Степанов решил, что этот вечер он может провести у матери товарища...

Однако вышло все по-другому.

Когда Степанов с Пелагеей Тихоновной проходили мимо райкома комсомола, его тихо и неуверенно кто-то окликнул:

— Товарищ Степанов...

Он обернулся. У ворот — девушка с косами, в коротком пальто, больших мужских сапогах.

Девушка подошла, однако остановилась шагах в пяти от него.

— Что я хотела спросить у вас, товарищ Степанов...

— Пожалуйста...

— Только вижу, вы заняты...

— Пожалуйста, пожалуйста... — сказал и только сейчас рассмотрел: а ведь это, кажется, та самая девушка, которая выбежала за ним после ужасной сцены в бережанской школе. Случай подкинул Степанову возможность хоть немного реабилитировать себя... Ведь наверняка обитатели школы подумали про него весьма нелестное...

— Пожалуйста, — повторил он еще раз.

— Я хотела, товарищ Степанов, попросить у вас газет...

— Газет? Каких газет?

— А какие есть...

— Что? Оклеивать что-нибудь?

— Зачем оклеивать? Читать...

— Подождите, подождите... Что ж, у вас, выходит, газет нет?

— Нет...

«Вот это здорово!»

Степанов посмотрел на Пелагею Тихоновну.

— Иди, иди, — сказала та. — Занимайся... Зайдешь в другой раз... Только не забудь уж, Миша! Не забудь...

В райкоме, иуда Степанов с девушкой пришли, никого не было. Турин не вернулся, не вернулась, стало быть, и Вера...

— Раздевайтесь... Как вас зовут?

— Таней...

— Раздевайтесь, Таня, садитесь...

— Я ведь на минутку шла...

Тане, видно, и хотелось посидеть, снять пальто, и что-то удерживало ее.

Не без колебаний она все же сняла свое коротковатое и узкое в плечах пальтишко, присела на край стула, положив ладони на колени...

Она стыдилась чиненой кофты, старой, не имеющей цвета юбки, чулок в заплатах, которые тщила скрыть, перекрестив ноги и спрятав их под стул.

Степанов сделал вид, что не замечает ни смущения девушки, ни убогой ее одежды.

— Почему же у вас нет газет? Значит, вы ничего не читаете? Не знаете, что делается в мире, что на фронте?

— Мало что знаем... А тут всякие разговоры.

Уж о «всяких разговорах» Степанов был наслышан.

Кончилась оккупация, и жители освобожденных районов узнали, что в жизни страны произошло много перемен. В разговорах и газетах замелькали слова «офицер», «офицерская честь», «митрополит», «патриарх», и все это без издевки, а с большим уважением. На офицерах и солдатах — погоны, как при царе, глава церкви пишет Сталину и получает благодарность, патриарх обращается к верующим, как какой-нибудь крупный государственный или политический деятель... Ничего этого до войны и представить себе было немислимо...

А немецкая пропаганда старалась эти факты преподнести как отречение Советской власти от своих принципов, как сдачу своих позиций, наконец, как крах всей большевистской системы.

Конечно, Таню интересовало, допустим, введение погон не само по себе, а как предвестие других крутых поворотов: «Вот, говорят, и колхозы будут пораспущены...»

Степанов невольно улыбнулся, чувствуя удовлетворение оттого, что может снять часть груза с Таниной души, объяснить ей, что правда, а что ложь, преднамеренно посеянная фашистами, чтобы сломить дух людей, на время оказавшихся в их власти.

— А политбеседы у вас проводят?

— Что-то я не припомню... Товарищ Степанов, можно вас спросить?

— Конечно же!

— Только вы не подумайте, что я из-за этого пришла, я действительно за газетами...

— Таня, что вы все время извиняетесь?

— Правда, что всех нас выкинут из школы?

— Кто это сказал? Как же можно людей — на улицу?..

Таня не ответила, опустила глаза.

— Это после моего... посещения? — спросил Степанов, догадываясь. — Да, появление мое... — Он в досаде махнул рукой. — Кто у вас там живет?

— Всякие...

Степанов встал, собрал газеты — не так-то их много оказалось, — подал Тане.

— Пожалуйста, составьте мне список жильцов. Кто они... Есть ли семьи фронтовиков... Инвалиды... Сможете?

Таня сидела, держа в руках газеты, сейчас совершенно безучастная к тому, что говорил Степанов.

— Таня, вы слышите меня?

— Слышу... Слышу... Список составить... — Таня помолчала и горько вздохнула: — Михаил Николаевич, вы не узнаете меня? Какая же я стала! Боже мой! — И поднялась, словно для того чтобы Степанов смог лучше рассмотреть, какой она стала.

— Таня... — чуть слышно проговорил Степанов, отыскав на лице ее знакомые черты, которые вдруг сразу слились в облик славной Танечки с Бережка. — А я-то смотрю...

Теперь Степанов удивлялся, как это он не узнал ее раньше.

Давным-давно, то бишь года три-четыре тому назад, приехав на летние каникулы в Дебрянск, Миша возвращался вечером из кино и познакомился с девушкой. Им было по пути, и они разговорились. Обменялись впечатлениями о фильме. Узнали друг у друга, кто где живет... Таня, так звали новую знакомую, несла сумку с продуктами. Как истый джентльмен, сумку у Тани он скоро отобрал и тащил ее сам, вызывая у девушки еще не испытанное ею чувство гордости. Какой парень на Бережке стал бы нести за девчонку хозяйственную сумку? Было как-то просто и хорошо с этой девушкой, и он проводил ее до самого дома... Вот и все... С тех пор Степанов не встречал Таню и ничего не слышал о ней.

И вот она снова перед ним... В убогой одежде, хватившая лиха...

В райкоме партии допоздна горел свет. Первый секретарь Николай Николаевич Захаров засиживался там частенько и до утра — дел было много, и самых разных, но определяющим, главным был лозунг: «Все для фронта!»

Но разве мог чем-то помочь фронту начисто уничтоженный Дебрянск и ограбленный, опустошенный немцами район? Оказывается, мог.

Хлеб...

Еще стояла на полях необранная рожь. Ее нужно было немедленно спасти. Заготовленный при немцах для отправки в Германию хлеб не весь был вывезен и хранился в амбарах и сараях. Сколько его, никто не знал. Как хранится, неизвестно. Какую-то долю хлеба нужно оставить крестьянам, остальное дать фронту.

Люди...

Оккупация длилась двадцать два месяца. Стало быть, не было двух призывов в армию. Где эти люди? Ну, часть ушла в партизаны, в подпольщики, часть была угнана немцами в Германию в качестве дешевой рабочей силы, часть погибла. А остальные? Остальные должны быть призваны в армию. Конечно, это дело военкома, но он не мог справиться с ним без помощи партийного актива, а значит, и без его, Захарова, помощи.

Вот Захаров и просыпался ночью и долго не мог заснуть от переутомления. Где взять силы для всего? Его первейшая забота — восстановление города, но при этом возникают и еще десятки неожиданных забот и вопросов. Сейчас на столе перед ним лежало письмо от семей репрессированных полицаев и старост.

Странно распорядилась людьми судьба. Рядом с деревнями и селами, где почти все, кто в силах были взять в руки оружие, стали партизанами, находилось село Костерино, которое поставило немцам несколько исправных полицаев. Кто они? Было бы все ясно, если бы можно было ответить: кулацкие сынки, сынки помещиков, попов и торговцев, выходцы, допустим, из Верхней Силезии. Но потомков классовых врагов, выходцев из Силезии, так же как и марсиан, в Костерине не было. Обыкновенные здоровые дрянь-мужики, праправнуки крепостных. Эти мужики сочли, что вовремя смекнули:

«Немцы теперь навсегда... Нужно служить новым хозяевам... Чего же упускать момент?» И стали служить.

И вот полицаи, не успевшие скрыться, понесли кару, а их семьи остались без кормильцев. Теперь эти семьи, видно собравшись на совет и немало поспорив, писали в райком. Бумаги не нашли, и пришлось запятнанным костеринцам оторвать четвертушку газетного листа, на которой не было клише, и крупными буквами, так чтобы затмить черный шрифт, «отписать» руководителю райкома, что они голодают: при дележе спрятанного немцами хлеба их обошли, дров привезти не на чем, денег нет и взять неоткуда... Костеринцы писали далее, что они понимают: главы и члены их семей, служившие этим немцам (будь они трижды прокляты!), виноваты, хотя и в разной степени, но разве виноваты их малые дети, старухи-матери и жены?

Николай Николаевич прочел письмо раз, прочел другой... На эту исписанную газетину уже поставили входящий номер и дату получения, а что он может ответить? Конечно, им несладко, этим костеринцам... Возможно, что-то преувеличили ради доходчивости, но, видно, положение действительно тяжелое...

Однако Николай Николаевич знал, что до этого письма очередь дойдет не так-то скоро: подчас семьи фронтовиков живут, как кроты, в земле, голодают, стынут...

И снова, в какой уже раз, Захаров, работавший днем и ночью, без выходных и праздников, чтобы накормить и одеть вернувшихся, построить им жилища, ощутил свою беспомощность: он не может тотчас же вызволить всех людей из землянок, не может досыта накормить их...

Эх! Мотануть бы сейчас на Ревну!

Захаров не был страстным рыболовом, но рыбалка, о которой он мечтал много недель и на которую ни разу не выбрался, сулила отключение от бесконечных и однообразных забот... Хоть посидит на берегу речки, где-нибудь за кустами, и перед глазами будут не землянки, не утонувшие в золе кирпичи, не обгорелые железные остовы коек... Но конечно же, никуда он не соберется... Может, только по пути в какое-нибудь село посидит полчасика на берегу...

Когда открылась дверь, Захаров подумал, что начали собираться на очередную летучку и что, как всегда, первым пришел Мамин, председатель райисполкома. Но появился Степанов.

— Вы, наверное, учитель Степанов? — признал его Захаров, уже наслышанный о приезде нового учителя.

— Совершенно верно.

— Слушаю вас, товарищ Степанов... — Секретарю райкома партии было интересно, с чего начнет этот новый в городе человек. Будет просить что-нибудь для себя или пришел с другими заботами?

Степанов рассказал о положении с бережанской школой. Если бы жильцам дать лес для землянок, школу можно было бы освободить без большого скандала...

— «Если бы»!.. — воскликнул Захаров. — Ох, это «если бы»! Но лесу нет, и в райкоме он не растет... — Захаров уже листал бумаги, сшитые суровой ниткой, отыскивая нужную.

Степанов подумал, что многие приходят, как он, в райком и чего-то просят, а то небось еще и требуют, а секретарь, словно маг и волшебник, должен решить каждый вопрос, должен помочь...

— А что вы скажете о настроении людей, товарищ Степанов? — найдя нужную бумагу, спросил Захаров.

— Что я могу сказать, Николай Николаевич? Я в городе без году неделя.

— У вас есть тем не менее преимущество — свежий взгляд.

— В таких условиях, — начал Степанов, — вообще-то, жить невыносимо. Но тем не менее люди живут, растят детей, обживают заново дедовскую землю да еще, наверное, пишут на фронт, чтобы за них не волновались. Не люблю громких слов, но я бы назвал их героями. Что помогает? Обретенная наконец свобода, освобождение от иноземного ига. Это, я бы сказал, большое духоподъемное чувство.

— Как? Как? — перебил Захаров, который внимательно слушал Степанова и приглядывался к нему. — Духоподъемное... Хорошо, товарищ Степанов, определено. Духоподъемное... Продолжайте, пожалуйста...

— Но радость освобождения, надо признать, несколько приглушена: уходили — стоял дом, вернулись — рой землянку. И все-таки именно сознание свободы дает силы преодолеть и эти трудности, и те, которые ожидают впереди. А их, думаю, немало...

— Да, не будем преуменьшать...

— Но есть и замкнутость или отчуждение у некоторой части жителей, переживших оккупацию.

— Да, да, — согласился Захаров. — Показывают себя некоторые «герои». Может, и в партизанах-то был с месяц, а зайдет спор или, не дай бог, вспыхнет ссора: «А ты, милая, что делала во время оккупации? А?» А «милой» — седьмой десяток, но вроде бы уже и виновата... Негде собрать людей и поговорить, — с упреком самому себе сказал Захаров. Он помолчал, тягостно раздумывая, и продолжил: — А потом... если по совести... какие слова скажешь полуголодному, а то и больному человеку, который придет послушать тебя, допустим, с того же Бережка?

— Есть эти слова, и вы их найдете, Николай Николаевич.

Захарову стало, видно, не по себе.

— Посидел бы на моем месте... — тихо проговорил он, но тут же оборвал себя и вернулся к прерванной теме: — Значит, школа? Лесу нет, ждем эшелоны, а пока нет...

— Там — старики, семьи фронтовиков... — нажимал Степанов. — Лес для переселенцев надо немедленно изыскать, Николай Николаевич...

— Вот так уж и немедленно?

— Конечно... — Степанов насторожился, чувствуя, что мирный разговор сейчас закончится.

— Вот что, дорогой Степанов! Есть райисполком, стройтрест, пусть они и решают эти дела. Наверное, у них выработан свой план.

— Строительство землянок, как сказал мне Троицын, для живущих сейчас в школе не предусмотрено. Куда же это годится?

Тем временем на летучку уже стали подходить люди: из райисполкома, из стройтреста, подошел второй секретарь райкома... И Захаров поспешил закончить разговор со Степановым:

— Работайте, товарищ Степанов, только давайте не будем партизанить.

Конечно, множественное число должно было как-то смягчить или, вернее, замаскировать удар: как можно предположить, что секретарь райкома партизанит? Уж если кто и страдает этим недостатком, то только он, Степанов!

— Вы это мне?! — Степанов готов был вскинуться.

— И себе, и вам. А прежде всего — себе. Работники должны отвечать за порученное дело. Думать и полностью отвечать! А я их дергаю: делай то, делай се, и они начинают привыкать к

иждивенчеству: укажут, поправят, подскажут, если что не так и если лень самому думать. Но разве может один человек охватить все дела? Вредная ерунда! Товарищ Галкина знает, о чем вы говорили мне?

— Нет.

— Вот видите! А ведь она человек энергичный и деловой. Ну, а если застопорит — уж тогда милости прошу ко мне. В общем, успехов, товарищ Степанов.

После ухода Степанова все устроились на привычных местах.

Летучки проводились через день. Если Захаров уезжал по делам хлебозакупа, их проводил Прохоров — второй секретарь, расположившийся в доме неподалеку. Был бы телефон, может, и не так часто собиралось бы начальство в райкоме, но телефона не было.

На сообщения Захаров отводил обычно две-три минуты. Первый вопрос всегда был одним и тем же: сколько человек прибавилось в Дебрянке, сколько из них детей, женщин, мужчин, какого возраста? Без такого учета ничего нельзя было планировать. Следующими: что из стройматериалов получено за эти два дня? Появились ли новые землянки? Как идет строительство бараков? Нет ли признаков тифа?

Сегодня, закончив с обычными вопросами, Захаров спросил, стараясь охватить взглядом как можно больше лиц:

— Как вы считаете, товарищи, не пора ли нам обзавестись клубом?

Троицын энергично, что так не вязалось с его внешностью рыхлой малоподвижной женщины, привскочил на стуле:

— Клуб?! Вы сказали — клуб?

— Да, клуб, Троицын.

Вчера Захаров, идя в столовую, свернул к очереди возле хлебного магазина. Очередь, как всегда, была немногочленной, сплошь из женщин; ребят старались за хлебом не посылать, подчас они не выдерживали искушения и съедали довесок. Все в очереди знали друг друга много лет и теперь, сбившись в кучку, делились новостями значительными и на первый взгляд совершенно ничтожными. Но все-таки разговор то и дело возвращался к главному: что там, где их сыны, братья, мужья? Почему от твоего пришла весточка, а от моего нет? Какие города взяли? Даже такие новости узнавались не без труда. Тут

же носилось провокационное: «Говорят, частную торговлю откроют... Колхозы пораспускают...»

Увлечшись, женщины не сразу заметили Захарова, а заметив, приумолкли. Захаров не мог слышать всего разговора, но две-три фразы он уловил, и в этих фразах — злополучное «говорят», а уж что «говорят», Захаров знал наперечет.

Он расспросил, кто у кого на фронте, что пишут, и только после этого объяснил, какие перемены в жизни страны действительно произошли, и коротко перечислил их. Он попросил относиться критически к тем, кто демонстрирует свое всезнание: «я слышал», «мне сказали», и, уж конечно, не верить тому, что двадцать два месяца твердила вражеская пропаганда.

— А кому ж верить-то? — спросила пожилая женщина.

Вот здесь-то Захаров понял, что попадает в неловкое положение. Своего радио в городе нет, газеты своей нет, клуба нет... «Политико-массовая работа», — вспомнил он привычное до войны словосочетание и горько усмехнулся.

...Поставив вопрос о создании клуба в форме, что ли, проблематичной, Захаров, конечно, знал, что его поддержат.. Важно было, чтобы именно поддержали, а не просто подчинились первому лицу в районе. И он стал говорить о том, как много раз и почему думал о неудовлетворительной постановке в городе политико-массовой работы, которая есть не что иное, как забота о душах и умах людей.

— Клуб дело не близкое, а сейчас хотя бы побольше газетных витрин, побольше бесед с людьми. Надо придумать, что можно сделать не откладывая, буквально завтра-послезавтра. Допустим, на почте, где людей бывает больше всего, вывешивать «Правду»... Можно еще поставить газетную витрину и возле хлебного магазина... Быть может, целесообразно и возле больницы... Сколько людей туда приходят! Не следует, на мой взгляд, обходить и очереди: идешь мимо, возьми и побеседуй по душам, сообщи новости, ответь на вопросы... Райком взял на учет все семьи фронтовиков, сумел подкинуть им дровишек. Ну а если время от времени выкраивать минутку-другую и заходить в их землянки? Даже если зайти в одну из пяти, то в остальных четырех содержание беседы станет известным в тот же день... Подумайте, что еще можно сделать... Ясно одно: и в землянках, и в сарайчиках, и в подвалах люди должны жить вместе со всей страной...

Когда Степанов заглянул во второй половине дня к Галкиной, то увидел ее за столом.

Она писала письмо, глаза были мокры от слез, на вошедшего не обратила внимания. То есть не то что не обратила, а как бы не могла сразу из одного мира перебраться в другой. Сейчас она была где-то далеко отсюда...

Степанов вдруг подумал, что и у нее есть муж или сын, которых она любит, за которых тревожится.

Галкина отложила письмо в сторону, тыльной стороной ладони вытерла глаза, протерла платком очки.

— Что у вас, Степанов? — Голос уставший, тихий, верно, вот таким она только что мысленно говорила с тем, кто далеко отсюда.

— Я был на Бережке, у Троицына, у Захарова, — начал Степанов, садясь.

— Ого! Чувствую фронтовой напор! — похвалила Галкина.

На похвалу Степанов не обратил внимания и коротко обрисовал обстановку: школа занята, стройматериалов жильцам не дадут, может, отпустят только семьям фронтовиков, если они там есть. Выселение будет делом сложным, именно поэтому с ним, видимо, и не торопятся. Есть и психологический момент, который нельзя не учитывать. Люди уже живут в школе — сухом, теплом помещении. Одно дело строить землянку, не имея даже крыши над головой, другое — переходить в землянку из школы.

Галкина слушала Степанова внимательно.

— Вы будете хорошо преподавать литературу. Однако психологией пусть занимается райисполком. Пусть думает, куда и как переселять людей. Он обязан предоставить нам это помещение. Все правильно. Это функция райисполкома.

— А вы сами-то в школе были? — спросил Степанов.

— Нет.

— А кто-нибудь из райисполкома?

Галкина лишь махнула рукой: мол, где им!

Выходит, только он, Степанов, схлестнувшись с жильцами, знал, какое это щекотливое, непростое дело — переселение.

— Все воляныт с этой школой, — досадливо вырвалось у него.

— Михаил Николаевич! — Галкина посмотрела с укором, и Степанов, вспомнив слезы на ее глазах, сразу сник. Ему захотелось взять руку Галкиной в свою, пожать, сказать что-нибудь ободряющее.

Галкина поспешила заверить его, что сегодня же свяжется с райисполкомом, и, еще раз похвалив своего подчиненного за армейский характер, вспомнила:

— Совсем из ума выжила!.. Вам же письмо...

Достала из ящика стола тетрадный лист, сложенный треугольником, и подала Степанову. Письмо было адресовано в Москву, из Москвы переслали в Дебрянск с указанием: «Полная средняя школа».

— «Полная средняя школа!» — и с горечью, и с иронией повторил Степанов. — В Дебрянске так много школ, что нужно уточнять: полная, неполная, начальная.

— Михаил Николаевич, нормальному человеку, не видя, трудно представить, во что можно превратить город, — оправдала Галкина неизвестного ей педанта.

Но Степанов уже ничего не слышал: читал письмо, сразу поняв, что оно от лейтенанта Юрченко. О Юрченко Степанов не раз вспоминал с большой, глубоко потаенной благодарностью. Досрочно выпущенный из училища, Юрченко был почти ровесником Степанова, в его подчинении были и такие молодые, как Степанов, и люди вдвое его старше. Однако к командиру шли и по личным делам, за советом... Степанов знал, как трудно бывало командиру нести это бремя ответственности, оставаясь добрым и справедливым к людям. Почему-то вспомнилось, как он сам однажды выручил Юрченко. Когда стало ясно, что их часть будет освобождать Воронеж, Коля Егоров спросил командира, а правда ли, что в этом городе жил поэт Кольцов. Юрченко не был горазд в истории литературы, слышал, что, кажется, поэт здесь жил, но добавить к этому ничего не мог. Степанов пришел на помощь:

— Это, Николай, по моей части... Специально учился... — и рассказал о Кольцове и Никитине, прославивших Воронеж. Это был первый в его жизни урок... И в какой обстановке! Тогда подумалось: «Доживу ли до второго?»

Когда Степанова отправляли в госпиталь, Юрченко просил обязательно сообщить ему, как идет лечение, а после выписки дать

знать о дальнейшей жизни. Степанов обещание выполнил, написал и вот сейчас читал ответ:

Друг Степанов!

Письмо твое из Москвы получил и полностью одобряю твой выбор ехать в Дебрянск, хотя, по совести, душа болит за тебя: я ведь представляю отбитый у немцев город.

Ребята помнят о тебе и шлют привет, хотя Коли Егорова уже нет с нами...

Степанов прервал чтение, встал.

Коля Егоров, с которым подружился Степанов, был разнорабочим. В армию его не призвали — что-то было с печенью, Степанов так и не узнал, что именно. А попасть через ополчение на фронт ничего не стоило: ни одной медицинской комиссии Степанов и его товарищи не проходили. Коля очень хотел учиться... Поступал в МГУ, но не прошел по конкурсу, думал поступать снова, но помешала война... К Степанову он сильно привязался, все время о чем-нибудь спрашивал, дивился познаниям Степанова и снова откапывал все новые и новые вопросы. Степанову нравилась любознательность товарища, его острый ум, и ему казалось, что вот из таких людей и вырастали самородки — такие, к примеру, как Циолковский или Мичурин.

Как погиб Коля? В бою? Под бомбежкой? От шальной пули? Не угадаешь... А вот кем мог стать Коля Егоров, Степанов, как ему казалось, знал твердо: личностью незаурядной...

Далее Юрченко писал:

Спрашивают меня о втором фронте, да что ответишь? Пока все одно и то же. Может, ты в Москве что слышал? Как ты уже, наверное, знаешь по сводкам, скоро мы должны переходить одну речку — ручеек, да такой, что можно ноги замочить. Но ничего, одолеем. Ненависть к врагу, как тебе сказать, становится трезвее и куда крепче, хотя, казалось бы, куда уж дальше-то? Думаю, теперь фашист понимает и сам, что полностью будет уничтожен.

*Письма твои, хотя и адресованы они мне, читаю всем.
Так что ты это учти. Пиши, что делаешь, как работа.
Будь здоров!*

Юрченко.

Удрученный печальным известием о Коле, Степанов не сразу понял, как сложно ответить на простой вопрос: «Что делаешь?»

А что он делает? Крутится целый день, с утра до вечера... А толку? Что сделано конкретно? Мелочи... Мелочи... Мелочи... И чувствуется, не будет им конца...

Что написать Юрченко, чтобы он понял: то, чему его, Степанова, учили в армии, не выветрилось, а сам он не превратился просто в инвалида, «звание» которого предполагало и оправдывало всякого рода поблажки, скидки и снисхождение и от других, и — самое страшное! — от самого себя.

Степанов вспомнил и о почте: может, там его ждет до востребования еще письмо — от матери, родственников, друзей? Как-то разок заходил — ничего не было.

Из армии и тыловых городов в Дебрянск после его освобождения хлынул поток треугольников, обычных конвертов и открыток. В каждом и в каждой запрос: «Живы ли?», «Жива ли?», «Жив ли?».

Больше всего адресовались в райком партии, справедливо считая, что самое надежное дело — писать в райком: прежде всего будет восстановлена и налажена его деятельность.

По просьбе Захарова все работники райкома, кроме всего прочего, осведомлялись у проходящих к ним по делам, не знают ли они, где можно найти такую-то и такую-то, чья фамилия значилась на конверте. Посылали искать адресата уборщицу, а если письмо было с фронта — даже инструктора. Чтобы ответить на запрос, нужно было проделать хлопотливую поисковую работу. Хорошо, если адресата в конце концов находили, а если нет? Что писать? Приходилось и такое: «Погиб», «Не вернулся»...

А запросы шли и шли...

Когда Степанов увидел дом, в котором расположилась почта, то понял, что со станции уже успели доставить мешок с письмами и газетами: молчаливая толпа женщин вливалась в настезь раскрытые

двери. Когда подошел ближе, мог слышать девичий голос, почему-то неуверенно читавший фамилии адресатов:

— «Кленовой Анастасии Филипповне»...

— Филипповне?.. На том свете Филипповна...

Теперь Степанов понял, почему был не только неуверен, но и, как он определил только что, виновато боязлив голос девушки.

— «Поярковой Екатерине Пав...»

Не успела закончить, как радостный крик из стиснутой груди:

— Живой!.. Мне! Мне!

— «Гавриловым, всем, кто остался». Молчание.

— Гавриловы есть?..

— Нету Гавриловых...

Когда Степанов вошел в помещение почты, одни женщины читали и перечитывали полученные письма, другие — в какой уж раз! — перебирали в длинном ящике замызганные, до сих пор не востребованные фронтовые треугольнички, обычные письма в конвертах и открытки со знакомым штампом: «Проверено военной цензурой». Несколько женщин стояли в сторонке, чтобы не мешать проходящим. Стояли молча, объединенные одним горем. Уже давно получили похоронки, но почти каждый день упорно приходили сюда, боясь признаться себе, что надеяться уже не на что... Постояли и пошли. Среди них Степанов заметил Пелагею Тихоновну — сгорбленную, отрешенную. Но в ответ на приветствие Степанова сейчас же поклонилась и тихо сказала:

— Опять нету, Миша...

Такая жалость пронзила Степанова, что он готов был обнять бедную женщину, но что-то помешало ему, и он смущенно сказал:

— Пелагея Тихоновна, я сегодня приду к вам вечером...

— Хорошо было бы, Миша... Хорошо бы... — Опять поклонилась и — к двери.

Прихрамывающий мужчина и женщина внесли фанерные листы, края которых были окаймлены красной полосой, а наверху стояла надпись: «Правда». Стенд для газеты! Начали прибивать к стене.

— Осторожней!.. Поосторожнее... Порвете! — просила девушка — работник почты — женщин, которые читали сводку Совинформбюро и не очень бережно, по ее мнению, обращались с

газетой. Взглянув на стенд, обрадовалась: теперь не нужно будет рисковать экземпляром, который отдавал ей на время Мамин.

— Бабоньки, дайте доступ человеку... Бабоньки!

Степанов не сразу понял, что это девушка расчищает ему путь к ящику с письмами.

Но писем не было. Хватит и одного в день.

12

Среди немногих домов, случайно уцелевших на окраине города, был и дом Акимовых. Комнаты Пелагея Тихоновна сдала в наем райисполкому, разместившему в нем финансовый и земельный отделы, а себе оставила кухню.

Когда рабочий день заканчивался, Пелагея Тихоновна переселялась в комнаты. Приятно посидеть среди фикусов и посмотреть на картины-репродукции, так и оставшиеся висеть на стенах. Правда, часто в комнатах ночевали работники райисполкома, но сейчас все они были в разъезде.

Степанов под вечер зашел к Пелагее Тихоновне.

Вот здесь и рос Коля Акимов.

Пелагея Тихоновна и ждала, и не ждала Мишу. Все изменила, все поломала война... Всего можно ожидать: забудет, не выберет время...

Увидев Степанова, Пелагея Тихоновна бросилась ставить чайник.

О сыне не могла не говорить, впрочем, она почти все сказала при первой встрече. Выложила на стол кипу фотографий... Для этой рано постаревшей женщины вся оставшаяся жизнь была теперь только в сыне, в его судьбе, в этих карточках, запечатлевших чуть ли не месяц за месяцем дни его юности...

Степанов стал перебирать старые фотографии. Казалось, сто лет прошло с довоенной поры, целая эпоха... И было невероятно, что она уместилась в какие-то считанные годы. Невероятными казались эти беспечные дни, школа, прогулки, первомайские и октябрьские демонстрации...

Вот урок физики. Полкласса, как ни просил ребят фотограф, все-таки устали в аппарат. Полкласса делают вид, что слушают Петра Федоровича, стоящего у доски. На столе — электрическая машина,

названия ее Степанов не может вспомнить. Электрофорная, что ли... Есть такая? Вера дотронулась кончиком языка до верхней губы и улыбается. Ваня Турин сделал вид, что пишет, а сам смотрит в аппарат. Маша, как всегда, хотела поправить локоны перед съемкой, но не успела, так и сфотографировал ее Коля с поднятой рукой. Восторженный Борис Нефеденков обнял Ваню Дракина, и оба застыли, демонстрируя свою дружбу...

...А вот класс на большой перемене. Группой пришли в горсад, по соседству со школой. Сидят на скамейке, о чем-то разговаривают, смеются... День был солнечный, лица словно вылеплены. Снимок, конечно, моментальный... Этот длинный, тощий как жердь Ленка сейчас майор.

...Прогулка в Мылинку, одно из самых живописных мест в округе. Загорают на берегу реки. Здесь почему-то и Нина Ободова, не входившая в их компанию, она моложе их года на три-четыре...

...А это? У школы сняты Вера, он, Ваня Турин, Николай Акимов и Иван Иванович Штайн, тот самый...

...Снова эпизод прогулки в Мылинку: сидят кружком, подкрепляются яйцами и помидорами...

...На мосту...

...На демонстрации...

...На Советской...

Фотографиям не было конца, и отложить их невозможно. Пелагея Тихоновна, перебиравшая эти карточки, наверное, каждый день, сейчас разглядывала их словно впервые, поясняя, рассказывая Степанову, что он и без нее знал или что было совершенно несущественно. И все о Коле, о Коле... Где и с кем снят... Когда был куплен серенький пиджачок, в котором он на этой карточке... Сколько пришлось отдать портному Василию Дмитриевичу за брюки, единственные выходные у Коли...

Степанов терпеливо слушал. Что делать? Видно, он один из немногих, с кем Пелагея Тихоновна может так говорить о сыне. Пусть уж отведет душу...

— Как же ей теперь-то? — вздохнула Пелагея Тихоновна, в раздумье взяв фотографию, где снята была и Вера. — Так вот сразу потерять...

— Кого потерять, Пелагея Тихоновна? — спросил рассеянно Степанов: уж слишком много воспоминаний нахлынуло на него. — Своих, что ль?..

Только сейчас до женщины дошло, что сказала она, пожалуй, лишнее. Наверное, не стоило бы об этом говорить, ведь Вера с Мишей, кажется, дружили... Да, да, не надо было бы... Не надо!.. Пусть сами разберутся...

Пелагея Тихоновна отложила фотографию и, не умея лукавить словом, едва заметно качнула головой: да, мол, так — своих!..

Степанов не уловил никакой неловкости, никакой неестественности в поведении Пелагеи Тихоновны.

13

Турин еще не вернулся (а стало быть, и Вера!), хотя должен был бы приехать. Власов сидел за столом и чинил рубашку.

— Хозяйничаем, Власыч? — спросил Степанов.

— Приходится, Михаил Николаевич... Вас просили зайти к товарищу Цугуриеву.

— К кому?

— К Цугуриеву.

— В органы? — вспомнил Миша разговор с Троицыным. — А сегодня же воскресенье...

— Такие организации не знают выходных... Да часто и райком не знает...

— А зачем я Цугуриеву?

Власов недоуменно взглянул на него: что, мол, спрашиваешь?

— Ну что же... Пойду... Где его ведомство?

— А вот напротив! Чуть наискосок... Вправо...

— А-а, в доме Кахерина?

Степанов вышел.

Он понятия не имел, зачем мог понадобиться Цугуриеву.

Никогда не бывал он в доме Кахерина, но слышал о нем. Был такой учитель Кахерин, не у них в десятилетке, а в семилетке на Масловке. Плотный, маленького росточка человек. Переехав из деревни, он построил себе дом с небольшими окнами и на удивление

низкими потолками — чтобы было теплее. Об этом доме много говорили. Наверное, потому Степанов и запомнил его.

Коридор, кухня, большая комната — все как везде! Правда, сильно уменьшенное: дом-то сам крохотный... В комнате — никого, горит лампа. Заслышав шаги, из маленькой комнаты вышел ладный, среднего роста майор.

— Товарищ Цугуриев? Я — Степанов...

— Очень хорошо, товарищ Степанов. — Майор быстро оглядел его. Бывают такие электрические фонарики с узким пучком света, чтобы лучше высвечивать. Степанову показалось, что майор посветил на него таким фонариком — с головы до пят. — Садитесь... Впрочем, сначала снимите шинель: у нас не холодно...

— В этом доме всегда было жарко, — раздеваясь, заметил Степанов.

— Бывали?

— Не приходилось... Но весь город судачил про эту «кубышку» учителя Кахерина.

— С какого года живете в Дебрянске, товарищ Степанов?

— Пожалуй, с тридцатого... Да, с тридцатого.

— Хорошо. Вы нам можете быть полезны. Садитесь, пожалуйста...

Степанов сел за стол, Цугуриев — напротив. Из ящика он достал фотографии, разложил их перед Степановым, словно игральные карты, и не спеша откинулся на спинку стула, подальше от лампы с бумажным самодельным абажуром — в тень. А у Степанова лампа — перед самым носом.

— Пожалуйста, посмотрите, товарищ Степанов, повнимательней и скажите, кого из них вы знаете. Где они работали? Начните по порядку... Впрочем, как хотите...

Степанов внимательно рассматривал фотографии. Тридцатилетние, сорокалетние мужчины... Чуть помоложе, чуть постарше. Снимали их, видно, в одно и то же время, на одном и том же сером фоне... Кроме двоих...

Не зная еще, в чем дело, Степанов хотел найти среди этих мужчин хоть одного знакомого. Надо ведь помочь Цугуриеву, который «проводит большую работу», как сказал Троицын. Однако сколько Степанов ни вглядывался в снимки, знакомых не находил.

— Ну как, товарищ Степанов?

Степанов отрицательно покачал головой:

— Никого не знаю... Я, конечно, всех городских мог и не знать, но, вероятно, это из окрестных и неокрестных сел и деревень...

— Возможно, есть и такие. Значит, никого из них не знаете?

— Нет. А кто это? — спросил Степанов. — Если не секрет...

Цугуриев помолчал, вздохнул:

— Секрет в том смысле, что не все они еще опознаны или точно опознаны. А среди них могут быть старосты, полицаи, каратели...

— Может быть, не дебрянские?

Цугуриев уклончиво улыбнулся: мол, не скажите!

Дело важное. Степанов снова стал рассматривать фотографии. Да, вот сейчас, когда ему стало известно, что за фрунты изображены здесь, действительно он в каждом видел возможного предателя, палача: в их лицах ему уже мерещились черты жестокости и порока...

— Наверное, те, кто оставались здесь, могут быть вам более полезны? — спросил Степанов.

— Народ помогает нам, мы опираемся на народ. Однако некоторые местные могут только запутать... Что же... Спасибо, товарищ Степанов!

Степанов встал:

— За что?

— За желание нам помочь... — Цугуриев уже собирал фотографии.

Степанов стал одеваться и, решив, что такой случай, быть может, не скоро представится, спросил:

— Скажите, пожалуйста, вина Штайна полностью доказана?

— Какого Штайна? А-а, немецкого прихвостня?.. Неужели вы думаете, что у нас осуждают невиновных?.. Вы, очевидно, его до войны знали? Вас можно понять...

Спрятав фотографии в ящик стола, Цугуриев подошел к Степанову:

— Впечатления... заблуждения... Все становится яснее и проще, товарищ Степанов, когда побываешь на сто второй версте.

— Что это за сто вторая верста?

— Место расправы фашистов над советскими людьми. Не дай бог — приснится! Мы уж думали, все рвы учли, а пройдет сильный

дождь, размочит землю, смотришь — новые десятки трупов... Думаю, что комиссия по расследованию злодеяний дала уменьшенную цифру убитых и замученных. — Цугуриев взглянул на часы и крикнул в сторону маленькой комнаты: — Лейтенант!

Послышался скрип койки, и вслед за этим легкая дверь открылась, в ней показался рослый лейтенант. Пригнувшись, шагнул в «залу»:

— Пора?

— Пора...

14

Турин еще не вернулся. Власов ждал его с минуты на минуту.

Степанов вдруг представил себе: открывается дверь и входит Вера. Да, собственно, это может произойти каждое мгновение: послышатся голоса, шаги по скрипучим половицам в коридорчике, мягкое хлопанье обитой потрескавшейся клеенкой двери — и она здесь!

Узнав у Власова, откуда Турин и Вера должны приехать, Степанов решил прогуляться и встретить их на шоссе. «Вот будет для Веры радостная неожиданность!»

Звезд не было, светила холодноватая луна. По-прежнему пахло пожарищем.

У «кубышки» Кахерина стояла подвода, лейтенант и майор Цугуриев устраивались на телеге, устланной толстым слоем соломы.

— Подвезти? — спросил Цугуриев.

— Спасибо, — отказался Степанов.

Лейтенант тронул вожжи, телега покатила и вскоре пропала за холмами, останками домов.

Степанов вышел к центру и зашагал по улице Третьего Интернационала, за свое существование менявшей названия раз пять.

Он всматривался — не покажется ли темное пятнышко, прислушивался — не послышится ли пофыркивание лошади, знакомые голоса. Но ничего не появлялось на изрытом шоссе, ничего не было слышно.

Довольно быстро он очутился далеко за городом.

На полях стояли скирды хлеба, а кое-где — несжатая рожь. Солома матово блестела в голубом лунном свете, и не верилось, что эти радующие золотисто-синеватые тона лежат на полусгнившей ржи, которую уже неизвестно на что можно использовать.

Кругом чернело железо — листовое, штампованное, катаное, вареное, хитро сплетенное в машины, а затем разбитое.

Пройдет месяц-другой, запорхает снег и прикроет на полях и дорогах танки, каски, разорванные гусеницы. Прикроет черные, сожженные поля с островками хлебов, прикроет воронки и прямоугольники от сгоревших домов — следы войны.

Будут чистые, белые, нетронутые поля, занесенные снегом дороги. А когда стает снег, ржавое, изъеденное железо на лугах зарастет зеленой травой, в лесу — покроется мхом... На пепелищах отстроят дома с петухами на крышах, поставят журавли у старых колодцев.

Здесь, под вечным небом, откуда светила луна, Степанов понял, что все заживет, заживет... Все вернется, только ему будет не двадцать три, не двадцать пять...

И хотя в поле не пахло, как в городе, мокрой золой и углем, Степанов вспомнил этот запах, преследовавший его со дня приезда, и вдруг понял причину щемящей боли, охватившей его при первом взгляде на город и не отпускавшей вот уже какие сутки.

Его юность стала прошлым, отошедшим вместе с городом. И вслед за Николаем Гоголем он готов был повторить слова, хорошо известные ему, но не отзывавшиеся в сердце так пронзительно, как сейчас: «Отдайте, возвратите мне, возвратите юность мою... О, невозвратно все, что ни есть в свете». Всего неделю назад он самонадеянно считал прошлое незавидной привилегией исключительно стариков...

А началась юность так.

...Часов в одиннадцать утра Миша позвонил, нажав аккуратненькую кнопочку электрического звонка. В других домах нужно было просто стучать в дверь, а то и в окно. А тут — звонок. Вера готова, и минут через пятнадцать они уже за городом.

Земля прогрета. Колеблющийся, восходящий от земли воздух размывает очертания далекого темного леса, горизонт — мягкий,

нечеткий.

С дороги — на стежку, к лугам, лощинам с неугомонными ручьями, в сумрак чащобы.

Родная земля...

Он считал ее своей, наверное, с тех самых пор, когда еще не совсем осознанный взгляд ребенка стал различать яблони в саду, облака в небе, росу на траве и цветах, отблеск заката на белой вышке колокольни. И любил он ее той любовью, когда не знают, за что любят. Любят, и все, потому что другое отношение невозможно. История ее — не только книжки и уроки в школе. Это часть жизни его предков.

В отцовском доме на столе лежали окаменевшие куски дерева, пчелиных сот, бронзовый наконечник стрелы. В коробочке — первые русские копейки, тоненькие, неправильной формы кружочки из серебра с изображением всадника с копьём. Это клад, где-то вырытый крестьянами и подаренный ими Мишиному отцу. Названия деревень вокруг — Казаки, Черкесы — напоминание о когда-то высланных сюда казаках. Хатожа — о древних славянских племенах, хозяевах этих мест. Давно-давно здесь бьется жизнь, работают люди, украшая эту землю для потомков...

Чувство это никогда и нигде не покидало его...

Они шли по торной дороге: с одной стороны смешанный лес, с другой — рожь. В руках у Веры — букет, собрала, сама того не заметив.

И вдруг внизу из-за деревьев взблеснуло что-то: не то озерко, не то речушка. Вот это самое примечательное в их прогулках: нечаянно набрести на заросли малины, речушку, на хуторок с пасекой, на заброшенную и потому таинственную дегтярню... Что-нибудь обязательно да попадется, земля щедра и доказывает это почти на каждом шагу.

К речушке бежали, снимая на ходу — Миша рубашку, Вера кофту. Вода прохладная и очень прозрачная, ее так и хочется зачерпнуть ладонью и испить.

Потом, наспех вытеревшись, со свернутой одеждой в руках, шли по берегу, загорая. Только хотели одеться, Вера остановилась:

— Озерко!

Неизвестная по имени речонка, сдавленная с двух сторон обрывами, поросшими дубняком, кленом и папоротником, наверное,

еще современником мамонтов, проскочив узкую горловину, разлилась в лесу небольшим озерком. Над водой белели лилии, в одной стороне, где, видимо, было помельче, виднелись очень похожие на березовые листья сладкого водяного ореха.

Охватив пальцами тонкие и крепкие жилы редкого растения, Миша повел их ниже, ниже... Вот здесь, в мягком, необыкновенно нежном иле, и гнездятся эти орехи. Осторожно! Они колючие. Иглы очень острые и твердые. Достав несколько орехов, Миша, изрядно повозившись, снял колючки и предложил Вере мучнистую, сладковатую мякоть. Орехи можно подсушить, и тогда они становятся необыкновенно вкусными.

Потом Миша разводил костер. Сушняк горел почти без дыма, и, продрогшая от купания в родниковой воде, Вера бегала, согреваясь, возле самого костра.

Захотелось есть. Нестерпимо, с каждой секундой все сильнее.

Они вышли на дорогу, неизвестно куда ведущую, и осмотрелись. Вон, за рожью, среди высоких, могучих лип, белеет колокольня церкви. На нее и нужно идти: село.

У первого же дома Вера и Миша остановились, попросили молока. Пожилая женщина в неизменном платочке вынесла на крыльцо горлач, как здесь называли глиняный кувшин, и ароматную краюху хлеба. По очереди они тянули из горла. Расспросив, кто такие и откуда, женщина заинтересовалась Верой:

— Соловьева... Соловьева... Какого же это Соловьева наливное яблочко?

Выражение «наливное яблочко» Мише очень понравилось. Вот такой Вера на годы и осталась для него, лучше не скажешь...

Миша знал и умел больше, чем Вера, и это нравилось ей. Он и должен больше знать и уметь, должен быть сильнее ее.

Что это за дощечки, прибитые к домам? На одной нарисован топор, на другой — ведро, на третьей — багор...

— Это на случай пожара, — объясняет Миша. — Чтоб каждый двор знал, что выносить...

Можно ли бегать босиком по жнивью?

Оказывается — можно, только на бегу приминая его, и никогда не поранишь ног.

В деревнях и селах, оказывается, обязательно нужно здороваться со встречными, не знакомыми тебе людьми...

Вера не знала об этом, Миша знал...

Он сознавал, что чуть-чуть в чем-то превосходит Веру, и это превосходство, если оно не самообман, должно служить ей. Как это хорошо — что-то давать другому, делать для другого.

Вера не следит, куда они забрели, уверена: выберутся! Рядом — Миша. А если и проплутают лишние километры — тоже неплохо. Они уже довольно далеко от города, идут и идут, а она не спрашивает, куда и зачем, долго ли будут идти.

И все это впервые. Так еще не было.

Вера одной из первых в Дебрянске раздобыла новинку — роман «Как закалялась сталь». Дочитала последнюю страницу, захлопнула книгу и пошла с ней к Мише: пусть прочтет.

О книгах спорили везде, но особенно много в доме Веры. В домашней библиотеке ее родителей — старые книги и журналы, на стенах — портреты писателей.

Сам Павка Корчагин больших споров не вызывал, все было ясно, но разговор о нем перекидывался к другим именам, тоже славным в истории и литературе: Александр Радищев... декабристы... Александр Герцен... В какой степени они пример для современной молодежи? Ведь они, как старательно подчеркивалось в учебниках, чего-то недопонимали, кругозор их был ограничен, марксизма, как самой передовой философии, не знали, и все, словно оговорившись, происходили из дворян, то есть нужды не ведали, классового гнета на себе не испытали... Приговор был такой: все же это не настоящие герои, а с изъясном. А настоящие герои пошли потом...

Отец Веры, если ему, зайдя в библиотеку, удавалось уловить смысл разговора, улыбался, спорил, но переубедить до конца Веру и Мишу не мог, хотя и был очень уважаем ими.

Нет! Настоящие борцы — из гущи народа! Должны быть хорошо подкованы теоретически! Иначе — ошибки, просчеты, узкий политический кругозор и в конце концов — печальный исход!

Вот они с Верой, может, и не станут героями, но, по крайней мере, ошибок не сделают: у них правильное мировоззрение, а оно-то от всех бед и спасает.

Во время таких разговоров и споров Миша вдруг забывал обо всем и смотрел на Веру. Та иногда улавливала эти взгляды, но ни о чем не спрашивала.

Будет еще завтра, послезавтра, много-много дней. Им некуда спешить. Все впереди... Нет предела их жизни, их молодости...

Подводу с Туриным и Верой Степанов так и не встретил. Могли и другой дорогой проехать. Могли задержаться... Был уже поздний час, и он почел за лучшее повернуть обратно.

Ничто в пустыне с холмами кирпичей не говорило о жизни. Страшновато становилось на этом огромном кладбище домов...

Только на Тургеневской, неподалеку от руин педтехникума, Степанов услышал голоса — мужской и женский:

— Боюсь я: дети же рядом!

— Ну а куда?

— Ему же теперь все равно... Что в землянке, что на улице...

— О чем ты говоришь! Совсем свихнулась! Пойдем, пойдем...

Женщина плакала и от навалившегося горя, и от страха за детей, и от безысходности. Мужчина пробовал успокоить ее:

— Пойдем, Зина, пойдем...

Скрипнула дверь землянки, по холодному кафелю голландки, против входа, пробежал слабый отблеск, дверь захлопнулась, все стихло.

Тиф... Сыпной, брюшной, возвратный...

Здесь, наверное, сыпной, иначе не пришла бы женщине безбожная мысль вынести только что скончавшегося на улицу.

Справа, за трубами печей, мелькнула невысокая фигура. Интересно, кто это не спит и бродит тут? Степанов остановился. Мимо него прошла Нина Ободова. Она не поздоровалась, словно и не узнала его.

— Нина!

Девушка остановилась, медленно, неохотно повернула к Степанову голову.

«Ничего неестественного в ее поведении нет», — подумал Степанов, Тогда, при первой встрече, она рванулась к нему, как к родному. А он? Что же теперь ей делать, как не пройти мимо?

Степанов подошел к девушке сам:

— Здравствуй, Нина.

— Здравствуй, — ответила она отчужденно.

Нахмутив черные брови, смотрела в сторону.

Степанов нашел ее руку, крепко сжал. Ладонь была холодной, безвольной.

— Послушай, Нина... Приходи завтра же утром!

— Зачем?

— Поговорим... Нельзя же так!..

Только теперь девушка недоверчиво посмотрела на Степанова.

— Куда же приходите?

— В райком.

— В райком я не приду. Нет, — твердо сказала она.

— Ну, приходи... — Степанов задумался: а где, собственно, еще можно встретиться? Придется на улице. — ...в горсад, что ли?

— Как в прежние времена... — Нина улыбнулась. — Могу и в горсад. Только вечером, — поспешно добавила она.

— Если хочешь, можно и вечером... А почему вечером? Тебе так удобней?

— Да... Удобней.

— Когда?

— Часов в семь.

Только сейчас Степанов сообразил, что занимать завтрашний вечер, когда можно побыть с Верой, которая непременно приедет, если уже ни приехала, совсем ни к чему. Нескладно получилось! Но переносить встречу с Ниной тоже нельзя: она может истолковать все по-своему.

— Хорошо, — сказал он. — В семь. А где ты живешь?

— В сараюшке возле станции.

— Мать где?

— Угнали, не вернулась...

Степанов помолчал: «Вот оно как...»

— До завтра, Нина!

— До завтра.

Когда Степанов возвратился в райком, Турин и Власов закусывали за столом.

«Приехала?!» — радостно подумал Степанов. Он быстрым взглядом оглядел комнату, но Веры не было.

Возвращаясь, они неминуемо должны были проехать мимо Вериного дома, вернее, того, что от него осталось. Конечно же, уставшая от дороги, Вера сошла... Ведь скоро двенадцать! Если бы она жила одна, он побежал бы к ней... А теперь опять надо ждать до завтра...

— Садись и ешь. А то ничего не останется... — кивнул Турин на лежавшие на столе, как показалось Степанову, пшеничные лепешки.

Степанов стал раздеваться, мыть на кухне руки. Не торопился.

«Приехала... Приехала...»

Сев за стол, расспрашивал о поездке: где были, зачем понадобилась Вера.

— Тиф, — объяснил Турин.

— Ну, а Вера-то при чем?

— Преподаватель биологии, почти доктор, помогает врачам... — Турин перестал жевать, вспоминал, словно что-то сопоставлял.

Заминка эта показалась Степанову какой-то многозначительной, и он спросил:

— Ты сказал Вере, что я здесь?

— Конечно.

«И — ничего! Слово меня здесь нет!» Степанов взял лепешку и не понял, что это никакая не пшеничная, а картофельная с поджаристой корочкой из муки.

— Миша, — заметил Турин, — оладьи ешь с огурцом, а чай пей с хлебом.

— А, да, да... — рассеянно отозвался Степанов, а сам раздумывал, что Вера может то же самое сказать и про него: «Знает, что я здесь. И — ничего!»

Шаткое объяснение это на миг как-то успокоило.

— Но Вера-то вернулась? — уточнил он.

— Вера не вернулась. Завтра к вечеру приедет, — ответил Турин.

«Не вернулась! Вот в чем дело!» Но сейчас же больно кольнула другая мысль: «Неужели не могла передать с Туриным хотя бы крохотную записку? Ведь знает, что я приехал!»

— Иван Петрович, — сказал Власов, — через два дня записку о подполье сдавать...

— Хорошо, сдадим.

— Иван Петрович, — не унимался Власов, — напоминали уже...

— Сделаем, сделаем!..

— Уедете опять, — нажимал Власов, — когда мы тогда сдадим?

Турин обратился за сочувствием к Степанову:

— Видишь? Сначала в подполье работай, а потом записку о нем пиши! — И видно было, что эта записка сидит у него в печенках. — Заела отчетность! Черт бы ее побрал!

Турин считал, что писать-то особенно не о чем. Пришли враги — значит, нужно их бить. Это естественно, как дыхание. И мало ли было подпольных комсомольских организаций, и помногочисленней, чем у них.

— Сиди и только тем и занимайся, что пиши! — не мог успокоиться Турин. — А тут еще отчеты о числе комсомольцев, уплате членских взносов, количестве первичных организаций, проведенных мероприятиях...

— Ваня, — проникновенно сказал Степанов, — это же может быть героической поэмой! Балладой!

— «Поэмой»! — повторил Турин сердито. — «Поэмой»! Скажешь... Скажешь еще... — Постепенно голос его теплел, добрел. Быть может, только сейчас ему впервые подумалось: то, что он считал лишь материалом для отчета обкому, есть, кроме того, нечто и совсем другое, интересное многим, что когда-нибудь позже станет летописью народного подвига.

И он пытался сейчас взглянуть на недавнее прошлое, стараясь раскрепоститься от текущих забот, освободиться от гнета обязанностей, которых у него было больше, чем мог выполнить человек.

— Теперь-то мы все умеем, все знаем, — заговорил Турин. — А тогда-то, Миша!.. — Турин с грустью и даже досадой принялся вспоминать, какими они были тогда, с чего пришлось начинать, как мал, ничтожен был их житейский опыт, сколько в них было наивности

и неведения... — Сначала трудно было свыкнуться: немцы прут и прут, люди гибнут, а ведь мы пели совсем о другом... Не укладывалось у меня это в голове... Потом пришла ненависть, и что-то нужно было делать!.. А что именно? Что мы можем? С чего начать?.. Помню, дождь... С этого дождя у меня все и началось. На Советской фотографию Мендюка знаешь?

— Как же! Конечно!..

— На стене — обычное фрицевское объявление: «Доводится до сведения... устанавливается... запрещается...» Не помню уж, что там устанавливалось и что запрещалось. Только около этого объявления стояло несколько человек. Такие же объявления — неподалеку, но возле них — никого, а возле этого — народ... Я подошел. На объявлении по диагонали кто-то написал чернильным карандашом: «Бей немцев!» Надпись от дождя стала расплываться, от букв потянулись фиолетовые потеки... Те, кто подошли позже, могли только угадывать, что написано поверх печатного текста. Спрашивали, а им, сторожко оглядываясь, отвечали шепотом: «Бей немцев!» Удивлялись и радовались: значит, есть в городе непокоренная сила! Пока подошел полицейский, человек десять — пятнадцать увидели эту надпись и ушли с верой: есть сила! Вот здесь-то я и понял: два словечка, а сколько людей заставили задуматься! Ведь немецкая пропаганда строилась на том, что все кончено, подымай лапы кверху! Тут я побежал к Коле Акимову... Ты помнишь, — обратился Турин к Степанову, — что Коля немного рисовал...

— Помню...

— Я ему говорю: давай сделаем из старой калошины...

— Калоши, Ваня, калоши! — поправил Степанов.

— Да... Давай, говорю, вырежем из старой калоши такую печатку, сделаем штемпельную подушку, пропитаем чернилами, а вечером пройдемся и припечатаем на немецкие объявления свое: «Бей фашистов!» Коли подумал, подумал и загорелся. Он ведь человек раздумчивый, немножко старичок...

— Помню, помню, — обрадовался Степанов воскрешенной точной детали. — Коля — старичок... С бухты-баракты ни за что не брался, но уж если возьмется — доведет до конца...

— Вот, вот... Самое главное, что нам обоим в этой затее нравилось: на немецком добре! Откуда бы мы взяли бумагу? Да еще ее

наклеивать! А тут подошел, шлеп — и готово! Получайте!.. Все обдумали, решили, утвердили текст: «Смерть оккупантам!» Но дело застопорилось: нет калошины!

— Калоши, Ваня, калоши!

— Да... Нет, говорю, калоши! То ли выбрасывала их Пелагея Тихоновна, то ли в утиль сдавала, а только не оказалось у Акимовых ни одной старой калоши! Я к себе пошел — нету! Какая-то прямо чертовщина! Помню, валялись чуть не на каждом шагу, а вот схватились — и нету! Думаю, надо к соседям: за всем ведь ходили... За безменом, кантарем у нас еще называется, за мерой, если картошку покупали с воза, за всякой всячиной... А тут подумал: как же объяснить, зачем тебе несчастная старая калоша?.. Конечно, можно было бы придумать десять причин: дверь отходит, сделать набивку; вырезать прокладку для примусного насоса; выкроить заплату для починки другой калоши, мало ли?.. Но мне казалось — соседи сейчас же догадаются, зачем прошу. К соседям не пошел...

— Проблема борьбы с фашизмом: где взять калошу? — улыбнулся Степанов. — Где ж ты ее все-таки раздобыл?

— У Веры... Вырезал Николай буквы, наклеили на дощечку, а вечером пошли...

— Боялись? — спросил Власов.

— Еще бы!.. Наутро весь город только и говорил о наших призывах... Мы ходили по улицам и смотрели, как суетились немцы и полицаи: им надо было срывать распоряжения собственного начальства! Какой подрыв авторитета! И наверное, эти усилия врага — содрать то, что наклеили вчера, морально действовали на жителей не хуже самого призыва... Вот с этого мы и начали.

— Организация большая была? — спросил Степанов.

— Большой не назовешь... Собиралась, распадалась, все было! Непросто это...

Турин рассказал, как вначале организация оказалась на грани провала и распада, но пришел к ним коммунист Артемьев, приказал затаиться, никак и ничем не выдавать себя. А потом, побеседовав с каждым, посоветовал, что и как делать. Подпольщики вели пропаганду, добывали сведения для партизан. Ценной считалась информация об отправке эшелонов с невольниками в Германию. Если ее получить вовремя и вовремя передать партизанам, можно было

освободить не одну сотню людей. Партизаны взрывали железнодорожное полотно и нападали на охрану поездов, которые везли рабов для немецких господ. Освобожденные пополняли ряды партизан, а о тех, кто не мог взять оружие, нужно было позаботиться опять же подпольщикам: рассредоточить, легализовать, снабдив документами...

— Не все получалось, — вздохнул Турин, — но что могли — сделали. И этому высокую оценку дали даже немцы, как это ни покажется парадоксальным.

— Пстой, пстой!.. Немцы — оценку деятельности партизан и подпольщиков? — спросил Степанов.

— Да, именно. Был район, где господа покорители не чувствовали себя господами. Даже боялись там появляться. Щиты поставили с предупреждением об опасности.

— Где же это?

— Дорога на Бежицу, западнее Дебрянска... Приехал бы раньше, сам мог увидеть эти щиты, а теперь небось кто-то из них крышу для землянки сделал или на топливо пустил... Надписи сначала на «дойче», потом на русском... Проходил я не раз, запомнил... «Внимание! Опасность — партизаны!» Подпольщиков они тоже часто называли партизанами, — пояснил Турин. — А ниже: «Строго воспрещается для гражданского населения, а также военным появляться в районе севернее дороги Дебрянск — Бежица. Всякий, кто появится в запретном районе, будет расстрелян». Только и всего! Ну и подпись обычная: «Местная комендатура Дебрянска».

— Да-а, — раздумчиво проговорил Степанов. — Такое надо бы сохранять для истории...

— Не до истории было... — Турин посмотрел на часы, встал: — Давайте спать...

Днем в райкоме появилась девочка в больших, с чужой ноги, ботинках. Под мышкой держала несколько книжек. Она поздоровалась со Степановым.

— Как тебя звать-величать? — спросил он.

— Ирой... Вы были у нас...

— А-а! — вспомнил Степанов. — Как ты маму зовешь, Ира?

— Мамой...

— Ну то-то!

Ира в смущении опустила глаза и, помолчав, спросила:

— А все-таки правда, что в школе будем петь?

— Конечно! — не задумываясь, ответил Степанов.

— Это хорошо, — отозвалась Ира с радостью.

Ира спрашивала о школе уже второй раз, но до Степанова и сейчас не мог прийти весь скрытый, глубинный смысл этого, казалось ему, простейшего вопроса. «Почему так хочет петь? Верно, любит...»

От человека, не перенесшего оккупацию, неизбежно, будь он хоть семи пядей во лбу, ускользали некоторые нюансы поведения людей, хвативших тогда лиха. Старуха Баева, например, вздрагивала, когда кто-нибудь из молодых мужчин быстро совал руку в карман. «За наганом!» На ее глазах немецкий офицер застрелил мальчика и девочку с красными шарфами. Как оказалось потом, он принял шарфы за пионерские галстуки.

— Товарищ Степанов, я книжки принесла, — Ира протянула три книги.

— Называй меня, пожалуйста, Михаилом Николаевичем, Ира...

— Хорошо...

Степанов стал рассматривать книги. Одна была — «Сказки» Пушкина, преподнесенная за отличные успехи и поведение ученику 4 «В» класса семилетней школы № 2 Владимиру Полякову; вторая — «Господа нашего Иисуса Христа святое Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна» на славянском и русском языках, издание пятьдесят восьмое, Санкт-Петербург. Синодальная типография, 1905 год. Третья, без обложки и титула, — старый учебник физической географии со многими превосходно выполненными иллюстрациями и картами.

— Откуда это у тебя? — спросил Степанов.

— Нашла...

Все, кого немцы перед своим отступлением должны были гнать на запад, думали об одном: вернуться! Они знали, что оставлять в домах ничего нельзя: их сожгут или разграбят. Каждый старался отобрать дорогие чем-либо вещи и закопать в потайном месте...

И вот те, кто уже не чаял увидеть родной земли, вернулись к пепелищам. Одни нашли свои вещи в целостности и сохранности, другие не сразу могли отыскать потайных местечек: зарыли возле сарайчика, а где теперь сам сарайчик? Но когда и отыскивали тайники, находили их другой раз пустыми...

Все было... Иные обнаруживали чужое добро случайно, и не все из этих иных в преддверии зимы и полной нищеты могли расстаться с найденными платками, валенками, шапками... Порой и отдать не знаешь кому... Не все вернулись: свалились где-нибудь в придорожную канаву от недоедания, болезни, удара резиновой плеткой.

Были и такие, кто хотел любой ценой выжить. Они шарили по пожарищам, зная, что добро обычно прятали в погребах, в сарайчиках под полом... А уж если подсмотрел, когда закапывали, тут и работы почти никакой...

То, случайно найденное или уворованное, что можно было носить, обменять на продукты, чаще всего уже больше не попадало в руки их настоящих хозяев. А фотографии, письма, памятки каких-то дорогих и важных для прежних владельцев событий — засушенные веточки, цветы, колечки волос, — вызволенные на свет божий, часто тотчас обращались в прах или, уцелев, начинали такие приключения, которые невозможно придумать и человеку с буйной фантазией... Не избежали общей участи и книги...

— Ира, — спросил Степанов, — ты принесла эти книги для школы?

— Да...

— Спасибо... Эти две я возьму, а эту, — Степанов протянул Ире Евангелие, — снеси обратно.

— Мамка и говорила: не возьмете ее...

— Скажи, пожалуйста, а еще могут быть в городе книги? Особенно учебники?

Ира пожала плечами:

— Я поспрошаю у девочек...

— Тогда уж и у мальчиков, — попросил Степанов.

— Хорошо, Михаил Николаевич...

— Как, Ира, в школу все ребята пойдут?

— Все, — решительно заявила девочка. — Было бы только в чем...

— А у тебя есть в чем?

— Есть... — с сознанием, что ей крупно повезло в жизни, ответила Ира. — Вот только ботинки с маткой... — Она запнулась и виновато посмотрела на Степанова: — С мамкой на двоих. Сейчас приду, мамка в этих же — в магазин... Ну ничего, приладимся! — заверила она учителя. — Михаил Николаевич, а правда, что у самих немцев земля плохая?

— То есть как?

— Они говорили, что земля у нас — пух... На такой хорошей земле должны жить... Эти, как их... — Ира сморщилась, вспоминая трудное слово.

— Арийцы, — подсказал Степанов. Он слышал это от детей уже не раз. Но не разоблачать же перед каждой девочкой и каждым мальчиком в отдельности тупые приемы фашистской пропаганды. Нужна школа!

Степанов встал, нервно зашагал из угла в угол. Сколько раз он слышал и читал о том, чем Гитлер оправдывал необходимость завоевания России! Но сейчас об этом говорила не газета, не радио...

— А фрау у них, Михаил Николаевич, очень красивые! — с завистливым восхищением сказала девочка.

— Понравились? — удивленный, спросил Степанов.

— Понравились...

— Где же ты их видела, немецких фрау?

— Как же! — Ира говорила как о само собой разумеющемся. — Немцы повыбирали самые красивые места на Мыленке, построили дачи, привезли своих фрау...

«На Мыленке. Вкус недурен!» Степанов вспомнил, как до войны их компания проводила на Мыленке целые дни.

— И там ты видела фрау?

— Мамка у фрау работала, а я к мамке в гости ходила... На дачу...

— Что же там мамка делала?

— А все... Полы мыла, подметала, белье стирала... В услужении! — пояснила Ира.

— Вот как!.. — воскликнул Степанов. — Мамка полы мыла, и она — некрасивая, а фрау, которые ее нанимали, красивые!

— Ой, красивые, Михаил Николаевич! С красными зонтиками ходят по дорожкам, а дорожки свежим песком посыпаны, желтым... Цветы вокруг! И все у них так аккуратно!.. Стоишь-стоишь у забора — глаз не оторвешь!

— Ты у забора стояла?.. А на самую дачу тебя пускали?

— Один раз пустили... На кухню... А потом увидели красное пятно на руке, на локте, о чем-то заговорили-заговорили, намазали пятно мазью и больше не пускали...

Степанов смотрел на девочку: прилипшие чужие мысли и слова, унижение, большие и маленькие открытия — все переплелось в тугой клубок. Разматывать его и разматывать, отделяя ложь от правды.

— Ира! — с укором начал Степанов. — Если бы твою маму поселить на даче, дать ей десяток нарядов, а немोक заставить ухаживать за ней, и плохо кормить, и все время твердить, что они люди второго сорта, а то и просто не люди, а так, незнамо что, кто был бы красивее? Кто?

— И правда... — после раздумья согласилась Ира.

— Приходи, Ирочка, в школу, мы обо всем поговорим. А мама у тебя красивая, и ты красивая и умная.

Растерянная Ира молчала. Вдруг она всполошилась:

— А который час, Михаил Николаевич?

Степанов посмотрел на часы:

— Второй... Четверть второго...

— Ой! Меня мамка ждет! — Девочка вскочила. — До свидания! Да! — вдруг вспомнила она. — У нас по соседству новый мальчик появился...

— Что за мальчик? — рассеянно спросил Степанов, озабоченный тем, что пора уже навеститься в районо.

— Странный какой-то... Молчит, все о чем-то думает...

— Совсем не говорит?

— Говорит, только мало... И котенка из рук не выпускает... Все гладит, гладит...

— Котенка?..

— Ага. Во сне кричит, хозяйку будит. Говорит, бормочет что-то... Ну, я пойду, Михаил Николаевич. До свидания!

Хотя Степанову нужно было в районо, тем не менее, выйдя из райкома, он сразу же свернул к Первомайской. Спуститься до горсада, а там недалеко и землянка Иры, рядом — другая, где этот мальчик с котенком...

Без труда нашел он пропахшее дымом пристанище незнакомых ему людей. Нестарая женщина в платке обратилась к нему по имени-отчеству и предложила присесть. Мальчика в землянке не было.

Степанов расстегнул шинель, сел на табуретку.

— Сын нашелся? — спросил он.

— Не мой, соседский...

— А где его родители?

— Отец убит, мать еще не вернулась... Да и вернется ли?.. — Женщина вздохнула и села на табуретку у стола. — Когда вертались из-под Почепа, потерял Леня свою мамку... Шел один. Конечно, перевидал всего: молчит, не отошел еще... — В голосе женщины была уверенность, что Леня непременно должен «отойти». — Не отошел... Все с котенком возится, а тот весь в лишаях. И где он только взял его? Когда гнали, ничего у него не было...

Вернувшиеся из-под Погар, Почепа рассказывали о том, как их гнали в неволю.

Впереди — чужбина, позади пылал деревянный город.

По расчетам немцев, сознание невольников должно было толкать их только вперед, потому что за спинами их оставалась зона пустыни. Все, что враги могли взять, — взяли, что могли увезти — увезли.

И все же пустыня оставалась родиной!

Голодные невольники под конвоем еще более ожесточенных отступлением фашистов тащились до Почепа — всего сто пятьдесят километров! — три недели. Немцы гнали: быстрее... Но не помогали ни резиновые плетки, ни удары прикладом, ни «освобождение» колонны, растянувшейся километра на два, от больных, выбившихся из сил стариков и детей. Отстал, присел на обочину — удар автоматом в висок или пуля.

Чтобы легче было идти, чтобы хоть сегодня избежать смерти, бросали вещи, скидывали теплую одежду, зная, что ночью придется мерзнуть. Но дотянешь ли до ночи?

От случая к случаю немцы давали хлеб. Всегда только тем, кто впереди. Расчет был прост: заставить колонну подтянуться.

Через Десну — ни моста, ни парома... Погнали вплавь, и невольники тонули десятками. Более сильные, кто умел хорошо плавать, не знали, к кому бросаться на помощь. На остановках возле леса все чаще делались на березах зарубки с надписями химическим карандашом:

«Передайте, Авдотьины Мария и Степан погибли. Зину гонют в Германию», «Борис! Если будешь искать — иди в Почеп или Погары. Мама», «Калошины с Дзержинской погибли», «Фокин погиб», «Паша, может, не в Германию, а в Польшу», «Передайте: Цыганков — продажная сволочь. Остерегайтесь!..».

В пути не говорили о будущем. Это было невыносимо. Концлагерь? Или роль рабочего скота в самой Германии? Но тогда отделили бы работоспособных, а остальных — под пулемет...

Спасла наша армия. Удар по гитлеровцам был таким внезапным и сокрушительным, что у них не осталось времени расправиться с невольниками. Горожане, ошеломленные неожиданным освобождением, бросились врассыпную, теряя друг друга.

Нетрудно было себе представить, какое потрясение пережил мальчик... Погиб отец... Не известно, где мать... Что-то живое и близкое должно же быть рядом!.. И вот он нашел этого котенка, теплый комочек, крохотное беспомощное существо, и держит его в руках...

Степанов взглянул в одну сторону, в другую — котенка не заметил.

— А котенок где?

— Не ищите... Пока Лени нет, я котенка выбросила... Кто знает, что за парша у него... И так болезней хватает, того и гляди, тиф подцепишь...

— Хозяюшка, — сказал Степанов, — с котенком зря вы так распорядились... Надо его непременно найти...

— Зачем?

Степанов стал растолковывать, насколько мог быть дорог несчастный котенок мальчику... Что он значил для него...

— Эх, учитель!.. — вздохнула хозяйка. — Дети, дети гибнут...
Таня у меня...

— Я понимаю... — сочувствуя, проговорил Степанов. — Но разве вы отбирали у Тани игрушки? А котенок — больше, чем простая забава... Я сам поищу... Где вы его оставили?

Женщина смотрела со смешанным чувством недоумения и уважения. Что-то медленно пробуждалось в ней...

— Пойдемте.

Котенка она бросила в развалины кирпичного дома. Сколько ни искали — не нашли.

— Никак, углядел кто и куда-то унес, — решила женщина. — А может, котенок в землянку проскользнул и затаился...

Поискали в землянке. Но и там его не было.

Вскоре пришел мальчик в старом, грязном ватнике и штанах, большими пузырями вздутых на коленях. Штаны были в глине, и, быть может, поэтому твердыми казались эти пузыри. Рука была засунута под ватник, он держал что-то в ней, прятал от посторонних глаз.

Заметив в землянке неизвестного, мальчик поздоровался:

— Здравствуйте...

— Добрый день, Леня!

Степанов всмотрелся. Мальчик определенно был ему знаком. Тонкое лицо с черными девичьими бровями... Живые глаза, которые сейчас он почему-то прятал... «Встречались у знакомых? Да нет же!.. Райком!»

Это его видел Степанов у Захарова в ту бессонную и беспокойную ночь в первый день приезда. Солдаты подобрали полуголодного мальчика на одной из дорог, долго возили по темному и мертвому Дебрянску, пока не заметили единственный огонек — в окне райкома.

Тем временем мальчик снял ватник, кепку и сказал, доставая из-за пазухи котенка, но не выпуская его из рук:

— Тетя Дуня, котенок незаразный...

— Ленечка, да откуда ты знаешь? Где был-то?

— В больнице, — угрюмо ответил мальчик.

— А что же у него?

— Бывает с голоду такое... — Леня протискался в темный угол и сел там на что-то.

— Леня, ты знаешь о школе? — спросил Степанов, надеясь хоть немножко расшевелить мальчонку.

— Знаю...

— Конечно, будешь ходить?

— Да...

Леня говорил неохотно. Коротко отвечал на вопросы. Степанов понимал: мальчику нужны были новые чистые штаны, тарелка горячего сытного супа, ласка... а не разговоры! Однако надо выяснить хоть самое необходимое.

— Сколько тебе лет, Леня?

Опустив голову, мальчик задумался.

— Не знаю... — ответил после довольно долгого молчания.

— Как же это?..

— В сорок первом должен был в пятый класс пойти... Значит, сейчас тринадцать, что ли... Я в школе с семи...

Степанов слушал, смотрел на Леню, и его сердце охватывала щемящая боль. И вдруг из сотен, может, тысяч эпизодов и картин войны всплыла эта.

Их часть освободила небольшое, но, как оказалось, довольно сильно укрепленное село. Когда после долгого, упорного боя взвод Юрченко вместе с другими вошел в горящее село, на пустынной площади с колодцем посередине бойцы увидели мальчика лет восьми, вылезавшего из окопа. Наверное, отбилась от своих, старшие каким-то образом недосмотрели... Мальчик вылез, встал и замер. Словно ничего не понимая, медленно осматривался вокруг... Где дома? Где люди? Почему столько воронок? Почему скошены верхушки лип? Дым... Огонь... И никого из своих! «Ты почему один? Где мама?» — спросил, подойдя, Степанов.

Мальчик не ответил, он даже как будто удивился, откуда взялись эти дяденьки. Наверное, у него в ушах еще звенело от грохота, который стоял здесь в течение нескольких часов.

Степанов повторил вопрос, но снова не получил ответа. Тогда он погладил мальчика по вихрастой голове, обсыпанной землей, но тот словно ничего не почувствовал. Не пришел еще в себя.

Захватив с собой мальчика, минометчики передали его первой группе жителей, возвращавшихся в деревню...

Вот так и с Леной... Должно пройти время. Оттает... Отойдет...

— Держись, Леня. Все постепенно наладится. — Степанов протянул руку в угол. Но мальчик то ли не заметил ее, то ли не хотел прощаться. Степанову пришлось нащупать Ленину руку и пожать ее. — Мы еще с тобой, Леня, поговорим.

Мальчик молчал.

Учитель вслушался, всмотрелся: может, кивнет, одними губами ответит... Но — нет!

— Ты меня слышишь, Леня?

— Слышу... Поговорим... — отозвался он.

— До свидания, Леня!

— До свидания, — вставая, ответил мальчик.

Плохо различимый в сыром сумраке землянки, хрупкий, полуголодный, он стоял перед Степановым — олицетворение судьбы десятков, сотен детей....

19

— Евгения Валентиновна в райкоме, — сообщил Степанову один из посетителей, ожидавший Галкину в районо.

Керосинка стояла на прежнем месте, в углу, свернутая постель лежала на шкафу... Все по-прежнему! На одной из полок шкафа, занятых бумагами и книгами, — маленькое зеркальце. Степанов представил, как Евгения Валентиновна смотрелась в него, прихорашивалась, и ему вдруг почему-то стало ее жалко.

Можно было бы самому наведаться в райисполком и узнать, какое решение принято насчет бережанской школы, а то и подтолкнуть дело. Но не будет ли это «партизанщиной»? Нет уж, пусть Галкина выясняет...

Степанов решил не ждать ее прихода и отправился к Владимиру Николаевичу.

В сарайчике они просидели несколько часов, составляя, как назвал старый учитель, «Единый список детей школьного возраста города Дебрянска». На случайных листках бумаги были перечислены Кати, Пети, Игоря, Валерии, Маши, живущие на таких-то и таких-то улицах. Один листок был заполнен рукою Веры. Степанов сразу узнал ее почерк... Несколько — Владимиром Николаевичем... Некоторые

листки — неизвестными Степанову людьми... Попадались и записки на обрывках газет: «Не забудьте Виктора Поташева, 10 лет, ул. Урицкого». Или просто: «Лена Бороздина, 8 лет, у Виденья». Виденьем в просторечии именовалась древняя, небольшая и очень простенькая церковь, по самые окна ушедшая в землю. От церкви остались теперь лишь глыбы камня, не растащенные на сооружение печей единственно потому, что и топором нельзя было вырубить из этих глыб ни единого кирпича. С раствором, приготовленным, видимо, на белке, они слились в монолит...

Списки школьников надо было составить по классам. Никого не пропустить и не вписать дважды... Трудность заключалась в том, что одни дети занимались при немцах, другие нет, и получалось, что, допустим, в пятом классе окажутся и тринадцатилетние, и пятнадцатилетние...

Сначала Владимиру Николаевичу и Степанову повезло: в сарайчике, кроме них, никого не было. Потом пришла женщина, которая так бесцеремонно рассматривала молодого учителя при первом его появлении здесь.

На этот раз она поздоровалась, видимо получив от Владимира Николаевича необходимые сведения о новом человеке. С собой принесла небольшой мешочек.

— Два килограмма, — сказала женщина, показывая мешочек Владимиру Николаевичу.

— Очень хорошо, Елена Ивановна, — отозвался учитель и стал тереть рука об руку. Видно, чувствовал некоторую стесненность.

Елена Ивановна разделась, достала из-под койки ручную мельницу, поставила ее на стол, по-хозяйски потеснив бумаги.

Степанов впервые видел подобную самоделку. Взял в руки. В большой консервной банке были пробиты дырочки, остриями внутрь. В эту банку вставлена другая, диаметром чуть поменьше. В ней тоже пробиты дырочки, но остриями наружу. Эту банку можно было вращать с помощью деревянной ручки, и тогда зерно, если сыпать его между двух стенок, усеянных рваными, острыми жестяными зубчиками, будет перетираться в муку.

— Не видели еще? — Елена Ивановна кивнула на мельницу.

— Нет... — ответил Степанов.

— И слава богу!

Она отобрала у Степанова мельницу, насыпала из мешочка немного ржи и взялась за ручку: полкруга туда, полкруга обратно. Видимо, работа требовала немалых усилий. Елена Ивановна согнулась над мельницей. Несколько раз мельница вырывалась из левой руки...

— А говорил — хорошо просушенное! — упрекнула она кого-то. — Креста на людях нет! Оскудели душой!

— Может, — осторожно предложил Владимир Николаевич, — сами досушим?

Елена Ивановна махнула рукой:

— Ладно уж...

— Разрешите мне, — предложил Степанов свои услуги и встал.

Елена Ивановна посмотрела на него в упор и после паузы ответила:

— Попробуйте...

Молоть зерно было трудно. Одной рукой нужно крепко охватить банку, другой — крутить ручку. Перестараясь, начнешь крутить быстрее — и банка вырывается из ладони, грохочет по столу. Можно еще и зерно рассыпать...

— Потом забьется и не провернете, — заметила Степанову Елена Ивановна. — Вы — в одну сторону, потом — в другую... В одну — в другую!

Степанов стал действовать по инструкции. Да, так значительно легче и, наверное, безопаснее для самой мельницы и зерна.

— Горе горькое — не мельница... Есть ножные — теми легче молоть. Но ножных у нас в городе совсем мало. — Елена Ивановна вздохнула. — Настоящий каменный век! Когда он был, Владимир Николаевич?

— Десятки, даже сотни тысяч лет назад, — ответил старый учитель.

— Десятки, даже сотни тысяч лет назад! — повторила Елена Ивановна. — Подумать только! Вот и вернули нам его. Слава богу, что в обезьян не превратились...

— Тяжело, — согласился Владимир Николаевич. — Но мы остались людьми.

— Ничего, перебедем и эту беду! — вспомнил Степанов чье-то выражение.

Елена Ивановна подсыпала еще зерна в мельницу и строго взглянула на добровольного помощника:

— «Ничего» — когда силы есть, а когда нету?

Степанов молча крутил мельницу. Перемолоть несчастных два килограмма ржи, да еще, как видно, плохо просушенной, было делом непростым. Он уже утирал пот со лба, уже онемела ладонь, державшая банку... А он все терзал мельницу...

20

В горсаду, куда так спешил Степанов, Нины не было. «Ну что ж, — подумал он, — девушки и не должны приходить первыми... Очень хорошо, что сохраняет чувство собственного достоинства».

Парк был вырублен больше чем наполовину. На месте огромных, раскидистых вековых деревьев торчали пни. Не осталось ни одной скамейки, ни одного павильона. Исчезло легкое деревянное здание летнего театра, где иногда выступали заезжие драматические артисты, певцы, фокусники, сатирики-куплетисты, гипнотизеры и где в длительные паузы между наездами гастролеров показывали кино. Вряд ли театр поглотила стихия огня, гулявшая по городу: он стоял в плотном окружении лип и кленов. Мог сгореть только в том случае, если нарочно подожгли.

Степанов не поленился, подошел к четкому прямоугольнику, ковырнул носком сапога: зола и пепел... Вот здесь бегал какой-нибудь Ганс или Генрих с факелом, поджигал... Не таскали же сюда огнемёт! А там кто их знает!..

За театром, чуть левее, где раньше была небольшая лужайка, сейчас — три высоких холма, братские могилы погибших при освобождении Дебрянска. Садовых цветов на могилах не было: откуда? Только лежало несколько ромашек, принесенных кем-то с лугов. В головах — колышки со звездами и фанерными дощечками. Фамилии, выписанные химическим карандашом, уже становились плохо различимыми.

Придет время, и останки павших за освобождение города перенесут из мест случайных захоронений сюда, в парк. А пока хоть фамилии подправить, чтобы совсем не исчезли... Отыскать у кого-

нибудь химический карандаш и подправить... А потом в школе ребятам сказать, чтобы следили...

Не прерывая раздумий, Степанов повел головой.

Что осталось неизблемым, так это чугунная чаша фонтана с ребристыми боками, гордость города. По вечерам, наверное, не меньше полсотни лет били над этой чашей высокие, упругие струи и рассыпались брызгами сначала при свете керосиновых, а потом и электрических фонарей. Не у одного поколения были связаны с этим парком и, конечно, с необыкновенным фонтаном приятные, может быть, самые приятные воспоминания...

Между тем уже начал налетать ветер, иногда поднимая с земли пыль... Степанов сел на пень, засунул руки в карманы шинели. Нины не было.

...Летом они приходили сюда каждый вечер. Вера, он, Ваня... Все из их компании. Ниночка Ободова иногда тоже крутилась здесь...

Снова вспомнив о Нине, Степанов посмотрел на часы: тридцать пять минут восьмого! Однако ему и в голову не приходило, что Нина могла передумать. Опаздывает... Не рассчитала время... Что-нибудь задержало...

Но она не появилась и через десять минут, и через пятнадцать... Теперь ждать было совершенно бессмысленно.

Он заспешил, свернул с главной аллеи, где раньше всегда висели нарисованные на фанере плакаты с цифрами выплавки стали и чугуна, добычи угля и электроэнергии, урожая зерновых, какие-то диаграммы с кривыми достижений, свернул и пошел напрямик.

Что-то чернело справа у поломанных кустов сирени... Степанов подошел ближе... Нина!.. Лежит ничком...

Степанов нагнулся... Дышит! Что случилось?

Подняв Нину, усадил рядом с собой на пень. Голова ее упала ему на грудь.

— Нина!.. — позвал он. — Нина...

Девушка не отзывалась.

— Нина!..

Взгляд ее прояснился, и она только сейчас осознала, кто смотрит ей в лицо.

— Миша...

— Что с тобой?!

Она сделала попытку приподняться. Встала и упала бы, если бы вовремя не поддержал Степанов. Инстинктивно она охватила его шею.

— Что с тобой? — повторил Степанов.

Нина не отвечала. Повела головой, осматриваясь.

— Что случилось? Чем тебе помочь?

— Ударилась я... — наконец с трудом ответила Нина.

Она всем телом подалась вперед, как бы заставляя себя идти, но идти не могла.

Степанов крепко взял ее под руку.

Его одолевала беспокойная мысль: «Что же случилось с Ниной?» Он сделал множество предположений, в их числе и просто недостойное: «Не пьяна ли?.. Может, кто из кавалеров избил?» Одно ему почему-то не пришло на ум: упала в обморок от голода.

Он бережно вел ее домой, в неизвестный ему сарайчик за линией железной дороги, надеясь оставить Нину в надежных руках. А если выяснит, что положение ее более серьезно, чем ему сейчас представляется, отведет и в больницу...

Но на полпути к своему жилищу Нина вдруг остановилась.

— Ты что?.. — спросил Степанов.

— Я зайду к Монаховым... Вот... — Она кивнула на землянку неподалеку. — А поговорим в другой раз, ладно?

— Это твои знакомые? А может, лучше домой?..

— Нет, сюда... — решительно ответила девушка.

— Пожалуйста...

Степанов повел ее к землянке справа. Он не заметил или не придавал тому значения: им навстречу двигалась мужская фигура. Ему было невдомек, что Нина опасалась: повстречается и увидит — молодой учитель с ней!.. А сейчас попробуй что-нибудь пойми: какая-то женщина сошла под своды землянки Монаховых...

Степанов остался один. Теперь можно и на Остоженскую. Может, Вера уже приехала...

Ветер усилился. Луна проглядывала в редкие прорехи в густом подвижном месиве туч, словно вытолкнутая ими, спускалась к самой

земле, светила секунду-две и снова пропадала.

Два года назад Степанов мог пройти к Вере с завязанными глазами. Знал все выбоины на тротуарах и мостовых... По Советской нужно дойти до двухэтажного — «красного», как его часто называли, — магазина и свернуть влево. Через полтора квартала и будет дом Веры.

Старый, но еще очень прочный, просторный дом, в котором родилось и выросло не одно поколение русских интеллигентов, был расположен «по-городски» — по улице в длину, стоял на прочном каменном фундаменте. Кто-то из предков Веры был в родстве с известным историком Соловьевым, мать окончила Высшие женские курсы в Москве, отец, как и дед, врач.

Гостиная, библиотека, столовая, кабинет обставлены старинной мебелью красного дерева. В гостиной осенними и зимними вечерами иногда затапливали камин, украшенный незатейливым, быть может, даже грубоватым, но хорошо передававшим дух времени чугунным литьем Мальцевского завода в Песочне. В отсветах рассыпавшихся раскаленных углей особенно ярким становился красный шелк обивки кресел. Перед камином стояла низенькая скамеечка, на которой любила читать Вера.

Война разметала семью Соловьевых. Отец и старший брат ушли на фронт. Вера заканчивала педагогический институт в Смоленске. Как она оказалась в Дебрянске, почему не уехала и где ее мать, Степанов не знал.

...Луна на миг осветила развалины «красного» магазина — торчавший острым зубом угол, свисавшую к земле железную балку. Степанов помнил, как свернул налево. Не видя ничего, кроме неясных силуэтов печей, он пытался найти пожарище Вериного дома.

«Вот здесь же должен быть... Третий дом от угла и был ее...»

Но ничто не напоминало участка Соловьевых. Где же фундамент? Он-то должен уцелеть. А деревья?..

«Может, между домами стоял какой-нибудь амбар?»

Степанов выждал, когда проглянула луна, всмотрелся в развалины. Ярко и холодно блестел кафель голландок, резче стали силуэты русских печей... То же справа, то же слева...

Неожиданно ему послышался плач ребенка. Степанов осмотрелся в надежде обнаружить какое-нибудь жильё и спросить, как найти

Соловьевых.

«Почудилось?..»

Однако плач повторился снова: люди где-то близко. Здесь! Обрадованный, зашагал быстрее. Вскоре под ногами нащупал стезжку, и она привела его к черной дыре. Оттуда, из-под земли, слышен был плач ребенка, голос женщины, убаюкивающий его, тянуло дымом.

Стоя на одной ноге, он опустил другую в дыру, чтобы нащупать ступеньку. Но, как ни старался, как глубоко ни опускал ногу, ничего обнаружить не мог. В другом углу дыры он нашел остатки первой ступеньки. Вторая сохранилась хорошо, третья тоже, четвертой не было, и Степанов слетел вниз и стукнулся плечом о железную полуоткрытую дверь. Она загудела странным образом и захлопнулась с лязгом.

— Кто там? — послышался женский голос.

— На минутку можно зайти? — спросил Степанов, думая о том, что ему повезло: не зашиб больную ногу.

— Заходите. Что же поздно-то?..

Отсчет времени велся, видимо, не по часам, а с того момента, когда начинало темнеть и нужно было зажигать коптилку. «Поздно!» Степанов потянул дверь на себя, и она со скрежетом медленно отошла от стены. Слегка ударившись о притолоку, он переступил порог, оставив дверь по-прежнему полуоткрытой.

Был слабо освещен лишь один угол низкого с полукруглым сводом подвала. Степанов не сразу различил женщину, стоявшую перед ним.

— Простите за беспокойство, вы не скажете, как пройти к Соловьевым, к Вере Соловьевой?

Женщина метнула взгляд в освещенный угол, точно спрашивая, что отвечать, и ничего не ответила. И через секунду вместе со скрипом койки послышался голос Веры:

— Миша?

Но никто не подбежал к нему, хотя голос Веры как будто и обещал это.

Степанов в каком-то оцепенении ступил шаг, из-под ног его с пронзительным визгом бросилась прочь кошка.

— Холера! — выругалась женщина.

Степанов ступил еще шаг, еще..

В какую-то долю секунды все — голос, произнесший только что его имя, прежний и в то же время совсем непохожий на Верин, что-то еще, чего он никогда не смог бы определить, — все это радостно оглушило Степанова. И хотя сердце билось тяжело и гулко, он почувствовал необыкновенную легкость.

Он пошел туда, откуда донесся Верин голос, еще не понимая, где она, видя какие-то койки, закутанные фигуры женщин, занавески... И вдруг среди этого чередования черноты и слабых желтых пятен света от коптилок увидел лицо Веры, спешащей к нему.

Протянув руки, он неловко обнял ее.

— Вера, — тихо проговорил. — Вера...

Что-то было не так, как должно было быть, и он не сразу понял, что Вера делала попытку освободиться от этих объятий. Или это только показалось? Вера, теплая, живая, здесь, и так не хотелось замечать того, что не вязалось с его представлением о встрече.

— Пойдем, — сказала она нетерпеливо, устремляясь к выходу.

Можно было предположить, что Вера стеснялась посторонних, а вот там, на улице, она и даст волю своим чувствам...

На ходу Вера схватила короткое пальтишко, платок, оделась, туго перехватив себя ремнем, выхваченным из кармана. Вот такая подтянутая партизанка в сапогах тогда и промелькнула мимо него на кухне, после бюро.

Молча они прошли к железной двери и выбрались на улицу.

Дул по-прежнему беспокойный ветер.

— Вера... — проговорил Степанов. Он не мог сейчас понять, встревожен ли он такой встречей или просто взволнован: слишком впечатляли и само это путешествие вечером по мертвому городу, и подвал, и свидание через годы...

Он взял Веру под руку и повел, сам не зная куда.

— Где здесь можно приткнуться? — спросил он, оглядываясь.

Вера промолчала, словно не слышала. Если бы Степанов был сейчас способен к трезвым оценкам, он заметил бы, что это — сосредоточенность отчуждения.

— Приткнуться негде, — решил он. — Будем ходить... Рассказывай о себе... Как жила, где мать, брат, отец?

Вера словно обрадовалась, что он заговорил о другом.

— Отец и брат воюют, а мать здесь, со мной... Она в июне сорок первого заболела, я сорвалась и приехала из Смоленска, а тут война... Потом и немцы... Как и другие, пряталась в подвале... — Вера усмехнулась: — Вот с чего мы начинали... Помнишь подвал?

— Какой подвал? — спросил Степанов. Он понимал, что Вера отвечает на его вопрос, но все же говорят они не о том, не о том...

— Подвал у Дьяконовых во дворе. Мы играли в прятки... Это в шестом классе, наверное... Девочки спустились в него, испугались и запищали, а потом подошел ты... Помнишь?

— Помню.

— Ну так вот, вскоре мы поняли: прятаться толку мало, нужно что-то делать. Так началось наше наивное подполье: ходили по вечерам и своей печаткой пришлепывали два слова «Смерть оккупантам!» на фрицевские же объявления: «Запрещается! Воспрещается!»

— Да, да, — вспомнил Степанов рассказ Турина и улыбнулся.

— Организация у нас была небольшая... Кое-что делали. Ваня, верно, тебе уже рассказывал. Когда стал угрожать провал, нам посоветовали уйти в партизанский отряд... Мы и ушли: Ваня, Коля, Борис Нефеденков, Вася Крылов и я. Дела партизанские тебе известны... — Она спохватилась: — Впрочем, давай сначала ты о себе!

— Нет, говори! Говори!

— Меня всячески оберегали, — продолжала Вера, — но в исключительных случаях давали и рискованные поручения...

— Ну расскажи хоть об одном...

— Ну вот, например, кончились у нас бинты и йод. Командир приказал мне раздобыть их в городе у аптекаря. Аптекарь был, конечно, свой. В город надо было войти с плетушкой, полной грибов, офицерам отвечать на улыбки, если смогу, даже на заигрывания. А я умирала от страха... Возвращение было самым опасным. Одно дело нести грибы, другое — йод и бинты! Когда возвращалась с сумочкой, в которой под пудрой, духами, помадой, платочками и немецкой газетой лежал драгоценный груз, повстречался немецкий офицер. Посмотрел на меня, как мне показалось, с подозрением. У меня душа ушла в пятки. Все, думаю, конец! Но я все же нашла в себе силы улыбнуться ему. Пронесло!.. Ну, хватит об этом. Как ты? Как жил? Где ранен?

— Расскажу... Что же с Николаем? Мне Пелагея Тихоновна рассказала, но я толком ничего не понял... Что с ним произошло?

— С Николаем... — Вера пристально взглянула на Степанова. Он хорошо знал доверчивый взгляд ее глаз. Но сейчас кроме доверчивости была в нем такая беспомощность, что Степанов снова обнял ее.

— Как я тебя ждал, как я тебя ждал! — взволнованно проговорил он.

Вера стояла не двигаясь, словно одеревеневшая. Но вот она вдруг обняла его и крепко поцеловала несколько раз. А потом взяла за плечи и решительно отстранила.

Она первой шагнула вперед. Степанов — за ней. Несколько минут шли молча.

— О Николае я спрашивал, — напомнил Степанов, возвращаясь к прерванному разговору. — Может, ты знаешь более точно?

— Что тебе сказать? — Вера словно собиралась с мыслями. — Ничего нового я тебе, пожалуй, не скажу... После диверсий на железной дороге, которые устроили партизаны, движение поездов было восстановлено, но расписание изменено. Среди многочисленных эшелонов, направляемых на фронт, фрицы, хотя и редко, пускали и обычные, с гражданским населением, поезда. Партизан, конечно, интересовали эшелоны с техникой и солдатами. Нужно было узнать новое расписание, Колю и послали. Мост, ясное дело, охранялся... Коля присмотрел удобную позицию: можно составить расписание! На следующий день Колю тоже послали, его должен был сменить Борис Нефеденков... Ни тот, ни другой не вернулись. А вслед за этим фрицы напали на след лагеря. Партизанам пришлось уходить...

— «Вслед за этим»... — повторил Степанов. — Ты считаешь, что между двумя фактами есть связь?

— Не хотелось бы верить...

Степанов невольно прикинул в уме: Николай возвращался в лагерь, стало быть, его могли выследить. А если схватили Николая и Бориса? Под пытками Николай умрет, но не выдаст. Борис — тоже.

— Значит, не вернулись... И никаких известий?

— Был слух, что Бориса видели под Нарышкином, а Колю в городе, когда вели под конвоем, раненного... Но можно ли верить слухам? И совсем уж невероятное: говорили, что Николаю удалось бежать. Но если бежал, то почему не вернулся, не дал знать о себе?

Скорее всего, — тихо закончила Вера, — Николая расстреляли. Или замучили... Это самое правдоподобное. Могли вот и здесь...

Они давно уже шли по Советской, и, как и раньше, по той ее стороне, которая по неизвестным никому причинам давным-давно была выбрана дедами и отцами для вечернего гуляния.

Против входа в городской сад, которому не раз присваивали почетные и громкие названия: то Парка имени двадцатилетия МЮД, то Парка имени товарища Мясникова — и который горожане все же упорно именовали просто горсадом, стоял двухэтажный дом, занятый милицией. Тюрьмы в городе не было, ее назначение выполнял низенький кирпичный флигель, примыкавший к зданию милиции. До войны здесь сидели, дожидаясь отправки в область, воры, спекулянты, кулаки, высылаемые из сел и деревень. При немцах — партизаны и подпольщики.

От дома милиции остались груды кирпича, но все же можно было отыскать место, где стоял каменный флигель, выходящий глухой стеной на Советскую.

— Возможно, и здесь... — повторила Вера, когда они о Мишей проходили мимо развалин, и голос ее дрогнул.

Минутку постояли и пошли дальше.

Конечно, все могло быть... Забили до смерти резиновыми палками... железными прутьями... сапогами... Расстреляли... А потом ночью вывезли куда-нибудь за город и зарыли в неглубокой яме.

— Ну, а ты? — снова спросила Вера. — Расскажи о себе.

— Закончил институт, — ответил Степанов, — воевал, как видишь... Ранили.

Сейчас, как и тогда Турину, Степанову было трудно рассказывать о себе: боялся каким-нибудь неосторожным, лишним словом дать Вере повод считать, что он бахвалится, что что-то там совершил необыкновенное.

Да всего и не расскажешь... Особенно о томительных днях в госпитале. Сводки с фронтов... Прогнозы, как могут развернуться события дальше... Неотвязные думы о матери и о ней, Вере... Трепетный страх, что вот он вспоминает их, а может, ни матери, ни Веры давно уже нет в живых...

— Я почему-то верила, что вернешься... Не женился?

— Что? — настороженно переспросил Степанов. «Конечно же, слышалось...»

— Говорю, не женился?

Внимательно взглянул на Веру, пытаюсь понять: не шутит ли?

— Не женился, — ответил Степанов, все еще удивляясь нелепому вопросу и пытаюсь привлечь Веру к себе.

— Не надо, Миша... — проговорила она, слабо отстраняясь.

— Ты что? — Степанов оглянулся: может, идет кто-нибудь? Но никого не было.

— Пойдем на почту, — что-то решив, сказала Вера. — Там будет удобнее... Да и холодно мне.

Почта была неподалеку. В жилом доме, где уже бывал Степанов, несколько большем, чем те, которые уцелели на окраине, разместились телеграф, телефон, почтовое отделение.

Но Вера все же лучше его знала расположение комнат. Взяв Степанова за руку, провела по совершенно темному коридору, толкнула дверь. В полукруглом вырезе в стене, в углу, был виден свет лампы. В комнате душно, от жарко натопленной печи пахло хорошо просушенной глиной, кирпичом...

На миг чья-то голова затмила свет в окошечке.

— Это я, — сказала Вера. — Здравствуй, Валя...

— Здравствуй... — ответил добрый, но усталый голос из закутка.

— Можно нам со Степановым поговорить у тебя?

— Пожалуйста... Старуха Волошина вернулась... Семьдесят лет, а дошла! — радуясь, сообщила Валя.

— Слава богу! — оживленно откликнулась Вера. — У кого же она?

— Бывшие соседи приютили. Все-таки хорошие у нас люди — самим негде повернуться, а нашли место и для старухи... — И предложила Вере со Степановым: — Вы можете на почте поговорить или, если хотите, у нас в дежурке...

Почтой Валя называла большую комнату, где днем производились почтовые операции и где в ожидании писем толпились женщины, дежуркой — небольшую, где отдыхали телеграфисты.

— Все равно... Пойдем в дежурку... — Вера подтолкнула Степанова к двери в тесовой перегородке.

Тот вошел в комнатку.

— Тут, надеюсь, спички зажигать можно? — спросил он.

— Конечно!

Степанов чиркнул спичкой. Стол, сбитый из досок, топчан, накрытый шинелью, табуретка. На стене — фотография солдата...

Степанов зажег лампу на столе. Вера молча сняла пальтишко, платок, села на топчан. Запахло дымом, копотью, которыми пропитывались все живущие в землянках и подвалах, и немного духами.

— Я сейчас как копченая колбаса, — сказала Вера, заметив, что Степанов потянул носом.

— Не только копченая колбаса, — сказал он и подумал: «Когда же это Вера успела надушиться «Сиренью» и как духи сохранились у нее?»

Сняв шинель, он сел рядом с Верой.

— Слушай, Миша, — начала она, словно готовя его к чему-то. — Как тебе сказать... Я ведь замужем за Николаем...

— Что?!

Ответила Вера или нет, он не знал — был оглушен. В тугую тишину, куда он так неожиданно провалился, вдруг прорвался громкий голос Вали:

— Помехи не у нас, не кричите!.. Райком? Сейчас... Сейчас, говорю!

Вслед за этим Степанов услышал и голос Веры:

— Не могла тебе сразу сказать... И потом — как-то дико было говорить на улице... Увидела тебя, услышала — и не могла. Я словно виновата перед тобой, Миша.

— Чем ты виновата? — сказал Степанов, удивляясь, что он еще способен говорить. — Чем ты виновата? Просто я самонадеянный восьмиклассник... Школьная любовь, разговоры, прогулки за цветочками... Прости, если можешь...

— За что же, Миша? — Голос Веры сорвался и словно улетел куда-то.

— Прости!.. — повторил он и стал одеваться.

Поднялась и Вера. Надела пальтишко, застегнула все четыре пуговицы: звякая пряжкой, туго подпоясалась ремнем. Надо было что-

то сказать еще, но после этой фразы: «Я ведь замужем за Николаем» — оказалось, что говорить больше нечего.

Вера сунула руку в карман, другой толкнула дверь.

Боясь, что случайно коснется Веры, Степанов шел в некотором отдалении от нее. Так они прошли почти, совершенно темный коридор, забыв сказать Вале доброе слово.

Не подумали они и о том, как странно выглядело их появление: пришли, разделись, готовясь к большому и длинному разговору, посидели буквально минуту-другую и ушли...

На улице они шли тоже на расстоянии. Когда подходили к Советской, Вера кивнула в сторону уцелевшего квартала, где находился и райком:

— Тебе ведь сюда. Не провожай меня...

— Но ведь ночь, — попытался протестовать он. — Мало ли...

— Не надо...

Несколько минут еще можно было слышать, как трещали известка и щебень под ногами Веры, как что-то хрустнуло под сапогами Степанова; Вера шла по дороге, Степанов свернул в сторону на какое-то пепелище.

Как-то на фронте, на привале в лесу, Степанов достал зеркальце, повесил его на сучок ели, стал бриться. Вдруг что-то: вжик! — и в лицо брызнули острые крошки сухой коры.

Пуля... Прошла несколькими сантиметрами выше головы. Залетная, шальная пуля.

Человек замечает, что миновал смерть, только тогда, когда опасность выявлена, выражена в чем-то очевидном. Кто знает, сколько раз солдат рискует на передовой, сколько раз его могут убить и сколько раз он спасается?

А здесь вот — пуля в стволе небольшой ели. Сидел бы чуть повыше или стрельни тот чуть пониже — и нет тебя.

И еще случай.

Набились в землянку и жались поближе к печке. На улице — дождь не дождь, сырая мгла. Деревья, трава — все мокрое. Королев

достал табак, свернул сигарку... На него набросились:

— Шел бы отсюда! И так дышать нечем!

— Не кури здесь!

Королев неохотно поднялся и вышел из землянки. Степанов — за ним. Спрашивается: зачем он тогда вышел? Курить — не курил... Поговорить? Может быть, поговорить с умным и добрым Королевым...

Тот закурил и спросил:

— Что, Степанов?

Встал рядом с Королевым, разговорившись, они не заметили, как отошли от землянки... Вдруг — бах! И нет землянки. Почти прямое попадание.

Но сколько Степанов ни вспоминал и ни говорил самому себе в печальное утешение: «Могло быть и хуже! Могло! Могло! Уже мог погибнуть и истлеть в земле», — легче не становилось.

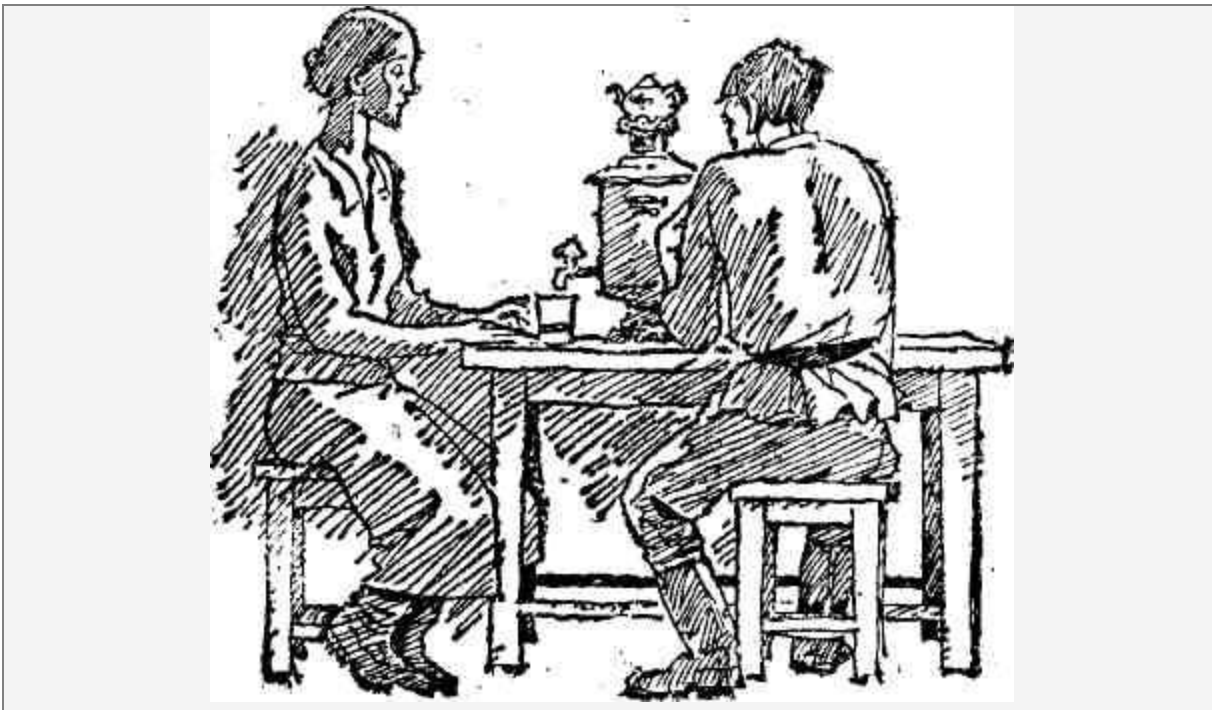
Хотя он и сказал Вере, что считает себя самонадеянным восьмиклассником, хотя он и ужаснулся тогда своей, что ли, наивности или ребячливости, острая обида на Веру все росла и росла.

«Как же она могла?!»

...У Степанова, как и у каждого фронтовика, был черный пластмассовый медальончик, где хранилась свернутая в трубочку узкая полоска бумаги, поделенная на три одинаковых талончика. Их нужно было заполнить, и в случае гибели командование известило бы родных, что такой-то пал смертью храбрых, защищая Родину. В первый талончик Степанов вписал имя, отчество, фамилию матери и ее адрес. Во второй — Веры. Причем умудрился уместить и дебрянский, и смоленский адреса. И вот — кто бы мог подумать...

От этого воспоминания стало еще горше. Все, что было до сегодняшнего дня, теперь казалось безмятежным счастьем, почему-то неценным, когда оно было рядом. Но если там, на фронте, он выстоял, то неужели не сможет здесь? Не справится с работой, которая не имеет ничего общего с тем, чему его учили в институте, к чему готовили?.. Не справится с утомительными, однообразными и бесконечными мелочами, порождаемыми разрухой?.. И вот с этим неожиданным крахом в личной жизни?..

ЧАСТЬ ВТОРАЯ



1

В тот же день, уже поздним вечером, по дороге к городу шел молодой человек.

Порывистый ветер перебирал лохмотья его пиджака, обдавая холодом. Когда становилось невмоготу, путник поворачивался и, подставив ветру спину, шел так минуту-другую. Потом снова — лицом к ветру.

Сложив на груди руки, глубоко всунутые в рукава, втянув голову в плечи, он шагал широко, но неуверенно. Вот-вот, казалось, остановится и повернет назад.

Увидев впереди на дороге хату, молодой человек всмотрелся: тепло, кров! Но хата, однако, не столько обрадовала его — вот оно, спасение и благодать, — сколько растревожила: а достанется ли?

Прежде чем подойти к двери и постучать, путник остановился и взглянул в окно, задернутое ситцевой занавеской. В самом низу — светлое пятно от коптилки...

Рассмотреть ничего было нельзя, и молодой человек, подставив ухо к окну, прислушался. Только после того как за шумом ветра различил спокойный говорок, подошел к двери. С минуту постоял, раздумывая, потом постучал. Но никто не отозвался. Он постучал сильнее.

Тявкнула собака, и послышался голос женщины, видимо вышедшей из кухни в сенцы:

— Кто?

— Откройте, пожалуйста...

Приотворилась и наружная дверь. Вышла молодая женщина в платке, наспех накинутом на плечи. Привычно она бросила недоверчивый взгляд на незнакомца. В темноте, однако, трудно было рассмотреть его лицо.

— Ночевать, что ли? — хмуро спросила женщина.

— Да, — ответил молодой человек и зачем-то повторил: — Именно ночевать.

— Записка от коменданта есть?

— От какого коменданта?

— От какого? Вашего!

— Какая же у меня записка? Откуда?

— А я не знаю, — строго сказала женщина. — Только без записки комендантской нам ночлежников пускать запрещено.

— Так что же мне, на улице спать? На ветру?

— Не знаю, гражданин. Только нам запрещено.

— Да откуда у меня записка? Комендант вон где, — молодой человек указал по направлению к городу, — а я иду вон откуда. — Он показал в противоположную сторону.

— А разве там коменданта нет? — спросила женщина. — Коменданты теперь везде...

— Есть, наверное... — ответил путник не сразу. — Только я не знал, что заночую. Да чего ты боишься? Не убью, не украду...

— Нет, не могу... — И заторопилась: — К другим идите, другие, может, пустят, а у нас и постоялец есть, и бабка болеет...

Женщина хотела закончить разговор, но чем больше этот молодой человек говорил, тем слабее становилась ее прежняя решимость. Она взялась за скобу... Пустишь — а он тебя и пристукнет. Из-за куска хлеба.

— Как собака, значит, — проговорил молодой человек скорее самому себе.

В это время, как на грех, в избе снова лениво тьякнула собака.

Молодой человек усмехнулся горько и сказал:

— Собачку-то пожалели... Эх, люди!..

Он передернул плечами, собираясь уйти, но женщина оглянулась и, вздохнув, сказала:

— Входи...

Молодой человек посмотрел на нее строго, вошел в сенцы. Забежав вперед, женщина раскрыла дверь в кухню и, когда свет коптилки упал на его лицо, слабо охнула. Однако она тотчас постаралась скрыть свою растерянность: хлопнула дверью, засуетилась, что-то прибирая...

В хате молодой человек увидел солдата, который сидел за столом и вскрывал банку тушенки. Лицо солдата было освещено коптилкой, а вот его солдат, видно, сразу не рассмотрел и спросил женщину:

— Кто это там?

— Прохожий... — отозвалась та, садясь за стол.

— Садись, прохожий, — предложил солдат.

— Спасибо, сперва обогреюсь... — Молодой человек снял пиджак и, отодвинув занавеску, прошел в темный закуток между печкой и стеной. Здесь прислонился к теплым кирпичам и облегченно вздохнул. Постояв так, заглянул за занавеску.

Солдат, молодка. Больше никого. На него особенного внимания не обращают... Солдату, конечно, приятнее разговаривать с этой курносенькой, чем с ним...

— Прервали нас... — напомнил солдат.

— Да, прервали, — отозвалась молодка и посмотрела в сторону темного закутка: как там пришелец, что с ним? — Да, шел вот... Хлеба были роскошные, только их не жатками, не серпами, а танками да снарядами. А те, что уцелели, некому было убирать...

Она рассказывала, латая старую, выцветшую кофточку.

— Да-а, Клавдия Петровна, да-а, — посочувствовал солдат. — Хватили вы тут...

— Что ты меня все Петровной?.. — заметила молодка. — Знаешь, сколько мне?

— Сколько? — Видно было, что солдат боится дать промашку.

Клавдия поправила платок на голове, одну светлую прядку убрала, другую выпустила. Спросила:

— Так сколько же? — Видно, очень интересно было, сколько лет даст ей этот молодой солдат, но и боялась: а что, если больше? Потому сама опередила его: — Мне в декабре двадцать один исполнится...

— Подходяще... Так я и думал... Что же ты синими шьешь? — спросил он. — Синим по белому... На-ка вот, возьми... — Достал из пилотки картонный прямоугольничек, обмотанный нитками, с воткнутой иглой, передал молодке.

— Спасибо... Возвращались мы по одному, по двое, — продолжала та. — Пришли, глянули, а ничего не осталось от колхоза... Несколько хат... Вот набралось нас несколько человек, я говорю: «Хлеб-то нужно убирать». А как убирать? Чем? Еле разыскали серпы, горелые нашли... Чуть рассвело — мы уже в поле были... Те, кто постарше, вспомнили, как серпом жнут, косами косят, и быстро приспособились, а я-то их никогда в руках не держала... То серпом, то ножом хлеб резала. Последней работницей оказалась... Потом еще вернулись наши. И все равно не под силу убрать!.. Знаем: через какой-нибудь месяц каждый колосок станет что золото, а убрать не в силах! Глядели на поля и плакали... А тут как раз воинская часть проходит... То ли положено было, то ли нарочно лейтенант подал команду: «Привал!» А потом и говорит: «Кто хочет — помогите женщинам...»

Клавдия умолкла, задумалась, вспоминая.

— Ну и как... Многие откликнулись?

— Все до одного!.. Хлеб убрали... Потом лошадь у нас появилась — опять же солдаты подарили... Где-то поймали бесхозную и подарили... А молотить на той лошади возили к соседям. Смолотили, бабы мои говорят: «Теперь дели».

— Как же делили? — поинтересовался солдат.

— По совести: у кого сколько душ... Малый да старый работать не могут, а есть всем надо. По совести и поделили. — Вздохнув, она замолчала. Потом спросила солдата: — А ты сам-то куда идешь?

— Отпуск дали, по ранению. Родная деревня совсем близко...

— Вон видишь, как ладно... — проговорила Клавдия и отвернулась от солдата, чтобы скрыть слезы.

— А твой не пишет, что ли? — догадался солдат. — Отыщется... Мало ли что...

— Клав, — подала голос женщина на печи, — самовар взыграл.

Клавдия легко поднялась, сняла с самовара, стоявшего у печки, трубу.

— До города? — снова донеслось с печи.

Никто не ответил. Слышно стало, как сипит коптилка.

— Это мама у вас спрашивает, — сказала Клавдия, заглядывая в закуток.

Молодой человек по-прежнему грелся у печи. Сейчас он отошел к стене и увидел рядом с печной трубой еле освещенное коптилкой лицо старухи. Подперев голову руками, она, казалось, без всякого интереса смотрела на него.

— До города, — ответил молодой человек.

— Откуда же? — спросила старуха.

Клавдия напряженно взглянула на случайного гостя.

Она ничего не знала о нем и все же сразу хотела взять под свою защиту, не дай бог, пришелец, внезапно вынырнувший из неизвестных далей, не окажется фронтовиком, потому и поспешила ответить за него:

— Известно, откуда теперь приходят...

— Откуда только не возвращаются, — подхватила старуха. — Чего только не было на земле у нас... — Она потянулась и продолжала: — Вот солдат говорил: немец, немец... А до него, что ль, до немца, никто к нам не являлся? Сколько нечисти-то было, давно ею испытаны... И татар, что в незапамятные времена на Россию шел, и французы. А то еще, говорят, будто лет семьсот назад немцы на нас шли, да на льду где-то и провалились...

— Это точно, — согласился солдат. — Это исторически научно доказано. Наполеон, немецкие псы-рыцари, это точно — было.

— Ну вот — то француз, то татар, а теперь этот немец. Все одно — антихрист.

Солдат улыбнулся, но ничего не сказал. Клавдия легко подняла и поставила на стол небольшой, с помятыми боками самовар. Солдат

достал из мешка, в дополнение к тушенке, хлеб, сахар:

— Угощайтесь!

— Ешьте, ешьте сами, — сказала старуха. — Я чайку попью...

Клавдия подала ей на печку кружку, налила солдату, посмотрела в сторону темного закутка в, поколебавшись, пригласила:

— Присаживайтесь...

— Спасибо. Я уже сплю... — донеслось оттуда.

— Это он нас с тобой вдвоем оставляет, — шепнул Клавдии солдат.

Слова эти напомнили ей о чем-то далеком-далеком, познанном, к великому девичьему счастью, но доставшемся в такой крохотной доле.

— Зачем нас вдвоем оставлять, — сказала она с горечью и так вздохнула, что и солдату стало не по себе. — Зачем нас оставлять... А жизнь проходит, проходит... Бабы говорят, не отыщется, не дай бог, Василий, пострадаешь, пострадаешь — и бросишься кому-нибудь на шею. Так, говорят, и будет. Так, мол, всегда было и будет. А я не могу представить, как это я кому-то на шею брошусь... Я даже за эти слова обиделась, с теткой Лукьяновой и говорить не хочу...

На печи заворочалась, устраиваясь на ночь, старуха.

— Мам, чаю еще хочешь? — спросила Клавдия.

— Будет... — вздохнула старуха и зашептала: — Николай угодник, спаси и помилуй нас, грешных... В тревоге и суете... — Слышны были лишь отдельные слова. — Помилуй Василия... Веру Леонидовну... — Голос становился все тише, тише, и вскоре уже ничего нельзя было разобрать.

— Дочка, что ли, еще на фронте? — спросил солдат у Клавдии.

— Спасительница наша...

— Кто такая?

— Девушка из города... Учительница биологии. Когда нужно было, за доктора стала ходить. Докторов-то мало... Мы в тифу валялись, так она две недели нас выхаживала. И волосы пожалела, не стала стричь... Вера Леонидовна... Теперь мать каждый день ее в молитвах своих поминает.

В закутке слабо скрипнула лавка, на которой улегся молодой человек. Вскоре послышался и его голос:

— А фамилия ее не Соловьева?

— Она, Соловьева... — ответила Клавдия и поинтересовалась: — Знакомая?

— Знакомая... Поспать дайте. — Молодой человек как бы предупредил возможные вопросы.

— Спи...

Через полчаса все спали. Лишь Клавдия сидела за столом, охватив голову ладонями, думала и словно дожидалась чего-то. Она взглянула на печку, прислушалась к мерному дыханию солдата и встала.

Снова посмотрев на спящих, взяла коптилку и, загородив ладонью ее призрачное пламя, пошла к темному закутку. Отдернув занавеску, поднесла коптилку поближе к голове прищельца и стала рассматривать его.

Сначала она еле слышно шептала что-то непонятное, потом проговорила:

— Как Вася... Милый мой, родной...

Молодой человек приоткрыл глаза. Он, оказывается, скорее дремал, чем спал. Приподнялся, спиной оперся о стену.

— Ты что? — спросил он, устало глядя на эту непонятную молодку.

— Поешь...

Не дожидаясь ответа, она быстро пошла к столу, торопясь отрезала ломоть хлеба, положила на него куски мяса из банки, принесла прищельцу. Тот испытующе посмотрел на нее и взял ломоть.

Клавдия стояла рядом и смотрела, как он ест.

— Ну что ты?.. — снова спросил он.

Клавдия вздохнула, подождала, пока он доест, и, как только молодой человек проглотил последний кусок, села рядом и заплакала:

— Вася мой!.. Господи, до чего же ты на моего Васю похож... Вылитый Вася!

Клавдия взяла его за руку, и молодой человек почувствовал тепло ее ладони.

— Вылитый Вася, — повторила Клавдия.

— Не плачь ты ради бога, — попросил молодой человек, и осторожно высвободил ее руку. — Не могу я этих слез вздеть!..

Клавдия притихла и молча жалостливо смотрела на человека, так сильно растревожившего ее.

— Послушай, сколько до города осталось? — спросил молодой человек.

— Верст пять будет... А что?

— Да я, пожалуй, лучше пойду...

— Не ходи... Спи... Я тебя больше не потревожу... Спи...

2

Неподалеку от города, за железнодорожной линией, вдали от дорог, проселков и тропок, когда-то, еще во времена первой мировой войны, был сооружен склад боеприпасов, который в просторечии именовался огнебазой. При отступлении наши части вывели склад из строя, но полуразрушенные помещения сохранились, и что-то вроде казарм легче было оборудовать из остатков огнебазы, чем соорудить заново на совершенно голом месте. Вот здесь-то, вдали от любопытных и чужих глаз, и формировались воинские части. Сейчас их новенькие машины и появились в городе. Заслышав гудение моторов, люди выходили из землянок, смотрели.

Та самая армия, которая вернула им свободу, помогала теперь наладить сносную жизнь.

Машины!.. Машины!..

И что они везли? Не боеприпасы, не оружие, не солдат и офицеров на фронт...

Сосновые бревна, тес, доски, свежо пахнущие смолой, из которых можно построить землянку, теплый сарайчик, а то и барак! Какая благодать! И один к одному молодые парни в новеньких шинелях на крытой машине сзади. Сидят на скамьях, молча смотрят на разбитый город. Краснощекие, здоровые, ладные!

Машины проехали по Первомайской и остановились на площади у больницы.

Новый корпус строить! Или просто барак!

Жизнь в городе была бы еще труднее, а то и просто невысказана, если бы не всеобъемлющая помощь армии. Вода!..

Кто из вернувшихся в Дебрянск мог бы вырыть колодец? Ни у кого не хватило бы ни сил, ни умения, ни материалов. Даже у опытных мастеров рытье колодца, изготовление сруба отнимает много времени

и физической энергии. А где их взять? Что делать? Селиться возле древней Снежади? Внизу? Мало кто и раньше ставил дома у реки; в половодье, того и гляди, затопит...

Взорвав водонапорную башню на базарной площади, водокачку на Снежади, водоразборные колонки на улицах, отступавшие немцы все же не могли уничтожить водопровод целиком. Одна из линий сохранилась. Военская часть позаботилась не только о себе, но и о мирных жителях. Давно был известен Ольховский колодец, неподалеку от Дебрянска. Когда-то его считали чуть ли не святым и потому целебным или, может, наоборот: целебным, а потому святым. Вечно бьющие ключи в Ольховке стали поставлять в Дебрянск прохладную, вкусную воду. Но один колодец не мог удовлетворить потребность в воде. Тогда там же военные пробурили скважину, поставили насос и стали качать воду себе и горожанам.

Хлеб!..

Где испечь в разбитом дотла городе хлеб? И вот в Тихоновской, что на Бережке, церкви устроили пекарню. Построенная в XV или в XVI столетии Тихоновская церковь Воскресенского монастыря видела еще Лжедмитрия II, занявшего город, видела французов императора Наполеона, немцев... Была она святыней, складом горючего, механической мастерской... Теперь приехали из воинской части солдаты, приспособили один из ее приделов под пекарню.

Даже некоторые землянки в городе были сооружены воинами.

Часть медикаментов в больнице — из воинского подразделения.

Полевой телефон в райкоме партии — оттуда же...

Первую телефонную линию, связывающую город с областью, помогали тянуть связисты воинской части...

Вот и сейчас вышел из кабины старший лейтенант, и площадь у больницы оживилась: с машины соскочили солдаты, стали сгружать доски и бревна, застучали топоры, лопаты, зазвенели пилы...

Картина созидания, будь то возведение всего лишь небольшой баньки, всегда захватывает. И все, кто проходил мимо, жил неподалеку, сейчас стояли и смотрели на солдат.

Каждый взмах топором, каждый удар лопатой о землю, каждый рывок пилой — для жизни... Как и было испокон веков, как и задумывалось бытие на земле...

Для жизни...

Для жизни...

Для жизни...

И опять эти женщины. Они останавливались и смотрели, робко надеясь в одном из солдат узнать и найти того, кто вот уже два года не подает весточки, и даже того, кто давно уже лежал в земле... Ведь всякое бывало — объявлялись убитые, находились пропавшие без вести... Чувство сильнее холодного рассудка. Знали: будь он здесь, твой муж или сын, неужели не дал бы знать о себе, не прибежал бы сам, чтобы припасть к твоей груди, обнять тебя, прижать к сердцу? Но шли, всматривались в лица, ждали, надеялись: нельзя было жить, не пренебрегая в той или иной степени логикой и здравым смыслом. Никто бы из женщин не вынес и доли тех испытаний, которые пали на них, если бы не эта подмена трезвого взгляда надеждой...

Полина Снегирева потеряла сначала одного сына, потом другого. Однажды увидела молодого солдата, проехавшего на трехтонке, и после всех уверяла, что это ее Митя... Никакими словами нельзя было отговорить женщину. «Мой Митя!» На вопрос: почему же он не признал ее? — отвечала, что не заметил, мало ли у него забот. И спустя несколько дней все рассказывала, как она видела своего младшенького...

Степанов, спешивший в районо, увидев военные машины, тоже остановился.

Сейчас, оказавшись как бы среди своих товарищей-солдат, Степанов яснее осознал то, что и раньше не покидало его: он должен взять эту школу на себя, на свою душу... Иначе будут тянуть, тянуть, потом могут спохватиться и, наверстывая упущенное время, наломают дров... Вот так, как он тогда чуть не наломал...

Наверное, куда легче было бы выбить из этой школы фрицев, чем пойти и просить о выселении своих... Недаром все так тянут...

Быть может, только сейчас Степанов разгадал нехитрую механику, к которой вольно или невольно, больше невольно, прибежали все, от кого зависело освобождение здания для школы.

Тянула Галкина, тянул Троицын, тянул председатель райисполкома Мамин, тянул, наверное, и Захаров... Представляли, как старые и больные люди покидают дом, оставаясь без крыши над

головой, и у них сжималось сердце, и как-то само собой решение ясного вопроса откладывалось на завтра...

Степанов не заметил, как подался к новым зеленым машинам. Они властно влекли его к себе.

Машины были далеко, а он ясно слышал шум их еще не заглушенных мощных моторов. Качнувшись — под ноги попал кирпич, — он, показалось ему, почувствовал плечо соседа по шеренге... И впереди были товарищи-солдаты, и позади, и шли они за танками... И где-то там, неизвестно в скольких километрах, их ожидает бой, уже один бог знает какой по счету...

Шагать вместе со всеми, вместе со всеми жить борьбой, приближающей победу, и вместе со всеми верить в ее неизбежность, если ни ты, ни твой товарищ, ни товарищ твоего товарища не дрогнут ни перед чем...

На площади один из солдат напомнил Степанову знакомого. Однако не был уверен, что не ошибается. Звали солдата, если это тот самый, Семеном Выриковым. Познакомился с ним под Вязьмой, где-то на привале после тридцатикилометрового марша. Помнит сарай, кучу высохшего навоза, тишину вокруг... Выриков хотел пить, но идти искать воду сил, как и у других, у него не было. Степанов предложил ему свою фляжку с остатками теплой, пахнущей металлом воды. Хотел пить сам, но отдал. После этого виделся еще раза два, тоже вот так, в походе... А потом Семен Выриков вынес Степанова, раненного, с поля боя...

Сейчас солдат сосредоточенно рыл яму. Копал и копал, выбрасывая на жухлую траву желтую глину.

— Семен... — неуверенно окликнул Степанов.

Солдат вытер ладонью пот со лба, взглянул на Степанова, как на чужого.

Степанов уже понял: никакой это не Выриков... Да и как мог оказаться бывалый солдат среди молодых, необстрелянных?.. Но захотелось познакомиться. Солдат назвался Андреем Сазоновым.

В каждом Степанов хотел видеть друга по фронту, того, кто дал тебе плоток воды, перевязал, в тяжелую минуту молвил ободряющее слово, не говоря о том, кто тащил тебя, полуживого, километра три... Тоска по фронтовому братству...

Но что-то и еще взбудоражило Степанова. Он и до этого был недоволен собой, а сейчас невольное сравнение, приходившее на ум не раз, просто угнетало. На фронте приказ выполнил — и чист душой. А тут? Тут, где все кричит о помощи? Он крутится, старается что-то сделать, а что сделано? С той минуты, когда он в Дебрянске спрыгнул о машины, у него, не переставая, ныла душа, как будто был виноват во всем, что увидел... Какой и чей приказ нужно выполнить, чтобы она наконец перестала ныть?..

Он еще раз обернулся, взглянул в сторону площади. Там работала армия. На фронтах шло развернутое наступление, и тем не менее спасенных ею от фашистов порою приходилось спасать еще от тифа, голода и холода.

3

В районо на месте Евгении Валентиновны Галкиной сидела Вера Соловьева. Еще не успев поздороваться, Степанов подумал, как некстати, что теперь, именно теперь, после того ночного разговора, ему придется часто встречаться с Верой, а может, даже совместно и выполнять какие-нибудь поручения... Вот так! День изо дня быть рядом... Так всегда случается...

— Здравствуй, Вера...

— Здравствуй, Миша...

Без лишних слов, без рукопожатия... Они старались не глядеть друг на друга, и эти усилия еще больше сковывали их. Степанов расстегнул шинель и сел на табуретку.

— А Галкина? Куда-нибудь вызвали? — спросил он, разглядывая на шкафу аккуратно скатанную постель.

— Лежит у меня в подвале...

— Заболела?

— Мужа убили...

Степанов вспомнил, как совсем недавно за этим вот столом Галкина писала письмо и какой отрешенной от дел и непривычно женственной она тогда была...

— Судя по всему, — услышал Степанов нарочито суховатый, как ему казалось, голос Веры, — наше первейшее дело — бережанская

школа.

— Да, конечно. — Об этом он знал и без нее. — Твердим одно и то же и не можем заняться вплотную! Что решил райисполком?..

— Всех выселить, семьям фронтовиков предоставить лес для землянок...

— А другим?

— Придется устраиваться, как могут. Нет материалов... Надо сегодня же идти туда и начинать...

— Нам с тобой?

— Могу одна, — сказала Вера. В ее тоне явно слышалось: «Если ты боишься трудностей или не можешь из-за своих переживаний!»

— Одна ничего не сделаешь, — резковато сказал Степанов. — Да и вдвоем мы ничего не сделаем!

— Бригаду организовать?

В этом вопросе Степанову послышался явный вызов.

— Ты была на Бережке? — спросил он, не боясь, что Вера почувствует в его тоне враждебность. — Была или нет?!

— Нет.

— А я был. Только устроились, обрели крышу над головой — изволь идти на все четыре стороны! Кроме семей фронтовиков там живут просто старики и старухи, дети... Куда им идти?

— Что ты предлагаешь?

Только сейчас их взгляды встретились. Отчужденные друг от друга силой новых обстоятельств и все еще крепко связанные прошлым люди.

— Что я предлагаю? Товарищ Захаров и товарищ Галкина вколачивали мне в голову, что райисполком все решит. От моих «партизанских» усилий отказались.

— Ты злишься, Миша...

— На злюсь я, а не понимаю таких людей... И не принимаю!..

— Что ты знаешь? Без году неделя в городе! Как ты можешь так говорить! — Возмущенная Вера даже отвернулась. Смотрела в окно.

Степанов наклонил голову и, облокотившись на стол, сжал виски пальцами. По-настоящему сейчас следовало встать и сказать, что он знает, что говорит, нечего ему делать замечания! Она для него не классный руководитель, а он не ученик! Но неужели же с Верой, с единственной своей Верой, он должен вступить в отношения, где

борьба уязвленных самолюбий, ложно понимаемые гордость и мужское достоинство заменят уважение, доверие, сочувствие? Нет, нет, нельзя этого допустить. Его положение горько, но будет совсем плохо, если он перестанет быть человеком. Вот тогда конец всему.

— Что ты предлагаешь? — спокойно спросил Степанов и встал. Ему хотелось подойти к Вере, прикоснуться к ней.

— Что я могу предложить? — ответила Вера. — Может, у Галкиной и был какой-нибудь план, у меня его нет. Надо пойти туда и на месте все решить.

— Сколько таких семей, кто не получит стройматериалы?

— Не знаю...

— Владимира Николаевича надо взять с собой...

— Пожалуй, ты прав... Его все уважают... Старый человек...

Это — авторитет!

— Может, кого-нибудь из райкома?

— Стоит и из райкома...

«Вот и «бригада», — подумал Степанов. — А ведь спорила! »

В дверь тихонько и осторожно постучали. Вера не сразу ответила:

— Пожалуйста!..

Дверь медленно приоткрылась. В ней показалась Таня с Бережка. Взволнованная, она с ходу, едва увидев кого-то за столом, выпалила давно приготовленную фразу:

— Извините... Мне сказали, что товарищ Степанов у вас...

Вера невольно окинула девушку взглядом, а Степанов поднялся:

— Таня, здравствуйте!

— Я вашу просьбу выполнила... — И улыбнулась, довольная.

— Просьбу?.. А, да, да! — вспомнил Степанов. — Очень кстати!

Садитесь...

Таня покосилась на Веру.

— Садитесь... Садитесь... — предложила и Вера.

— Раздеться можно?

— Пожалуйста...

Девушка охотно скинула пальто. Степанов чуть не ахнул. Мало что осталось от той Тани, которая стояла тогда перед ним в райкоме и страдала от сознания своего убожества и никчемности. Удивленный Степанов как-то неловко пригнулся и сел.

Таня села напротив, положив ногу на ногу. Ярко-красная кофточка с вырезом на груди, темно-синяя юбка, суженная книзу, шелковые чулки. Губы чуть-чуть тронуты помадой, нос припудрен...

Степанов не спускал с девушки и радостных и недоумевающих глаз, а та уже протягивала ему листок бумажки!

— Вот, пожалуйста... Как могла...

Все еще недоумевая, где это Таня могла отыскать такой наряд и что заставило ее так позаботиться о себе, наверняка преодолев десятки трудностей, Степанов взял бумажку, развернул. На ней химическим карандашом были выписаны фамилии жильцов. Всего сорок восемь человек, одиннадцать семей. На них семей фронтовиков — семь. Четыре, как написала Таня, «сами по себе».

— Как это понять: «сами по себе»? — спросил Степанов.

— Нет у них никого на фронте... Старики... Старухи... Зоя...

— Это та, что кричит?

— Да...

Степанов заглянул в список: а сама Таня к какой категории принадлежит? Таня Красницкая и Валентина Степановна Красницкая, видимо ее мать, значились под рубрикой «сами по себе».

— Как там, — спросил Степанов, — шуму и паника нет?

— Не будут же свои выкидывать своих же на улицу... — В словах Тани без труда можно было уловить чужую интонацию: наверное, эту фразу не раз повторяли живущие в школе. — Ведь свои же...

Протягивая список Вере, Степанов кивнул ей: «Видишь?»

Вера прочла его бегло и сказала:

— Многие устраивались, ни у кого ничего не прося: не у кого было просить... Да ничего и не было...

— Тогда надо и председателя райисполкома уговорить пойти, — предложил Степанов.

— Думаешь, пойдет?

— Пойдет! Ради такого случая...

Втроем вышли из районо и направились в райисполком. Мамин был у себя и, выслушав Соловьеву, сказал:

— Надо вам еще кого-нибудь из военкомата прихватить... Представителя армии!

— Зачем? — усомнилась Вера.

— Надо! — уверенно заявил Мамин. — Ведь этих людей, что живут в школе, фашисты гнали на каторгу, в лагеря смерти... Никто из освобожденных никогда не забудет, кому они обязаны жизнью. Представителю армии и говорить-то, собственно, ничего не придется, все сами вспомнят... Обязательно нужно пригласить.

Ранним утром молодой человек в рваном пиджаке, ночевавший у Клавдии, пришел в город.

Не остановившись, он прошагал мимо столба с надписью: «Это город Дебрянск. Боец! Запомни и отомсти!» — лишь покосился на нее и проследовал дальше.

Пустыня! Куда, в какую сторону ни посмотри, везде увидишь далекий горизонт... Пустыня и есть...

Казалось, молодой человек равнодушно скользил взглядом по кирпичам, оставшимся от города, ни на чем не задержал взора, ничему не удивился, ничто не резануло его по сердцу... Шел и шел, будто чужой в незнакомом городе, до которого ему нет и не было никакого дела...

Но почему же он прошел город вдоль, потом поперек, по-прежнему угрюмый и отстраненный от всего, что на километры открывалось его усталым глазам? Только у одного из бугров, бранных останков какого-то дома, он невольно замедлил шаги, качнул головой, что-то вроде горькой улыбки пробежало по его губам. Но и перед этим пепелищем не остановился...

Он побывал на Бережке, в Мыленке, снова вернулся в город. Бредя мимо райкома комсомола, посмотрел в окно и только теперь остановился.

Ваня Турин и Власов сидели за столом и беседовали с девушкой, занявшей стул напротив. На фигуру у окна посмотрели все. «Бродяга!»

— Здесь учреждение! — громко сказал Власов и махнул рукой: мол, иди, иди с богом! Много таких несло ветром войны через Дебрянск.

Турин снова обернулся, взглянул на прохожего, уже хотел отвести взгляд, но вдруг всмотрелся пристальнее.

— Борис Нефеденков? — спросил удивленно.

Прохожий перехватил его взгляд и не спеша направился к входу. Ваня Турин быстро пошел ему навстречу.

— Борис, откуда? — В коридоре он крепко пожал Нефеденкову руку. — Где ты пропадал?

Нефеденков через открытую дверь осмотрел «залу» и спросил:

— Это что же тут такое, Иван?

— Райком комсомола.

— А ты, выходит?..

— Я — секретарь, — просто ответил Ваня Турин. — Прости, я только закончу дела... Хорошо?

— Да, да, давай. Я не помешаю?

— Нет, несколько.

Нефеденков снял с себя грязный, весь в пятнах, заплечный мешок и сел на скамью.

А Турин, пройдя в «залу», продолжил разговор с девушкой. В Дебрянск возвращались комсомольцы, подросли, подоспели за время оккупации к вступлению в комсомол некоторые школьники. Нужно было работать и работать, выполняя свою прямую обязанность, но Турин далеко не всегда имел такую возможность.

— Значит, Даша, ты билет взяла с собой, — вернулся он к прерванному разговору с девушкой, — а когда немцы гнали через Десну, он у тебя размок?

Даша, одетая во фрицевскую шинель, которую обкорнали, как могли, достала из кармана и положила на стол перед Туриным нечто похожее на прямоугольную тряпку. Турин взял ее, долго смотрел, передал Власову и только протянул:

— Да-а-а... — Потом ободряюще взглянул на девушку и продолжил: — Конечно, билет мы тебе заменим... А не боялась, что взяла с собой: обнаружили бы — могли и прикончить?

— Я знала, — просто сказала Даша. — У них это запросто.

— Но боялась?

— Конечно, — призналась девушка. — А что делать?

— Молодец. — Турин встал, одобрительно похлопал Дашу по плечу. — Наведайся через недельку...

— Спасибо, Иван Петрович.

Даша, довольно нелепо выглядевшая во фрицевской шинели, ушла.

— Власыч, — сказал Турин, — значит, за тобой списки возвратившихся и списки вновь принятых.

— Помню, помню, Иван Петрович, — ответил Власов, и по тону чувствовалось, как обрыдли ему все эти списки, отчеты, справки и прочие бумаги.

Турин позвал Бориса и, тогда тот вошел, еще раз поздоровался с ним.

— Рад меня видеть? — спросил Борис.

Ваня Турин развел руками: о чем говорить?

— Ну, нашелся наконец! Садись, рассказывай: где был, что делал?

— Расскажу... Расскажу, понравится тебе это или нет... — Нефеденков рассматривал обстановку райкома. — Что об Акимове слышать? Жив? Нет?

— Пропал без вести... Впрочем, это у тебя о Николае надо спросить: ты его должен был видеть последним.

— Я, — прямо ответил Нефеденков. — Взяли Николая...

— Так! — отрубил Турин, тяжело вздохнув. — Только и всего: взяли! Хорошенькое дело!

— Расскажу как. Но, Впрочем, ты так спрашиваешь, как будто я отвечал за Николая и в чем-то виноват...

Власов, писавший какую-то бумагу и одновременно внимательно прислушивавшийся к разговору, перестал работать.

— Ладно, ладно... — примиряюще сказал Турин. — Веру не видел?

— Нет еще, но обязательно повидаю... Не подкосило ее?

— Держится... Что делать? Не одна она... Сегодня Галкиной похоронку принесли...

— Кто такая?

Турин объяснил.

— Обо мне тут никто не спрашивал? — спросил Нефеденков. — Не проявлял здорового любопытства?

— Кто именно?

— Ну, мало ли...

— Не спрашивали...

— Не интересуются, стало быть, Нефеденковым... — Борис говорил не то всерьез, не то с иронией — трудно было понять. — От матери, случайно, никаких вестей не было? — Нефеденков хотел быть небрежным, но на слове «мать» голос все же дрогнул.

— Не слышал...

— Понятно...

Ваня Турин хмурился, раздумывая.

— Вот что, Борис, — сказал он, — ты отдохни, приди в себя, потом поговорим обстоятельно. А то и у меня дела, и ты устал...

— Можно и так, — согласился Нефеденков. — Однако я не устал... Но помыться, постричься надо... — Он поднялся.

— В бане поосторожней, — предупредил Турин.

— Тиф?

— Тиф, и всякий... Будь очень осторожен...

Нефеденков кивнул и вышел.

Все время молчавший Власов посмотрел на озабоченного Турина и спросил:

— Кто это?

— Учились вместе... В отряде у нас был...

— Странно себя ведет...

Турин не ответил, но Власов знал, что эта мысль мелькнула и у секретаря. И разговор, наверное, Турин перенес, чтобы побыть с Нефеденковым с глазу на глаз.

Группу, направлявшуюся к школе, ее обитатели заметили давно. Здесь ждали начальства каждый день: придут и будут требовать освободить помещение...

Многие подошли к окнам, к тем из них, что не были забиты листами горелого кровельного железа. Старики и старухи приподнялись на кроватях. Тревога передалась детям: то бегали, кричали, путаясь под ногами взрослых, а тут вдруг притихли...

Одного из ребят быстро отрядили за Зоей. Не жалея сил, мальчонка помчался на дальнее поле, где женщины копались в

перекопанной дважды земле в надежде отыскать несколько картофелин.

В комнатах, в коридоре школы возбужденные жильцы, разбившись на группы, почти не слушая друг друга, пытались выработать план совместных действий. Высокая женщина с узким восковым лицом по привычке прижала стиснутые руки к груди и ходила от группы к группе. А вокруг гудело:

— Если начнут выгонять — плеснуть керосином и запалить!

— С ума сошла! В тюрьме не сидела? Да?

— У своих не сидела. У немцев сидела!

— Не будут же они просто вышвыривать на улицу...

— А в землянке, по-твоему, жить сладко?

— Да кому сейчас до школы? Кому?

— Боже мой!.. Боже мой!..

— Кончилось наше житье...

— А ты не ной! Будешь ныть — и кончится!

Но постепенно разговоры и шум, как это ни странно, начали затихать. Городская власть и учителя уже шли по аллее ко входу в будущую школу.

Мамин первым взошел на крыльцо, открыл дверь.

— Здравствуйте! — Его голос был бодрым, тон самым благожелательным.

Жильцы молчали, настороженно смотрели на представителя власти.

— Здравствуйте, — первой ответила высокая женщина с восковым лицом.

За ней поздоровались сразу несколько человек.

— Товарищи, — начал Мамин, — мы пришли к вам по серьезному делу.

Мамин был улыбчивым, мягким человеком. Но, зная за собой это не всегда, как ему думалось, практически-полезное качество, он в минуты решительных действий взнуздывал себя, заставляя быть и более суровым и более грубым. Но так как это все же не было органично присуще ему, то и суровость и грубость получались какими-то странными, будто человек, не сообразуясь ни с чем, говорит и говорит давно заготовленные слова, не желая знать, какое действие они производят.

— Решено, товарищи, — продолжал Мамин, — это помещение передать школе. Решение окончательное, да другого и быть не может.

В комнате справа заплакала женщина. Это был тихий плач человека, у которого давно уже иссякли силы.

Мамин, который ожидал встретить в школе все что угодно — ругань, угрозы, сжатые кулаки, только не этот немощный, а потому особенно терзающий душу плач, растерялся и невольно обернулся к стоявшим сзади него учителям.

Владимир Николаевич тронул председателя райисполкома за плечо: мол, погодите! — и молча вышел вперед.

Кивнул одному, другому, пробираясь в угол комнаты, откуда доносился плач.

— Мария Михайловна... — позвал Владимир Николаевич, став у железной койки, на которой под лохмотьями одеяла еле угадывалось, наверное, уже почти невесомое старческое тело. — Мария Михайловна...

Та, кого Владимир Николаевич с таким уважением назвал Марией Михайловной, седая, с блуждающим взглядом темных глаз, не сразу поверила, что это внимание и уважение адресовано ей, с которой все уже так намаялись, что порою, чувствовала она, ей старались меньше дать чаю, чтобы лишний раз не подставлять таз, заменявший больничную посудину...

— Владимир Николаевич... — послышался слабый голос. Мария Михайловна попыталась даже привстать, но не смогла. Только голова чуть приподнялась и сейчас же завалилась на сторону. И все. — Помираю, Владимир... Николаевич... — еле слышно проговорила она.

Старый учитель хотел сказать, что, быть может, не все так печально, как она думает, хотел как-то утешить ее, но вдруг все утешительные слова показались ему совершенно неуместными здесь и сейчас.

Владимир Николаевич закрыл глаза словно от боли, вздохнул глубоко и сказал, взмахнув сжатым кулаком:

— Да, не так мы думали доживать свои дни, Мария Михайловна... Не так... Но все же они не увидели нас на коленях. Мы свое дело сделали. Ничего не забудем, Мария Михайловна. Ничего!..

Видимо, не все из того, что говорил Владимир Николаевич, могло прийти до сознания угасавшего человека. Но Мария Михайловна

чувствовала, что, как всегда, старый учитель говорит о чем-то большом и важном в жизни... И сейчас, на пороге небытия, она может что-то сделать для этого большого и важного...

— Да... Да... — соглашаясь, тихо повторила Мария Михайловна. — Да...

Мамин, который остался как бы не у дел и на которого жильцы, наблюдая встречу двух стариков, не обращали внимания, заволновался: учитель увел разговор куда-то в сторону, говорит совсем не о том...

— Товарищ Воскресенский, — напомнил ему Мамин. — Нам нужно поближе к делу...

Владимир Николаевич чуть не задохнулся от негодования, он побледнел и не сразу смог проговорить с неизбежной для него учтивостью:

— Простите, но ближе уже некуда, Василий Васильевич! — Он помолчал. — Мы говорим с Марией Михайловной о самом существенном. Выше нет ничего!

Степанов с Верой встревоженно переглянулись. Вера была уверена, что потом Мамин станет упрекать ее: зачем взяли этого старика?

Мария Михайловна с трудом повернула голову, долго блуждала взглядом, пытаясь найти человека, сделавшего какое-то замечание Владимиру Николаевичу, но не смогла — он стоял в стороне. Устав, махнула учителю рукой: мол, довольно, довольно!

Владимир Николаевич, взяв руку Марии Михайловны в свою, несколько секунд подержал ее и молча вышел.

Мамин, который по дороге к школе наметил примерно, что он должен сказать, переступив ее порог, вдруг не то чтобы понял, но скорее почувствовал, что все заготовленные заранее слова — это не то... Не то... И, окончательно разделившись с прежним решением говорить сурово и непреклонно, тихо произнес:

— Матери и сестры...

Хотя в школе стояла тишина, не все в дальних углах комнат слышали его слова. Кто-то переспросил:

— Что он говорит?

А Мамин вдруг ощутил, что ему доставляет радость повторить вот эти простые слова, и странно, почему он лишал себя такой радости

раньше.

— Матери и сестры, — повторил он громче. — Вы сами знаете, что школа эта нам очень нужна... Как правильно сказал здесь преподаватель Воскресенский, нам нужно учить детей, чтобы было будущее, о котором мы все мечтаем... Нелегко вам будет на первых порах, мы это знаем...

Мамин стал говорить о том, какую помощь окажут выселяемым из школы. Все семьи — фронтовиков и нефронтовиков — получат строительный материал. Все!

Степанов тронул Веру за плечо: слышала?

Та лишь кивнула головой, озабоченно соображая: не минутную ли слабость проявил Мамин? Сумеет ли защитить свою позицию? Найти стройматериал в Дебрянске!

Но Мамин, словно узнав мысли Веры, повторил, чтобы подчеркнуть твердость своих слов:

— Получат все семьи — фронтовиков и нефронтовиков.

Он сказал относительно сроков: торопить не будут, но хотелось бы, чтобы жильцы управились за недельку...

Произнося это слово «недельку», Мамин имел в виду продолжить фразу: «недельку, полторы...» Но продолжить не пришлось: женщины одобрительно загудели: неделька, видимо, устраивала...

Степанов проверил список жильцов, составленный Таней, чтобы никого, не дай бог, не забыть. Узнавал исподволь, кому не под силу рыть землянку... Ничего не обещал, но что-то брал на заметку...

Уходили из школы и уносили с собой нечаянную радость и печаль. Кто бы мог предположить это, когда шли сюда?

Оказывается, кроме слов: «Мы так решили!» — есть и другие: «Матери и сестры...» — которые возвышают прежде всего того, кто их произносит.

Степанов был полон радостным сознанием: все решено по законам самой высшей справедливости. Как можно было выселить людей из школы, одним дав строительный материал, другим — нет? И Мамин понял это. Сумел перечеркнуть прежнее свое решение, взвалив на себя нелегкий труд выполнить обещание. Степанову хотелось всеми силами помочь этим людям в устройстве жизни. Выселенные из школы, несомненно, столкнутся с такими трудностями, которые не каждый выдержит.

Немыслимо представить себе трудности сооружения простой землянки в условиях Дебрянска 1943 года, особенно для людей, не знакомых с плотницкими и землекопными работами.

Под Вязьмой, в первые недели войны, Степанов рыл землянки, окопы, склады для мин. Инструмент был случайный, земля — каменистая. Лопаты гнулись... Но там работали мужчины, а здесь...

Пообедав, Степанов пришел на площадь возле больницы. За это время солдаты сумели положить несколько венцов узкого и длинного корпуса будущей больницы. Пахло смолой, дымом сигарок... В сторонке были сгружены тес и бревна, недавно привезенные из части.

Степанов разыскивал солдата Андрея Сазонова, которого принял было за Семена Вырикова. Тот сидел на обрубке бревна и писал письмо. Другие курили, читали газеты: наступил перекур.

Солдаты с интересом смотрели на Степанова: этот человек оттуда, куда им только предстояло попасть. Был на фронте. Ходил в атаку. Где-то ранило... Прислали восстанавливать город...

Степанов присел на бревно рядом с Андреем. Старательно выводивший химическим карандашом слова, тот покосился на Степанова и продолжал писать, но, правда, уже не так сосредоточенно, как раньше.

Неподалеку от них ходила, как бы от нечего делать, Ира, которая приглядывала себе щепу и небольшие чурбачки, непригодные для строительства.

— Ты что, Ира? — догадываясь, зачем она сюда пришла, спросил Степанов.

— Дяденька, — обратилась девочка к Андрею. — Можно мне щепки взять?

— Чего? Щепки?.. Бери...

— А вот этот чурбачок?

— Бери и его...

— Только вы никому не отдавайте... Я сначала щепки снесу, а потом чурбачок... — попросила девочка. — Нет, сначала чурбачок,

потом щепки... Только не отдавайте!

— Я посторожу, — сказал Степанов.

Солдаты смотрели, как девочка собрала щепу, аккуратно сложила пирамидкой... Когда она ушла, унося драгоценный чурбачок, Степанов сказал:

— А я к тебе по делу, Андрей, — и рассказал вкратце: не все выселенцы из школы могут построить землянки сами. Нельзя ли помочь?

Они не заметили, как на строительной площадке появился лейтенант, который прислушивался к их разговору.

— Почему, товарищ фронтовик, обращаетесь с просьбой не ко мне, а к моему подчиненному? Забыли устав? — обратился он к Степанову.

Андрей встал. Поднялся и побагровевший Степанов. Подумал: «Вот такие, как этот молоденький, во всем новеньком и старательно пригнанном обмундировании, больше всего и говорят об уставах! Больше всего и придираются! А я с товарищами учил уставы на ходу, направляясь на фронт. Вот так! И пилотку получил такую, что она налезала на глаза. Не было другой. И не было кому жаловаться. Слава богу, что попался кусок алюминиевой проволоки, которой защебил край пилотки, таким образом укоротив ее. Только потом выпал случай сменить головной убор. А этот весь в новеньком, с иголки!»

— Что же вы молчите, товарищ фронтовик? — уже мягче спросил лейтенант.

Степанов смирил себя и как можно спокойнее проговорил:

— Я не думал, что вы придете, товарищ лейтенант.

— Понимаю... — Лейтенант разглядывал Степанова. — Где воевали? Кем?

Степанов заметил: взявшиеся за топоры солдаты оставили их, прислушиваются. Он ответил, как всегда, кратко, и это, наверное, понравилось лейтенанту.

— Давайте знакомиться. Лейтенант Борисов. — Лейтенант протянул руку.

— Бывший солдат, а теперь учитель Степанов. — Он пожал широкую и холодную ладонь лейтенанта.

Тот удивился:

— Хм... В городе будет школа? Вот теперь-то?..

— Должна быть. Обязательно должна быть! Но не хватает рабочей силы. — И Степанов рассказал о затруднениях с переселенцами.

— Действительно... — задумался Борисов. — Говорите, есть больные?.. Семьи фронтовиков?.. Да-а... Надо помочь. — Теперь он уже обращался к своим подчиненным: — Буду давать увольнительную желающим помочь переселенцам.

— Спасибо, лейтенант! — И Степанов стал объяснять, где находится школа, кого нужно спросить — лучше всего Таню с косами, которая по справедливости рассудит, кому пособить в первую очередь.

Как будто все. Можно быть уверенным: помощь будет оказана. Но чего-то еще не хватало... Пожалуй, того, чего в какой-то степени не хватало в общем хорошему человеку и самоотверженному работнику. Галкиной... Эти ребята должны увидеть в малом великое, и для них эта поруганная земля должна стать не просто клочком отвоеванной у врага территории, а землей со своей историей и лицом.

Степанов обратился к Борисову:

— Товарищ лейтенант, разрешите два слова о Дебрянске...

— Что, политбеседа?..

— Если хотите — да.

— Пожалуйста, товарищ Степанов. — И приказал солдатам: — Слушать всем!

Степанов как мог короче изложил историю города, то, что знал сам и что услышал от Владимира Николаевича, который яростно хотел накрепко связать прошедшее с настоящим и будущим.

Солдаты с удивлением оглядывались вокруг: вот по этой земле ходил сам Петр Первый? Ходил автор «Недоросля» Фонвизин? Сам Иван Сергеевич Тургенев? В городе существовал Совет Народных Комиссаров? А вот там до сих пор можно увидеть остатки кремля? В этом городе когда-то стоял настоящий кремль?

Вот теперь, пожалуй, все. Только совершенно глухой к зову предков, зову самой земли, матерей и вдов солдат не возьмется за лопату или топор.

Борисов прохаживался меж сложенных бревен, невольно раздумывая над силой слова, над тем, как мало еще он умеет использовать ее и другой раз применяет власть тогда, когда можно было бы обойтись убеждением, сделай он это вовремя.

— Ну-у, Степанов, — наконец протянул лейтенант. — Боюсь, что моя казарма с завтрашнего дня опустеет!

— Допустим, — принял комплимент как должное Степанов. — А как же тогда больница? Не получился бы тришкин кафтан...

— Нет, нет! — быстро и категорично ответил лейтенант. — Буду просить майора добавить людей на стройку...

— Не откажет?

— Уважит, — уверенно заявил лейтенант. — Такое дело!

Поздно вечером они остались втроем — Степанов, Турин, Борис Нефеденков. Не зря Турин отложил серьезный разговор до более удобного времени: и поговорить, чтобы никто не мешал, и отметить возвращение товарища.

Закуска у Турина была — неизменные лепешки, огурцы, вареный картофель. И чай. Водку не любил, да и странно было бы видеть ее в райкоме.

Они сидели все за тем же единственным столом, за которым обычно работали Турин, Власов, Козырева: Турин на своем месте, Степанов и Нефеденков — по бокам.

— Ну что ж, — не без вызова сказал Борис после того, как Степанов расспросил его о некоторых общих знакомых. — Первым пунктом пойдет, конечно, Николай Акимов. Акимов так Акимов.

Турин и Степанов переглянулись: они, несомненно, дотошно расспросили бы о Николае. Но почему Борис лезет на рожон? Нервы?..

— Что ж... — спокойно согласился Турин. — Хочешь сначала об Акимове — давай об Акимове... Нашем Коле...

— Итак, — начал Нефеденков, — четвертое августа тысяча девятьсот сорок третьего года. Мне приказано сменить Николая, который, как вы помните, — впрочем, помнишь только ты, Иван, — следил за проходом немецких эшелонов и поездов, чтобы составить расписание их движения.

Судя по закругленности фраз, их стройности, можно было предположить, что Нефеденков готовился к этому рассказу.

— Еще не доходя до указанного мне места, — продолжал Нефеденков, — я услышал крики двух фрицев. Немецкий мы в школе долбили, кое-что знали...

— Не скромничай, — заметил Турин, — ты немецкий знаешь хорошо.

Нефеденков лишь рукой махнул: пустое, мол! И продолжал:

— Из криков я понял, что русского во что бы то ни стало хотят взять живьем. Двое на двоих — не так уж страшно, я побежал на крики и уложил одного из фрицев. Потом — второго. Не думайте, пожалуйста, что такой герой — просто меня выручили фактор внезапности и хорошее укрытие.

— Да-а... Один жив — другой пропал... — как бы самому себе заметил Турин.

Нефеденков тяжело вздохнул и провел рукой по глазам. Провел медленно, чтобы хоть какие-нибудь секунды не видели, что в них.

— Что ты? — спросил Турин. — Продолжай, Борис...

— Продолжаю, — уже отчужденно проговорил Нефеденков.

Степанов, молча и с интересом слушавший разговор о неизвестных ему событиях, сейчас готов был вмешаться: замечание Турина, его тон могли показаться Борису оскорбительными: его вроде как в чем-то обвиняют. Неужели Турин не замечает этого?

Нефеденков опять рукой закрыл на миг глаза и сказал:

— Я слышал, что всякого рода бродяг, окруженцев встречают настороженно... Наверное, так и нужно — мало ли... Так вот, Николай был ранен в ногу, я помогал ему тащиться. А потом он сел и сказал, что дальше не пойдет.

Нефеденков сделал паузу, видимо, тяжело было вспоминать, а Турин смотрел на него, и вопрос, с которым он мысленно обращался к Борису, легко было прочесть в его глазах: «Ну, а ты что?»

— Мне пришлось тащить его на себе, Николая... Идти стало труднее... Немцы всполошились: нас быстро догоняли... Меня схватил длинный, косоротый... Я вырвался... Николай не смог...

— Схватили?.. А ты?

— Вырвался. И надо ж?! — Нефеденков будто удивлялся самому себе. — Побежал в сторону лагеря. Потом сообразил: что же я делаю, молодой осел?! Круто изменил курс... Удалось скрыться. Скитался...

Стал похож на бродягу. Боялся и своих, и чужих: документов-то нет. Только здесь могут что-то подтвердить...

Перед Туриным и Степановым действительно сидел бродяга. От Нефеденкова даже пахло дымом костров, одежда обтрепана и грязна. И что-то в поведении осталось от человека, привыкшего жить под открытым небом и ожидать беды. Нефеденков часто, словно к чему-то прислушиваясь, осторожно поводил головой, и тогда казалось, что он поймал нужные ему сигналы и следит за ними, боясь упустить.

— Миша мне верит, а ты, Иван, человек ответственный, в чем-то, видно, сомневаешься... — печально подвел итог Нефеденков.

— Верю, верю, Борис, — поспешил откликнуться Турин.

— Хорошо бы... — сказал Нефеденков. — Легче было бы жить...

Турин встал и, подойдя к Нефеденкову, похлопал его по плечу. Он знал, что Нефеденков сам считал себя в чем-то виноватым. Виноватым, быть может, но совсем не в том, в чем винил его он, Турин. Почему так долго колесил, бродил, избегая своих. Неужели они не разобрались бы? Так думал Ваня Турин сейчас и решил, что во время разговора он переусердствовал, вот и похлопал Бориса по плечу, выказывая приязнь и участие.

Борис даже как-то выпрямился от этой, как ему показалось, дружеской поддержки.

— Я тут одного фрукта видел, — сказал он, ни к кому не обращаясь, нарочито равнодушно.

— Какого фрукта?

— На станции груз получал, для райторга, сказал... В шинели, невысокий такой, смуглый. Вроде как заикается...

— А-а... — догадался Турин. — Дубленко, Виктор Афанасьевич.

— Дубленко... — повторил Нефеденков. — Фамилия-то у него подлинная, только сам он не тот, за кого себя выдает. — Он сидел на стуле сгорбившись, скрестив на груди руки. То ли мерз, то ли было ему неуютно.

— Тогда кто же он? — поинтересовался Степанов.

— Когда он появился в городе? — не ответив, спросил Нефеденков.

— С неделю, не больше, — припомнил Турин. Он подошел к печке, остановился и ждал продолжения. Нет, он не хотел

выспрашивать или торопить Нефеденкова. К подобным заявлениям надо относиться настороженно.

— Если с неделю, то он и есть.

— Кто? — снова спросил Степанов.

— Это длинный разговор... — Нефеденков был в затруднении: рассказать коротко — ничего не поймут, да и события покажутся маловероятными; рассказывать подробно — неизбежно придется коснуться и своих злоключений, а этого ему совсем не хотелось.

— Уж если начал, продолжай, — сказал Степанов.

Нефеденков взглянул на Турина. Лицо Вани было непроницаемо.

«Отстранился. И как это ловко он умеет!» — подумал Нефеденков.

— Боюсь, что Ваня мне не поверит...

— Почему же не поверю? — возразил Турин. — Ты пойми, — доверительно добавил он, — просто Ване легче жить, чем Ване — секретарю райкома комсомола.

Простодушное признание это дошло и до Нефеденкова и до Степанова: нельзя же забывать, в самом деле, что товарищ их давно уже перестал быть просто Ваней.

— Ты рассказывай, Борис, — подбодрил Турин, — рассказывай не спеша и без оглядки на кого-либо... Ешь и рассказывай...

Борис ел жадно, забыв, чего от него ждут. Сидеть за чистым столом, в теплом помещении, есть вкусную пищу, в кругу своих! Когда это было вот так?

— Лепешки у тебя!.. — похвалил он. — Во рту тают... Неужели такие в городе пекут?

— Лепешки — оброк, Иван привозит их из деревень, — пошутил Степанов.

— Чай настоящий! — Нефеденков охватил стакан обеими руками, склонился над напитком и вдыхал полузабытый аромат. — И сахар! Живете, как в раю.

Смакуя хрустящий, пахнувший укропом и чесноком огурец, Борис сказал:

— Забыть бы все к черту: фрицев, предателей, трусов... Только ведь не забудешь. Так вот, слушайте! — Он отставил пустой стакан. — Представьте себе, приходит, к примеру, в дом к рабочему парень и говорит, что он хорошо знает хозяина, всю его семью, верит в них и

что группа «Мститель» считает их своими. Нужна помощь: деньги, медикаменты, какие-либо вещи из тех, что сейчас имеют цену... Что-нибудь да находилось для святого дела... А парень — в другой дом, в третий... Второй парень, с тем же делом, — по пригородам, еще один — по деревням... Кто мог отказать им? Отдавали последнее, необходимое, лишь бы хоть немного приблизить победу. Группа местных подпольщиков — а дело было в Нижнем Осколе — насторожилась: что это за «Мститель»? В городе возникла еще одна организация? Кто руководит? Какие у нее планы? Стали искать связь и выяснили, что группа, пожалуй, как некое единое целое существует, однако к борьбе с фашизмом никакого отношения не имеет: мародеры! Дошли до того, что в одном селе увели свинью и забрали с десятков кур: мол, партизанам. Что делать? Подпольная группа только-только становилась на ноги, правда, немцам уже успела насолить... Не ходить же по домам и объяснять, что настоящие подпольщики они, а не те. Выпустить листовку с обращением к населению быть менее легковверными? Но не приведет ли это к тому, что перестанут верить и подпольщикам подлинным? Все предложения отменялись. Командир предложил спекулянтов на святом деле уничтожить. Именем Родины. Но половина группы такое решение сочла незаконным: судить — да, но сразу казнить?.. Меж тем вражеская пропаганда начала свое дело: партизаны и подпольщики — это грабители, от которых страдает население, все еще верящее, будто возможна какая-либо борьба с «новым порядком». Каратели не заставили себя ждать: обыски, облавы, расстрелы участились...

— Немцы и без того не стеснялись, — обронил Турин.

Степанову показалось, что Ваня в чем-то сомневается. Впрочем, Турин тотчас же одернул себя:

— Извини, что перебил... Продолжай, пожалуйста...

Но Борис уловил недоверие Турина.

— Я, братцы, рассказываю так, как было...

— Продолжай, Борис, продолжай! — повторил Турин.

— Ну так вот... Положение создалось небывало критическое. Пришлось пойти на такой шаг... Самый старший из группы выследил одного из мародеров и передал ему ультиматум: прекратить грабеж населения, иначе все они будут уничтожены.

— Прекратили? — не выдержал Турин.

— Прекратили... Однако и подполье немцами было вскоре разгромлено. В живых осталось двое: один в городе укрылся, другой, Котов, сумел уйти... Он-то мне и повстречался на пути... Так вот, когда пришли наши, их встретили мародеры, выдали себя за подпольщиков, а подлинных подпольщиков объявили грабителями. Даже документы какие-то предъявили... Короче говоря, все поставили с ног на голову... Тот, что остался в городе, пытался восстановить истину, но был еще больше оклеветан: он один, а тех — пятеро... С Котовым мы трое суток шли вместе: он пробирался в область, чтобы рассказать о случившемся, я брел, еще не зная, что мне делать... Ни у него документов, ни у меня.... Шли ночами... У одной из станций встретили вот этого Дубленко. Дал нам из своей кружки воды попить — «добрый человек»!.. Он успел вскочить на подножку поезда, мы замешкались... Тут-то Котов мне все и рассказал. Дубленко — он, правда, не самый активный из мародеров, — выходит, подался вон из города, заручившись, ясное дело, соответствующей бумагой: что, мол, был участником подпольной группы и прочее... Вот так, братцы... — Нефеденков замолчал.

— Борис, а тебе не приходило в голову, что мародер, может, не Дубленко, а твой, как его там, Котов?.. — спросил Турин.

— Нет, не приходило, — быстро ответил Нефеденков.

— Почему ты так уверен в нем?

— То, что он рассказывал о подполье, может знать только подпольщик.

— Или опытный провокатор! — добавил Турин.

— Вот-вот, — угрюмо проговорил Нефеденков. — Так Котова и могут встретить!

— По крайней мере, на слово не поверят. Расследуют...

— Хорошо бы так...

— Да, Борис, — вмешался Степанов, — ты поверил Котову, другие — Дубленко. Быть может, у него тоже есть какие-то основания на доверие.

— Все может быть, — отчужденно проговорил Нефеденков. — В общем, я вам сказал. — И поднялся, намереваясь уходить.

— Ваня, — спросил Степанов, — а если Борису все же зайти к Цугуриеву? В органы, — пояснил он специально для Бориса.

— Как же я пойду?.. Запятнанный...

Нефеденков поблагодарил за угощение и пошел ночевать к знакомым.

В этот день, утром, произошло в Дебрянске событие, которое было отмечено не одним человеком. На шоссе, тщательно объезжая воронки и кирпичные завалы, появился выдавший виды газик, остановился возле женщины, несшей ведро с водой. Шофер что-то спросил у нее, поехал дальше и снова остановился, теперь уже у райкома партии.

Из машины вышли подполковник и майор, оба средних лет, оглядели с невысокого крыльца то, что осталось от Дебрянска, и направились к секретарю райкома.

Пробыв в райкоме минут десять, они вышли в сопровождении Захарова, поспешно докурили папиросы и, еще раз оглядев с крыльца Дебрянск, распрощались с Захаровым и уехали. На запад. Их интересы были, видно, там.

Те, кто наблюдали эту сцену, не могли сомневаться, что они едут на фронт. А куда еще нужно подполковнику и майору? Куда? Армия наступала, освобождала в день десятки городов и сел, пора была горячей — только поспевай...

Но все же это были не простые офицеры — это уезжали военные корреспонденты, и они-то могли бы и задержаться в Дебрянске... Однако не задержались.

Степанов направлялся в столовую и увидел только удалявшуюся машину и Захарова, который, входя в дом, громко хлопнул дверью: остался недоволен визитом.

Но внимание Степанова было почти тотчас отвлечено другим. Что-то изменилось в знакомом до мелочей пейзаже. Столовая была неподалеку от райкома, и нужно было выйти за пределы уцелевшей улицы, чтобы понять, в чем дело. В одной стороне, в другой, в третьей, то пропадая за буграми кирпича, то вновь появляясь, копошились люди. Рыли землянки. Три сразу!

Степанов направился к ближайшей. Работавшие не обращали никакого внимания на подходившего к ним человека. Один копал

землю, другой топором ошкуривал стояки.

— Товарищ лейтенант? — удивился Степанов, признав в плотнике Борисова.

Лейтенант отложил топор в сторону:

— Я... А что ж?.. Чем хуже других?.. — Он как бы оправдывался перед Степановым. — Все равно придется блиндажи на фронте строить и те же землянки рыть... Ведь так? Выходит, практика!

— Наверное, придется... Здравствуй, Андрей! — Степанов только сейчас смог поздороваться с землекопом.

— А, Степанов... — Андрей вытер пот со лба. Наверное, рад был передышке. — Никогда не думал, что так трудно рыть простую землянку!

— Лейтенант, а обязательно ли ошкуривать стояки?

Борисов посмотрел на белые столбы, валявшуюся на земле кору, пожав плечами, ответил:

— Я не плотник, но знаю: положено бревна ошкуривать... Иначе все сгниет раньше срока...

— Когда строят дом, конечно, ошкуривают... Но это ж землянка. Простоит несколько месяцев — и хватит с нее!

— «Несколько месяцев»! — Быть может, впервые лейтенанту ощутимо, вещно представилась жизнь в такой землянке. — «Несколько месяцев»! — раздумчиво повторил он.

— Наверное, так... И там ваши копают? — Степанов указал глазами на работающих в других местах. — Значит, майор пошел навстречу?

— Да... И вот что интересно: все хотят жить на месте своих домов. Все. А чем этот клочок земли лучше других?.. И здесь — кирпич, и там — кирпич...

— Воспоминания... Мы забываем подчас, что история есть не только у государств и народов, но и у каждой семьи — славная или бесславная...

— Пожалуй, да... Тут эта женщина, допустим, родилась или сама родила... Кто знает?.. Или, опять же, выходила замуж... Жила...

Степанов вместе с лейтенантом пошел посмотреть, что делается на строительстве больницы. Корпус заметно поднялся на несколько венцов. Таня Красницкая спокойно ходила возле.

— Хотят вход сделать с улицы... Не знаете, Михаил Николаевич, где здесь была улица? — спросила она подошедшего Степанова.

— Здравствуй, Таня! — радостно сказал он.

— С ума сошла!.. Я думала, мы уже виделись... Здравствуйте, Михаил Николаевич.

— Ничего... А улица была вот здесь... — Степанов провел рукой в воздухе прямую линию. — Как дела, Таня?

— Идут... — И, погрузневшая, умолкла. Ни легкости в движениях, ни доброй улыбки, которой обычно так и светилось круглое Танино лицо.

— Что случилось, Таня?

— Опять все к вам...

— Рассказывай, рассказывай! — настаивал Степанов.

— Мария Михайловна, больная и одинокая, плачет тайком ото всех. Зовет своих сыновей Степу и Диму, просит, умоляет, чтобы забрали ее отсюда. Но на Степу еще в первые дни войны пришла похоронка, а от Димы до сих пор ни слуху ни духу. Все собираются разъезжаться, может, боится, что оставят ее в школе. Я договорилась со знакомыми, они живут в сарайчике за станцией. Марию Михайловну могут взять. Но как и на чем ее перевезти?

— Да, это задача не из легких...

Степанов взглянул на часы. Подумал: «Вот бы эту «грандиозную» операцию описать лейтенанту Юрченко. Он не поверит, как сущие мелочи вырастают в проблемы».

— Пойдем, Таня.

Борисов, намекая на что-то, весело пожелал:

— Успехов, товарищ Степанов! — и проводил Таню откровенно завистливым взглядом.

Теперь на тропке они увидели Захарова и Троицына, которые, видно, обходили новостройки, как ни странно звучит это слово в применении к землянкам и баракам. Вскоре стал слышен их громкий разговор.

— А что я мог сделать, Николай Николаевич? — судя по всему, оправдывался Троицын. — Мамин — добрая душа. А каково мне?

Степанов догадался, что речь шла, по-видимому, о решении Мамина выделить строительные материалы всем выселенцам.

— И откуда ж ты взял столько бревен?

— Откуда берут хозяйственники, Николай Николаевич? Из своего загашника...

— Буду иметь в виду, — принял в расчет это признание Захаров. — Все твои отговорки с этого часа не принимаются.

— Николай Николаевич! — взывая к справедливости, взмахнул короткими руками Троицын. — У меня всё уже выскребли до дна! Честное слово!

— Ладно, ладно, — покровительственно ответил Захаров. — Когда тебя лучше заслушать на бюро? Сейчас или подождать?

— А мне все равно, Николай Николаевич... — равнодушно ответил Троицын.

— Это ж почему?

— Сейчас или погода — все равно ругать будете! Должность такая...

— У меня хорошая, — иронично скривил губы Захаров. — А ты сегодня не грешь, Троицын... Вон сколько у тебя помощников! — Взмахнув рукой, Захаров указал в сторону землянок и барачков, где работали воины.

Степанов стал сворачивать с тропки, уступая дорогу Захарову и Троицыну. Поравнявшись, поздоровался.

— А-а, Степанов!.. — приветствовал его Захаров и вдруг досадливо щелкнул пальцами: — Не догадался я о помощи военных сказать!.. Тогда, может, задержались бы...

На вопросительный взгляд Степанова ответил:

— Журналисты приезжали... Не остались. Подполковник и майор... — Захаров назвал фамилии двух известных писателей, корреспонденции и статьи которых часто появлялись в московских газетах и пользовались большой популярностью на фронте и в тылу. Газеты с их материалами передавали из рук в руки, читали вслух... — Не остались!.. — За сдержанностью в голосе Захарова все же слышались горечь и обида. — Не заинтересовали мы их!

— Николай Николаевич, — возразил Степанов, — это же фронтовые корреспонденты. Сами знаете, все они приписаны к определенной газете и должны освещать ход войны на определенном участке фронта.

— Понимать-то я понимаю... Но дело и в другом, Степанов. Еще и в другом...

Однако развивать эту мысль, чувствовал Степанов, Захарову почему-то не хотелось.

Степанов все же спросил:

— А в чем «другом», Николай Николаевич?

— Дотошный ты человек, Степанов! — Захаров не заметил, как перешел на «ты». — В чем другом? Допустим, остались бы. Хотя бы один. Ну и что? О чем писать? Землянки, жалкие бараки, бесценные для нас сейчас... Где героизм? Где пафос созидания? Энтузиазм, наконец? Где? А на фронте все просто и ясно. Подбили пять вражеских танков? Молодцы! Представить к награде! Освободили столько-то сел и деревень, взяли железнодорожный узел? Герои! Штурмом овладели городом? Герои! И ведь правда — герои! Но и у нас тоже герои! Только чем и как измерить их неброский героизм?

Степанов и сам думал неоднократно о мало кем замечаемой несправедливости. Но Захаров кроме чувства несправедливости испытывал еще и явное чувство обиды. Не за себя, конечно, а за тех, кто не щадил себя, возвращая землю к жизни. Не щадил так же, как на фронте.

— Да... — как бы подвел итог Захаров, — на описании сегодняшнего Дебрянска славы не заработаешь, орденов тем более. Как говорится, фактура не та. Верно, Троицын? — обратился он за поддержкой к человеку, который однажды, подавленный и разбитый, пришел к нему отпрашиваться на фронт и получил такую отповедь, что и сейчас помнил.

— Хм! — энергично воскликнул Троицын. — Да будь я на фронте даже каким ни на есть захудалым обозником, и то что-нибудь да заработал бы кроме замечаний и нареканий! Да бог с ними, с наградами!.. Лишь бы душа не ныла, как здесь... Нет, Николай, Николаевич, о нас с вами не вспомнят. Помяните мое слово...

Степанов все же возразил:

— Николай Николаевич, конечно, о Дебрянске писать трудней, чем о наступлении, но это вы зря так... о славе и об орденах...

— Не знаю, не знаю... Могли бы хоть заметочку написать о тружениках тыла, раз на очерк не тянем...

— А почему вы думаете, что не напишут?

— Как «почему»? Цифрами даже не вооружились... Материалом... О чем же писать? Что представляет из себя Дебрянск,

увиденный с крыльца райкома? Или из машины? Не защищайте, Степанов, кого не следует защищать. Все проще, чем вы думаете... Ну, ладно... — закончил Захаров, — пойдём, Троицын, дальше осматривать величайшее строительство. А ругать тебя на бюро, конечно, будем... Готовься!

— Всегда готов!

Таня, чтобы не мешать разговору, который ее не касается, отошла в сторонку и теперь, когда начальство продолжило путь, вернулась на тропку.

— Начальники, оказывается, тоже люди... — улыбнулась она. — А все-таки обидно, что о нас не напишут...

...Как это и случилось частенько, Мамина у себя не было. Захаров еще не вернулся. Сторож без их «добро» лошадь не давал.

Степанов и Таня разыскали Мамина в военкомате... Снова явились к сторожу, взяли наконец лошадь... На это ушло полтора часа.

Но с чего начать? Сначала, видимо, нужно приготовить в сарайчике место для Марии Михайловны. Пока доехали, пока, выкраивая метры еще для одной койки, переставляли другие койки и стол, прошло еще добрых полтора часа. На завтрак Степанов давно уже опоздал. От станции до Бережка километров восемь. Туда-сюда — еще два часа. Когда управились, можно было наконец и пообедать, но ему вдруг захотелось проводить Таню на Бережок.

Девушка охотно, даже с радостью согласилась!

— Проводите...

— Вы работаете, Таня? — спросил Степанов.

— В больнице, санитаркой. На безрыбье и рак рыба, — оценила Таня себя в новой должности.

— А по вечерам что делаете?

— Иногда дежурю. А так что можно делать, Михаил Николаевич? Негде собраться, некуда пойти... Да никого и не осталось... Тоска страшная. Днем ничего: заботы. А вечером!..

Все отчетливей и отчетливей осознавал Степанов беды Дебрянска: порабощенность бесконечными заботами и мелочами, вынужденное одиночество людей. Стремясь прорвать этот круг отчужденности, знакомились в очереди за хлебом, на почте. Других мест общения не было.

Степанов простодушно предложил Тане приходить к нему — будут вместе гулять, разговаривать... Она охотно согласилась.

— Тишина у нас... А в Москве, наверное, народу-у!.. — мечтательно протянула Таня.

— Народу много, но и Москва сейчас не такая шумная и многолюдная, как раньше.

— Наверное, скучаете по столице?

— Знаете, Таня, как-то не было времени скучать. Конечно, вспоминаю, да еще как часто.

— А что вы меня на «вы» величаете?

— Ну хорошо, буду на «ты», если ты так хочешь.

— Театры, музеи... — продолжала Таня, как о чем-то совершенно недостижимом. — В театр бы раз в жизни сходить...

— А ты разве не была ни разу?

— Приезжала как-то к нам оперетка и драматическая труппа, но вряд ли это настоящий театр... Скажите, Михаил Николаевич, теперь ведь не все будет так, как раньше?

— Ты о чем?

— Всякое слышишь... — уклончиво ответила Таня.

После выступления Захарова в райкоме партии стенды со свежими газетами регулярно вывешивались возле хлебного магазина и больницы, на почте, на рынке. Около них с утра и дотемна толпился народ. Гораздо яснее стала для людей обстановка на фронтах, международное положение, отношение союзников, жизнь в больших промышленных центрах Урала и Сибири, как писалось, «ковавших победу». Особенно ревностно следили за статьями, в которых описывалась жизнь в городах после освобождения. Немало было разбитых и сожженных, но, пожалуй, такого, как Дебрянск, если попытаться себе представить по газетным строкам, не было... Читаешь — и вдруг: трамвай... кино... радио... даже театры!..

Да, информации стало несравнимо больше, и все же «сам слышал от верного человека...» совсем еще не перевелось...

Большой охоты встречаться с Ниной Ободовой у Степанова не было. «Сначала мечутся между добром и злом, а потом переживают, втягивают в свои душевные муки других... Тут работой сорок восемь часов в сутки, и то не сделаешь десятой доли того, что нужно сделать сейчас, немедленно».

Но как только он увидел, вернее, угадал в густом сумраке худенькую фигурку ожидавшей его Нины, настроение сразу изменилось: «Что же теперь-то?.. Теперь помогать надо...»

Нина с готовностью протянула ему руку, уверенная, что он ответит ей тем же.

Степанов мысленно стал быстро перебирать места, где можно было поговорить спокойно. Но ни одно из них не могло их устроить: в райком Нина не пойдет, да там могут и помешать; в районо — Галкина; в «предбаннике» парикмахерской? Но парикмахерская закрыта. Оставалась почта, где он уже был с Верой. Степанов повел Нину на почту.

— Заходи... Посидим в тепле. — Он не стал подчеркивать, что заботится не о себе.

Дежурила уже знакомая Мише телеграфистка.

Степанов попросил Валю приютить их на часок. Валя окинула Ниву внимательным взглядом с ног до головы, помедлила и, едва заметно пожав плечами, сказала без большой охоты:

— Ну заходите...

Степанов прошел, но Нина так и застыла на пороге, словно остановленная этим взглядом. Однако прошло мгновение, Нина резко подняла голову и не без вызова вошла в помещение почты.

Степанов уже знал, где лампа, зажег ее и притворил дверь.

Нина села на скамью и вдруг вскочила:

— Слушай! А я ведь просто эгоистка!

— Что ты? — Степанов даже испугался.

— В какую я тебя историю втравила!

— О чем ты, Нина?

— Ты не понимаешь, но я-то должна была знать! — не прощала себе Нина какой-то промашки. — Найдутся такие, кто будет говорить, что новый учитель связался со шлюхой.

— Перестань! — тихо потребовал Степанов.

— Ой... Ничего ты не понимаешь!..

— Я говорю, перестань!

— Если не скажут, то все равно подумают...

— Мне еще считаться со сплетнями!.. Жить с оглядкой на дураков и идиотов! Садись и, пожалуйста, успокойся... — Он подошел к Нине и, положив руки на ее плечи, усадил девушку на скамейку в углу.

— Ой, Миша...

Она сложила руки на груди, съежилась, прижав коленку к коленке. Озябшая, сидела так нахохлившись, пока не почувствовала, что согревается.

— Господи! — в упоении воскликнула Нина. — Комната! Тепло!

Она вдруг вскочила и прижалась к плохо покрашенной, изрядно испачканной печке, к которой уже прислонялся не один человек.

— Вот так и буду стоять! Есть же чудеса на свете...

— Холодно в сарае? — спросил Степанов.

— Придешь туда — жить не хочется... Протопят печурку — тепло, а через час — все выдуло...

— Кто хозяйева?

— Добрый человек, тетя Маша... Когда-то ей мать в чем-то помогла, помнит...

— А где ты работаешь, Нина?

— На станции...

— Что же ты делаешь на станции?

— Как что? Составы разгружаю... Все, что присылают в Дебрянск, проходит и через меня. Я — важная птица.

Степанов вспомнил, как в день приезда был на станции и видел разгрузку платформы с бревнами. Женщины, девушки... Ни одного мужчины...

— Тяжелая работа. Надорваться можно...

— Можно, зато рабочая карточка. Это тебе не что-нибудь...

Степанов прошелся по комнате раз, другой... Потом остановился возле Нины, сурово посмотрел в ее глаза и не встретил ничего, кроме доверчивости...

Он боялся обидеть Нину проявлением жалости, боялся, что и участие может невзначай уколоть ее самолюбие.

По-своему истолковав, наступившую паузу, Нина спросила, ничуть не сомневаясь, что это так:

— Ты ждешь моего рассказа? Ничего радостного, Миша, ты не услышишь.

Степанов выпрямился, молча смотрел на девушку. «Что она ему скажет?» И сейчас, видя ее прижавшейся к печке — запрокинутая голова с выставленным маленьким подбородком, ноги в шелковых штопаных чулках, эти ясные глаза, которым нельзя не верить, — видя все это, Степанов подумал, что Гашкин не мог быть прав, отпустив по адресу Нины то короткое словечко. А может, он, Степанов, только утешает себя? Нет, нет...

— Расскажи, Нина...

— Ну что ж... Слушай, — начала она. — До войны мы жили хорошо, весело... Меня баловали все: единственная дочь... Когда пришли немцы, я растерялась... Все изменилось в мире и в городе, смерть витала в воздухе, а мне хотелось жить. Я немножко подросла, на меня стали посматривать мужчины, я, как бы это тебе сказать...

— Понимаю, — проговорил Степанов. — Читал в романах.

Нина посмотрела на него и как бы поблекла. После молчания, занятая мыслью — так ли он все понял? — все же продолжила:

— Да, ходила на вечеринки, танцевала, развлекалась... Иногда там бывали немцы... Вернешься домой — мать не спит. Смотрит в глаза, и я знала, о чем она думает. «Нет, мама, нет! Не бойся!..»

— Почему же она не задрала тебе юбку и не выдрала ремнем?

Нина не удивилась откровенному вопросу:

— Допустим, я сижу дома, никуда не хожу — ну и что? Наступит мой черед — и в Германию. Рабыней! Я эти объявления помню наизусть.

— Какие объявления?

— На стенах и заборах, в газете. Если перевру, то самую малость. Вот: «Все женщины тысяча девятьсот двадцать третьего года рождения, проживающие на территории Орла, Дебрянска, Бежицы, включая пригороды, или же временно проживающие на этой территории, обязаны, согласно расклеенным на улицах этих городов объявлениям, явиться в соответствующую Биржу (с большой буквы) Труда (с большой буквы). Лица, фамилии коих начинаются с буквы А до К, безработные — двадцать первого мая до двенадцати часов дня, работающие — пополудни. С буквы Л до Р — такого-то числа, с буквы С до Я — такого-то. При явке нужно иметь на руках явочную карточку

Биржи Труда либо рабочий пропуск с места работы. Явке подлежат все женщины указанного года рождения, независимо от семейного положения и независимо от того, работают они или являются безработными. Неявившиеся будут наказаны. Командующие (с большой) Административными (с большой) Округами (с большой)». Думаю, что я ничего не переврала.

— И куда направляли? В Германию?

— В Германию, на работу здесь, на свои фермы и дачи — по-разному... А кто поприятнее и покрасивее, могли попасть и в публичный дом...

— Где?

— У нас, в Дебрянске...

Хотя Степанов не раз уже слышал о публичных домах, устраиваемых оккупантами, сообщение, что такой дом был в его родном Дебрянске, ошеломило. В Дебрянске!..

— На втором этаже, над «красным» магазином, он и был.

Никто за все время пребывания Степанова в Дебрянске и намека не обронил о существовании во время оккупации публичного дома, словно это было не бедой, а виной.

— Все это знали, — продолжала Нина. — Но все было гладко, мирно, размеренно, как в хорошей портновской мастерской. И девушки там часто менялись.

— Что же ты, знала их?

— Не стремилась. Маруся Цветкова рассказывала.

— Это из восьмого «Б»?

— Да.

— А ей откуда известно? — с сомнением спросил Степанов.

— Маруся «работала» там...

— Маруся?!

Нина не ответила, а Степанов поднялся. Он походил, снова сел.

— А вечеринки, выходит, спасали от мобилизации?

— Бывало и спасали...

— Так сказать, блат, что ли?..

— Вроде того... Я работала на квашном пункте, на складе и все тряслась: возьмут! А тут как раз новое объявление: «Все женщины тысяча девятьсот двадцать четвертого года рождения...» Что делать? Мне посоветовали не торопиться с явкой, сказаться больной... Сейчас,

мол, у немцев другие заботы: наши наступают... К счастью, наши и пришли... Теперь ты знаешь все.

— Спасибо... Спасибо за доверие, — поблагодарил Степанов, догадываясь, что нигде и никому Нина не рассказывала этого. — А теперь скажи, кто тебе разрешил водку пить?

Нина поправила его:

— Водки здесь не найдешь, сивуха из мерзлой картошки...

— Кто сивуху разрешил пить?

— А я тайком от папы с мамой, дедушки и бабушки, — в тон Степанову ответила девушка. И добавила после молчания совсем просто и негромко: — Боюсь, что не выдержу...

— Я постараюсь найти тебе работу полегче. Хочешь? — спросил Степанов.

— Полегче работа — полегче и паек. Без добавки к нему не проживешь. Большой добавки!.. Вот, может, на строительство клуба перейду... Все-таки под крышей и за стенами...

Степанов был растерян.

Он с удовольствием отдавал бы Нине часть своего обильного для тех времен обеда из столовой актива, но разве девушка пойдет на это? Мог бы помочь деньгами, но что на них купишь? Хотя в деревне можно... Однако и денег она не возьмет. Вот попробуй помоги!

— Тебя гнетет отчужденность, — сказал Степанов. — На твоём месте я пошел бы в райком, сказал бы, что работаю честно, просил бы пересмотреть решение насчет билета...

Как только Степанов заговорил о райкоме и билете, Нина сразу ушла в себя.

— Пойдем, Миша... Мне завтра на работу рано вставать. Пойдем.

— Вздыбленная войною земля... Разве это должно быть здесь после восьми веков непрерывного труда многих поколений, обживавших суглинистую, не роскошную для хлебопашества дебрянскую землю? Бывают минуты, когда я прихожу в отчаяние: и десятой доли не делаешь того, что нужно сделать. С тобой, Иван, этого не случается?

Степанов и Турин возвращались вечером через пригородную деревню из одного села, где проводили первое собрание комсомольской организации.

Турин, шагавший молча, повернул голову, посмотрел на товарища:

— Чувствами живешь, Миша. Так нельзя.

— Почему нельзя?

— Израсходуешься за месяц.

— Может быть. Только иначе не могу.

У колодца сошлось несколько молодых женщин с ведрами на коромыслах. Турин свернул с дороги.

Секретаря райкома комсомола здесь вряд ли знали, но по каким-то одним им ведомым признакам женщины сразу угадали в нем непростого человека — начальника, интересующегося делом.

Разглядев молодые лица, Турин спросил:

— Как живете, девушки?

— Спасибо...

— Вместе собираетесь? Газеты читаете?

— Собираться, конечно, собираемся, но газету видим редко.

Председатель себе забирает, говорит: «Приходите вечером». А вечером ее скурят...

— Никто не думает о нас! — сказала девушка в сером платочке.

Ее сразу одернули: мол, не критикуй! Не лезь!

— «Не думает»! — повторил Турин. — Вот, — указал он на молчаливо стоявшего Степанова, — миной его два раза шарахнуло... О ком он думал, когда на них шел?

Степанову стало неловко:

— Да что ты про меня!..

Но Ваня Турин и не слышал. Все, что ему было известно о фронтовой жизни товарища, чрезвычайно скупой рассказанной им самим, Ваня Турин расцветил, кое-что преувеличил, сдобрил юмором и закончил так:

— Вот стоит товарищ Михаил Степанов и, по своей скромности, негодует на меня, его друга и товарища. Но ведь не будет же он сам говорить о своем мужестве и геройстве? Из него только клещами вытащишь два-три слова о том, как он воевал.

— Да брось ты, Иван! — рассердился Степанов. — Невозможно же это!

— Все! Все! — примиряюще сказал Турин.

Степанов от чувства неловкости то одергивал шинель, то расправлял складки... Девушки молчали. Быть может, впервые видели они так близко того самого героя, о котором писали газеты, передавало радио, которых изображали на плакатах, на рисунках в журналах. И это был не какой-то неведомый, неосязаемый Петров или Иванов, а вполне конкретный, высокий с бледным узким лицом, прихрамывающий молодой человек, немного застенчивый и неразговорчивый, когда речь касалась его самого.

Та, что была в сером платочке, подошла к Степанову:

— Не знаю, как вам сказать... Ей-богу, вот честное слово — если вам что-нибудь нужно будет, приходите к нам. Всегда поможем. Ну я не знаю, что там... Случится надобность — приходите!

Столько было простодушия и искренности в этих словах, что Степанов, который и подумать не мог, чтобы кого-нибудь просить о чем-либо, поблагодарил от всей души.

— Спасибо, девушки... Спасибо!

Иван Турин стал выяснять, кто может зайти в райком, чтобы отрегулировать газетный вопрос... Выбор пал на девушку в сером платочке, Катю Пояркову.

Когда уже распрощались с девушками, Степанов спросил:

— Слушай, Иван, зачем ты про меня?.. Я стоял и не знал, куда деваться!..

— А ты знаешь, что такое наглядная агитация? — спросил Турин, судя по всему не только не чувствовавший какой-либо вины перед Степановым, но считавший, что сделал еще одно необходимое, доброе дело. — Знаешь?

— Знаю... А при чем тут я?

— Нет, не знаешь... Можно двадцать часов толковать о героизме вообще и не добиться того, чего добьешься за три минуты, показав героя живого... Вообще тебе нужно бы поездить по району, повыступать с рассказами о войне...

— Пошел ты к черту! — рассердился Степанов. — Только этого еще не хватало! Мало того, что обо мне наболтал! Он еще собирается в предмет наглядной агитации меня превращать!..

— Ладно, ладно, — отмахнулся Турин, который всегда знал, что делает. — Газет, значит, здесь регулярно не читают, радио не слушают, потому что его еще нет... Козыреву, что ль, сюда направить? Или Власова?.. — И вздохнул: — Такая обстановка, Миша, не только тут... А что мы можем сделать: я, Власов, Козырева?

Степанов прекрасно слышал слова Турина, но ответил не сразу: взглянул на товарища, прикинул — стоит ли затевать спор сейчас? Решился.

— Давно я тебя, Иван, хотел спросить: что ты в своей работе считаешь главным?

— Службу родному народу. — Турин недолюбливал отвлеченные разговоры на высокие темы и, полагая, что именно такой разговор товарищ и начинает, ответил полушутя.

— Я тебе — серьезно!

Турин вздохнул:

— Ну что я считаю главным?.. Главное... И-в тридцати последних дней я, наверное, больше половины провел в деревнях и селах.

— Я понимаю... Тебя отрывают от комсомольских дел важными поручениями, но что ты все же сам считаешь главным? — допытывался Степанов. — Сам?

Турин молчал. Они уже быстро шагали по Первомайской. Этот ее участок до пересечения с улицей Советской служил шоссе, соединявшим два больших областных города. Но сейчас и здесь было тихо.

— Черт его знает, — наконец признался Турин. — Сил на все явно не хватает. И главное сейчас все же, пожалуй, хлеб. Без хлеба победы не будет.

— Несомненно, — согласился Степанов. — Но вот послушай. Ты работаешь целый день, другой раз и ночь, и по твоему образцу работают другие. Ни личной жизни, ни отдыха. Работа, работа, работа! Хлебозакуп, другие поручения райкома, восстановление и укрепление организаций, фронтовые бригады строителей, школа, разбор заявлений и десятки других дел, которые ты не успеваешь делать и никогда не успеешь, если будешь тасовать все ту же колоду: Турин, Козырева, Власов, Гашкин...

— Что же ты предлагаешь конкретно? — спросил Турин.

— Я говорил с Таней Красницкой, с Ниной Ободовой... Некоторую работу могут выполнять и они. Хотя бы ту же читку газет.

— Нина Ободова... — с сомнением повторил Турин. — Тут, брат, идеологический участок, а ты — Нину Ободову...

— Да, она небезгрешна. Не хочу оправдывать.

— Ну? — ждал продолжения Турин.

— Небезгрешна... — заметно волнуясь, повторил Степанов, но какой толк отталкивать от себя молодежь, по каким-либо причинам не примкнувшую к подполью? Куда она должна идти? Догонять немцев? Затаить обиду и стоять в стороне от жизни? Надо ее привлекать к общей работе, делать союзником, а не отпихивать. И актив расширишь, и дашь возможность людям показать себя, завоевать полное доверие...

— Говори, говори, — сказал Турин, раздумывая.

— Сколько у тебя лежит заявлений в аккуратной стопочке на столе?

— Не знаю... Штук тридцать...

— Для тебя пока они — мертвые души, а они — живые, живые!

На столе Турина, слева, где стояла лампа, давно уже высилась стопка заявлений — на тетрадных листках, на форзацах книг, на обоях, на газетных клочках, на оберточной бумаге, даже на обороте какого-то немецкого объявления. Все это были так называемые личные дела, на рассмотрение которых уходило много времени и сил. Одни писали, что потеряли комсомольский билет, другие признавались: уничтожили, испугавшись, что билет попадет в руки фашистам.

Некая Дина Пономарева, девятнадцати лет, описывала свою жизнь при немцах и считала необходимым сообщить: «Во время оккупации выходила замуж». Можно было подумать, что выходила несколько раз...

Писали и так:

«При оккупации города я остался дома (мой год в армию не брали). Напав на след партизанского отряда, включился в него: мне было оказано доверие. При выполнении задания был ранен и с фальшивыми документами переправлен в город. Таким образом, комсомольский билет остался у командира отряда т. Полякова П. О., о котором я пока ничего

не знаю. В городе работал на зерноскладе на Первомайской, выполнял отдельные поручения руководителей подполья».

Однако отсутствие билета как бы уравнивало в правах и виноватых, и людей, честно исполнявших свой гражданский долг. Иным действительно было очень трудно, а порою и невозможно сохранить билет: обыски, облавы, уничтожение города...

— Мы непременно найдем в этой куче, — продолжал Степанов, — добрый десяток людей, которым можно смело поручить работу... А может, и большую... Это и им поможет, и общему делу.

— Что ж, — раздумывал Ваня Турин, — в этом что-то есть. — И решительно добавил: — Надо тебя ввести в состав бюро!

От неожиданности Степанов даже остановился.

— Та-ак... — протянул он. — И откуда у тебя такая хватка?

II

В райкоме Турин с Власовым засели за составление какого-то отчета для обкома. Степанов прошел в маленькую комнатку.

Тепло. Тихо.

Если бы знать, что Турин с Власовым будут заняты долго, можно было бы воспользоваться моментом... Прислушался... «Наверное, еще просидят...» И Степанов вынул из кармана шинели вдвое сложенную тетрадь. Не часто он ее доставал, последний раз — в Москве...

На литературном факультете, который закончил Степанов, пишущий человек был не редкость. Сочиняли рассказы, стихи, критические статьи, но больше всего — стихи. Во-первых, их можно было напечатать в институтской многотиражке, во-вторых, стихи казались делом более простым, чем проза. Степанов написал мало: всего несколько стихотворений в институте до армии, несколько на фронте, пожалуй, больше всего после возвращения. Вот и за эти недели набралось кое-что, и, быть может, стоящее... Если сейчас не помешают, можно было бы сесть и записать теснившиеся в голове строки. Название — «Родимый край». Его Степанов подчеркнул. Потом мелким убористым почерком, чтобы больше вместились в тетрадку, стал заносить, кое-что перечеркивая и поправляя:

Вернулся я в родимый край,
В родимое село...
Родимый край,
Мое село
Снегами замело.
Лишь печки, выстроены в ряд,
Из-под снегов торчат.

Спешил, спешил в родимый дом,
Бежал — не тяжело!
Родимый дом,
Родимый двор
Снегами замело.

На месте дома и двора —
Шесть пней и два кола.

Хотел увидеть старый сад,
Что цвел весной бело,
А старый сад,
Отцовский сад
Снегами замело.

Хотел увидеть старый сад —
Увидел: пни торчат.

Все немец сжег. Все враг спалил...
Дотла и на корню.
Вот так бы
Родину его,
Как родину мою!

Прочел все заново и отложил тетрадку в сторону...
Слышал, как в окно большой комнаты постучали, но все это: стук,
шум отодвинутого стула, с которого кто-то встал, шаги, слова Власова:

«Это, наверное, он... Второй раз уже...» — доходило до Степанова откуда-то издалека. Но вот снова шаги. Голоса отчетливее:

— Здесь?

— Здесь...

— Здравствуй, Иван!

— Здравствуй...

— А Миши нету?

— Миша! — позвал Турин.

Степанов уже запихнул тетрадку в карман шинели — до следующего случая, — вышел в большую комнату. Он еще думал о том, что, быть может, последние строчки неправомерны: в них вроде бы сквозит слепая месть, но тут увидел Бориса Нефеденкова.

Нефеденков сел и посмотрел на Власова. Тот настороженно наблюдал за человеком, еще в первый свой приход вызвавшим в нем недоброе чувство.

Турину было ясно, что Нефеденков пришел поговорить с ним или с ним и Степановым, и думал, как это все-таки неловко: выставить — хотя бы и под благовидным предлогом — Власова, доброго человека, работающего инструктора, Куда его и за чем ни пошли, он прекрасно поймет, что они хотят остаться одни, что он, Власов, мешает им. Поэтому Турин очень обрадовался, когда услышал, как хлопнула калитка и по доскам от ящиков, набросанным в грязь, прозвучали чьи-то шаги. Значит, разговор сегодня не состоится. Потом кто-то дернул дверь в коридор, не вытирая ног, прошел его и открыл дверь на кухню... Еще мгновение — и в большой комнате стояли майор Цугуриев и лейтенант.

— Добрый вечер! Товарищ секретарь райкома, нам нужен гражданин Нефеденков.

«Гражданин Нефеденков... Гражданин!» Это что — арест? Турин в недоумении поднял плечи: как же так? За что?..

Степанов растерянно смотрел на вошедших.

Власов отошел в сторонку, чтобы не мешать.

Нефеденков поочередно посмотрел на своих друзей, хотел что-то сказать, нервно открыл рот, но ничего не проговорил.

Цугуриев кивнул ему: пошли! Тот нахлобучил шапку, поправил ее зачем-то и пошел. Лейтенант — за ним. За лейтенантом — майор.

Хлопнула одна дверь, вторая, третья, вот уже шаги по доскам... Скрип калитки... Все стихло...

— Может, просто расспросят... как меня? — убеждал себя и других Степанов, отмечая возможность ареста.

— За вами, Михаил Николаевич, товарищ Цугуриев не приходил, — заметил Власов.

— Тогда в чем же дело?! Значит, его в чем-то обвиняют?

Турин и Власов промолчали.

— Надо, Иван, завтра же тебе сходить к Цугуриеву, поинтересоваться... — предложил Степанов.

— Никуда я не пойду, — тихо, но твердо ответил Турин. — Кто я такой, чтобы вмешиваться в дела органов?

— Да не вмешиваться, а спросить!

— Разберутся, Миша...

Такое спокойствие, если оно было даже только внешним, казалось Степанову все же оскорбительным по отношению к товарищу.

— Сколько дней, как Нефеденков в городе? — спросил озабоченный Турин.

— Три дня, — подсказал Власов.

— Да... — мрачно вздохнул Турин. — Садись, Власыч, продолжим... Надо кончать и завтра отправить в обком, а то опять нагоняй получим...

Степанов надел шинель. Турин оторвался от бумаг и взглянул на товарища:

— Ты куда?

— Пройтись... — сухо ответил Степанов.

Происходило нечто, чего он не понимал, а отношения товарищей к происходившему — не принимал, не мог принять. Арестован человек, которого Турин как будто знает не один день, и вот нате: «Там разберутся!»

Когда Степанов очутился на улице, вечер уже наступил. Из-за непривычно низкого, удивительного в городе горизонта выползала луна.

Одно из пепелищ, перед которым торчал обгоревший пенёк толстого дерева, было все разворочено и чернело золой и углем сильнее других, выделяясь среди пустыни с печами, призывно вздымавшими в небо трубы. Кто-то, вооружившись железным прутом или палкой, ковырял в золе... Похоже, мальчик...

Степанов подошел поближе. Паренек в ватнике и огромных сапогах сосредоточенно, сантиметр за сантиметром, прощупывал прутом от железной кровати пепелище.

— Здравствуйте, Михаил Николаевич. — Паренек оторвался на минутку от дела, почтительно поклонился.

— Здравствуй... А-а! Леня!.. — узнал Степанов мальчика. — Не помню, прости, твоей фамилии...

— Леня Калошин я...

Калошиных в Дебрянске было столько, что Степанов посчитал бессмысленным вспоминать или расспрашивать, чей сын этот Леня.

— Что делаешь?

— Коньки ищу...

В немом удивлении Степанов невольно поднял брови, и, видимо уловив это, Леня пояснил:

— «Снегурочки»...

— «Снегурочки»? Так, так...

— Здесь вот была папина комната, здесь столовая, а вот здесь моя комната, — показывал мальчик. — В комнате, вон там, стояла тумбочка. Я коньки сначала вешал на голландку, чтобы просушились, а потом уже клал в тумбочку. Там они у меня и лежали. А сейчас никак не могу найти...

После всего, что здесь совершилось, из всего, что в доме было, человек хотел найти коньки «снегурочки»...

— Да-а... — только и мог протянуть Степанов.

Красно-желтая луна всходила все выше, выше, наполняя рериховским светом древний пейзаж.

— С кем же ты сейчас живешь, Леня? Кажется, мать вернулась?

— Живу с мамой, Михаил Николаевич... Сестра старшая эвакуировалась в Томск...

— В землянке живете?

— Нет, в погребе... Он у нас большой... — чуть не с гордостью ответил Леня. — Такого большого ни у кого не было... Заходите,

посмотрите...

— Спасибо... Как мама после возвращения?

— Мама?.. — Леня замялся... — Мама... болеет...

— Не тиф, надеюсь?

— Нет, не тиф, — с некоторой уклончивостью, которую не сразу уловил Степанов, ответил Леня.

— А что же у нее?

Леня неопределенно повел рукой, и Степанов не счел за нужное уточнять, все более убеждаясь в том, что Леня действительно «отошел».

— Как твой котенок?

— Бегаёт! — радостно сообщил мальчик. — А то ведь все лежал...

Степанов раздумчиво покачал головой.

— Бегаёт... Значит, коньки «снегурочки»? А ведь до поры, когда станет Снежадь, еще далеко!

— Так она все-таки станет! — просто ответил Леня.

Зима наступит, Снежадь станет, можно будет кататься на коньках, все должно идти как заведено от века!

Степанов подошел к мальчику еще ближе и провел рукой по его плечу:

— Ищи, Леня, ищи...

— Да и то: ведь они стальные! Не могли же они сгореть?

— Не могли, Леня...

Он был благодарен ему: маленький единомышленник, укреплявший его еще больше в собственных убеждениях.

Пока с неба будет светить солнце, пока будет существовать любовь — жизнь не уступит тлену.

Степанов оглянулся вокруг и глубоко, свободно вздохнул и еще раз благодарно взглянул на Леню Калошина.

Степанов продолжал знакомиться с детьми и их матерями, обходя сарайчики и землянки.

Сегодня он начал с жилищ неподалеку от школы. Хотя не было в городе ни универмага, ни школы, ни фотографии, как и многого другого, жители для обозначения места говорили: «Против школы...

Рядом с фотографией... Наискосок от универмага...» Сарайчики, подвалы, землянки...

Крайний сарайчик оказался, можно сказать, пятистенным. Первая половина раньше использовалась для хранения дров, из нее дверь вела во вторую, где еще недавно в подполе хранили картошку, капусту, огурцы. Пол, правда, жиденский сохранился, оконце тоже. Для того чтобы здесь можно было жить, сложили печурку, обмазали глиной стены, утеплили потолок...

Когда Степанов вошел, за столом сидели мурластая деваха и рыжеватый мужчина в старой, потертой шинели.

Отрекомендовавшись, Степанов спросил о детях.

— Нету. Мы да бабушка, — жуя картошку, ответила деваха.

— З-зачем ты г-говоришь неправду, Галя? — сказал мужчина. — Н-нет н-никакой бабушки.

Обычно, когда человек говорит заикаясь, кажется, что он нервничает, но мужчина говорил спокойно, с достоинством.

— Молчал бы! — прикрикнула на него деваха. — Без году неделя как живешь здесь, а мне этот сарайчик крови стоит! — И обратилась к Степанову: — Утеснить могут. А тут со дня на день небось дядька с теткой заявятся...

— Б-без нашего согласия, Г-галя, н-никого не вселят...

— Да хватит тебе. Много ты понимаешь!

Степанов взгляделся в мужчину попристальнее. Уж не Дубленко ли? Тот, по словам Бориса, тоже заикается. В памяти сразу всплыло все, что рассказал ему Нефеденков.

Мужчина опустил голову, понуро молчал. Деваха продолжала жевать картошку. Она была неприятна Степанову, и ему хотелось поскорее уйти, но возможность ближе познакомиться с Дубленко, прояснить что-то удерживала его.

Выдвинув из-под стола темно-зеленую табуретку, неловкое молчание нарушил мужчина:

— С-садись, товарищ Степанов. В ногах п-правды нет. — И добавил: — Будем знакомы — Дубленко.

«Ага! Тот самый...»

— Может, картошечки? — предложила деваха, когда Степанов сел.

— Спасибо, сыт.

Теперь Степанов совсем близко видел худое, бледное, с правильными чертами, чем-то даже приятное лицо Дубленко, и мысль, что этот человек мог быть преступником, показалась ему странной. Ему всегда казалось, что сущность человека накладывает свой отпечаток на его лицо.

— С-слушай, С-степанов, когда второй фронт откроют? — спросил Дубленко, доставая вилкой картошку из котелка и не глядя на Степанова.

Для многих понятие «второй фронт» предполагало конкретную помощь: вот взяли бы и помогли союзники, допустим, освободить Киев.

— Если бы я знал когда, — ответил Степанов. — Им что, над ними не каплет...

Дубленко обращался к нему на «ты», и в то же время это не выглядело ни панибратством, ни нарушением законов вежливости. Вроде вполне естественно: подпольщик и фронтовик, можно сказать, родные братья. Степанов принял эту форму обращения.

— Слушай, ты, говорят, из Нижнего Оскола? Котова некоего не знал там?

Не дрогнула в руке Дубленко вилка, ничего не изменилось в его лице.

— К-как же не знать? Жить в одном городе с ним, и н-не знать... А ч-чего это ты о Котове? Знал, что ль?

— Мир тесен... — уклончиво ответил Степанов.

Дубленко продолжал спокойно есть, густо посыпая картошку крупной серой солью.

— Куда столько сыплешь? — с упреком заметила деваха. — Где ее нынче добудешь?

— Добуду...

— Да уж ты добытчик известный! Много всего добыл...

Дубленко лишь вздохнул и показал глазами на Степанова: мол, при постороннем-то!.. Соображаешь?..

И сейчас же Степанову:

— Х-хороший ч-человек был Котов? А-а?

Все, что говорил Дубленко до сих пор, он говорил как бы между делом, словно гораздо важнее было достать из котелка картошку в целом и невредимом виде, посыпать ее солью, наконец жевать,

подставляя ладонь под подбородок, чтобы и крошка не пропала зря. А сейчас сказал и в упор посмотрел на Степанова: ну, что ты на это скажешь?

— Хороший... — согласился Степанов, чувствуя зыбкость своего положения. — А что с ним стало-то?

— Ис-счез с г-горизонта... С-с нашего, с-советского...

— Это как же понимать? С немцами, что ли, ушел?

— З-зачем с немцами? Мы же решили с-с тобой: х-хороший человек Котов! — И опять обернулся к Степанову: как, мол, не возражаешь? Хороший? Помолчав, добавил: — А кое-кто говорит, провокатором он был. Н-не слышал?

Степанов не ответил.

— Н-не с-смущайся, — по-своему расценил молчание Степанова Дубленко. — Одни б-будут считать его п-провокатором, другие — п-подпольщиком... Сложнейший был переплет... Долго еще будут ходить одни в обличьях других. Д-долго! В-внукам хватит р-разбираться! Вот так-то!

Дубленко доел картошку, провел ладонью по губам.

— Т-теперь до в-вечера, — с сожалением и тоской сказал он.

Так, считая часы от еды до еды, жили многие.

Дубленко поднялся, стал застегивать шинель. Уже у порога бросил Степанову:

— А ты даже знаешь, что я из Нижнего Оскола... От-ткуда узнал?

— Да люди говорят...

— Б-будут говорить, что я ч-чудеса храбрости п-проявил, — н-не верь, С-степанов. Что я жулик — т-тоже не верь... — И закончил: — Ну, я п-пошел...

Степанов по привычке неизвестно за что поблагодарил хозяйку и вышел из сарайчика вслед за Дубленко.

Да, пожалуй, разговор с Дубленко ничего не прояснил в истории, рассказанной Нефеденковым. Дубленко чем-то даже понравился Степанову: не глуп, держится с достоинством... А может, это впечатление вызвано некоторым чувством жалости, которое испытывал Степанов, разговаривая с Дубленко: тому с трудом давалось почти каждое слово. Теперь уже все окончательно запуталось: если Дубленко действительно провокатор, он, Степанов, своим вмешательством только насторожил его, если честный

подпольщик — оскорбил подозрением. Вот поди разберись... Не нужно было заниматься самодеятельностью. Ваня Турин, наверное, сказал бы по этому поводу: «Органы покомпетентнее нас с тобой... Нечего совать нос в такие дела...» Или что-нибудь в этом духе. И был бы прав.

«Ладно, посмотрим!..»

Степанов подошел к очередной землянке. Ступеньки у нее обсыпались, и к людям под землю вел пологий спуск. Осторожно, помня о раненой ноге, держась за холодные глинистые стенки, спустился Степанов к двери, постучал.

— Входите, чего там... — ответил женский голос. Степанов открыл тесовую дверь, обитую клочьями брезента, и, согнувшись, перешагнул порог.

— Садитесь... Кто вы? — услышал Степанов.

В углу лежала женщина, Степанов видел только светлое пятно лица. Не разгибаясь, он несмело, боясь что-нибудь задеть и уронить, ступил шаг, сел на табуретку. Объяснил, кто он такой, стал расспрашивать.

Женщина рассказывала о себе охотно: муж на фронте, сама болеет, дочка ушла в магазин за хлебом, скоро придет. Посетовала: вот лежит она неделю, а, кроме дочки и соседок, никого не видела. Но что могут рассказать такие же возвращенцы, как и она? А учитель должен много знать. И стала засыпать Степанова вопросами: «Когда окончится война?», «Неужели американцы не могут помочь по-настоящему?», «Когда будет второй фронт?». И снова выстраданное: «Когда же кончится, замирится война?»

Отвечая на вопросы, Степанов посматривал по сторонам. Теперь, по привыкнув к скудному освещению, нетрудно было определить, что землянка эта сделана из погреба. За полусгнившими досками, с продольными выемками от высыпавшейся трухи, неутомимо работали мыши или крысы. Их писк и злая, бесцеремонная возня слышались то из одного угла, то из другого.

Степанов прислушался.

— Мыши, — пояснила женщина. — Да ну их!

Она старалась не обращать на них внимания, но ради гостя постучала в стену. На минуту-другую писк и возня прекратились, но потом все началось снова.

— Не бояться... Знают, что ничего не сделаем... Кошку бы!

Но пока что Степанов видел в Дебрянске всего двух кошек: одну в подвале Веры, другую у Лени...

— Ничего съестного оставлять нельзя... Надо спрятать в котелок да кирпичом-двумя сверху прикрыть.

Свет в землянку проникал из маленького, продолговатого окошечка под самым потолком и поглощался темными стенами, темным потолком, темным полом... На полу, в углу, — кувшин, накрытый светлым прямоугольником. Степанов нагнулся, напряг зрение... То было несколько конвертов, слипшихся от сырости. Адрес на верхнем написан, показалось Степанову, знакомым почерком.

— Можно посмотреть? — спросил он.

— Что?.. Ах, это... Пожалуйста...

Степанов взял в руку конверты. Чернила расплылись, но все же можно было прочесть:

г. Дебрянск,
Орловская улица, 61,
Михаилу Николаевичу Степанову.
Смоленск, студ. городок, корпус 2,
комната 195, В. С.

В. С. — Вера Соловьева. Степанов повертел в руках письма. Три конверта, и ни один не распечатан.

— Откуда они у вас? — спросил он, сдерживая волнение.

— Видно, кому-то приносили, но их, наверное, в городе уже не было... Обычное дело... Мне молоко Дьяконова продавала, наверное, от нее... — Женщина опять постучала в стену. — Ух, проклятые!

Дьяконовы были соседями Степановых.

«Когда же это могло быть? — думал Степанов. — Мать, наверное, уже эвакуировалась... Я в Москве или на фронте...»

Потом поймал себя на мысли: «К чему все это? Какая разница, было это в сентябре или в октябре? И кому интересно, что написано в этих пахнущих сыростью, полуистлевших листках, в другое время оказавшихся бы такими нужными, дорогими?..»

— Простите, эти письма адресованы мне... — сказал Степанов.

— Вам? — удивилась женщина. — Скажите!..

Не зная еще, что он будет с ними делать, Степанов положил письма в карман.

Он не заметил, как вошла девочка лет тринадцати-четырнадцати, поставила сумку на стол. Степанов назвал себя и стал расспрашивать девочку: как зовут, что делает по дому...

— Маруся. Все делаю: варю, стираю, за мамой ухаживаю...

— А как, Маруся, школа? — осторожно спросил Степанов, глядя на эту худенькую, остроносую хозяйку в коротком пальтишке и больших ботинках.

Маруся опустила голову, словно она стала тяжелее, и не сразу ответила, избегая взгляда Степанова, отворачиваясь:

— Управляюсь...

Степанов не мог видеть, что она закусила губу и закрыла глаза, но понял, чего это будет стоить — пойти в школу.

— Боже мой... — тяжело вздохнула женщина.

Маруся засуетилась: переложила из таза на скамейку сырое белье, видимо готовя его для просушки, достала из-под койки матери несколько щепок и коротеньких поленьев, принялась мыть картошку: как правило, ее не чистили, а варили в «мундире»...

Степанов встал — больше тут делать нечего, сейчас он только стесняет эту маленькую хозяйку — и попрощался.

— До свидания, Маруся... Жду тебя в школе.

...Многое перемешалось в этом городе. На двери одного из сарайчиков Степанов заметил замысловатую медную ручку, украшавшую раньше одну из дверей его школы... А сарайчик — в одном конце города, школа — в другом. В чьей-то землянке, возле вокзала, обнаружил одинокий номер журнала «Пробуждение» из библиотеки, как о том свидетельствовал штамп, фотографа Бабянского, хотя нынешние владельцы журнала и фамилии такой никогда не слышали...

Теперь эти письма...

В парке Степанов присел на пень толстого дерева.

После разговора с Верой на почте единственным желанием Степанова было забыть все, чем недавно он так дорожил. Найти в себе силы забыть. Помочь ему должно сознание, что длинная эта история окончилась для него самым постыдным, как ему казалось, образом:

предстать перед Верой, давно уже связанной с другим, наивным человеком, возомнившим, что она должна дорожить чем-то очень и очень далеким!

Первым движением Степанова было порвать письма. Но что-то мешало ему.

Вдруг он услышал торопливые шаги. Быстро бежавшая Таня Красницкая остановилась перед ним. Коротковатое и узкое в плечах пальто распахнуто, лицо раскраснелось, сама запыхалась — не может слова сказать.

Степанов встал в тревоге:

— Что ты?..

— Нас выбрасывают... Всех!..

— Как «выбрасывают»? Кто?

Таня лишь махнула рукой и дернула его за локоть, увлекая за собой.

— Зою уже выбросили... Теперь других хотят... — задыхаясь, сообщила она Степанову. — Быстрее!..

Но Степанов отстал, и Таня оглянулась.

— Не можете? — не сразу дошло до нее.

Он не ответил.

— А я-то! Вот дура, забыла про вашу ногу, — спохватилась Таня.

— Кто же это самоуправствует? — спросил Степанов. — Ведь договорились!

— Из райисполкома...

— Мамин? — не поверил Степанов.

— Нет, нет!

— Беги! — Теперь он торопил Таню, которая шла рядом и старалась умерить свой шаг, подстраиваясь к Степанову, который спешил как мог. — Беги! Я сейчас... Скажи, что приду... что договорились с Маминым... — Он махнул рукой: — Давай!

Таня припустила.

Степанов оглянулся, но тщетно: конечно же никакой машины! Где там!

От горсада по Первомайской, а потом низиной до Бережка, Степанов знал, двадцать минут ходу. Добежать можно и за десять. Здоровому... Он же доковыляет своей «иноходческой рысью» черт знает когда!..

Человек не может жить, не приладив своего сердца к чему-то доброму. Таким делом, помогавшим Степанову, было участие в возрождении жизни. Жизни справедливой и самыми справедливыми средствами.

Когда он на фронте хоронил товарищей, вместе с другими опуская их на шинелях в наспех вырытые могилы, он прекрасно понимал, что гибель друзей, горе и слезы близких может оправдать только одно — та жизнь, за которую они отдали все.

С тех пор как Степанов впервые побывал на Бережке, он понял более отчетливо, что в человеке добра и любви больше, чем кажется на первый взгляд, чем мы высекаем из него.

Степанов уже бежал... Он расстегнул шинель, но и в расстегнутой было жарко. Вот благополучно — не оступился, не упал — миновал Тургеневскую, вот и более крутой спуск к низине, слегка прикрытый песком, выброшенным взрывом. Вот уже показался и мостик... Вдали — липы и школа...

Что там?

Ефим Петрович Соловейчик числился инспектором райисполкома. Но так как подлинной его сутью и выражением способностей была предприимчивость, то незаметно и неизбежно многие нити хозяйственной деятельности райисполкома оказались в его руках. Стройтрест сооружает бараки. Дело тормозится тем, что есть много гвоздей десятидюймовых и мало небольших. В полевой же почте № . х . (милый майор, который очень интересовался, не отыскались ли Поповы с Первомайской улицы) есть железные бочки, которые позарез нужны полевой почте № . у . (молчаливый капитан родом из Витебска, откуда и Ефим Петрович), где наверняка есть гвозди любых размеров. Теперь нужно, учитывая надобности организаций и склонности людей, связать воедино гвозди, бочки, интерес к Поповым и чувство землячества так, чтобы железные бочки оказались в хозяйстве капитана, для майора прояснилась бы судьба этих Поповых (бабушка, мать и внучка), а гвозди небольшого размера перешли бы из ведения капитана в ведение Троицына.

А кого послать в область не для представительства, а по «оперативным» делам? Сколько ни думай, лучше Ефима Петровича никого в райисполкоме не найдешь. А кому поручить, казалось бы, совершенно неразрешимое дело? А... Впрочем, перечисление заняло бы слишком много места.

Недели полторы Ефим Петрович отсутствовал в Дебрянске: он отпросился у начальства, чтобы съездить в Куйбышев и помочь эвакуированной семье. Жена серьезно заболела, дочь сбилась с ног, бегая то в больницу, то к частным врачам, то в поисках лекарств, сливочного масла, других продуктов. Никак не могли поставить окончательный диагноз. Отпросился на шесть дней, а пробыл в отлучке больше, но зато все уладил: перевел жену в хорошую больницу, добыл продукты, был наконец уточнен диагноз. Дело сделано! Но Ефим Петрович чувствовал себя виноватым перед Маминым, который отпускал его с неохотой и на эти шесть суток. Ефим Петрович пытался звонить из Куйбышева Мамину, чтобы попросить еще несколько дней, но соединиться с Дебрянском не удалось. Чувствуя свою вину, Ефим Петрович, быть может совершенно неосознанно, хотел ее искупить срочным исполнением какого-нибудь запущенного дела. Сдвинуть его с мертвой точки. Добиться. Отрегулировать. Покончить.

Он возвратился к вечеру и сразу же, хотя время было уже нерабочее, приступил к исполнению обязанностей, причем не обусловленных его весьма скромным служебным положением, а с общего, молчаливого как бы, согласия взятых им на себя. Черт возьми! Его столько времени не было, а некоторые дела так и не сдвинулись с мертвой точки. Как же так можно?! Вот, например, школа. До сих пор людей не выселили! Ну и волынщики!

Ничего не зная о решении Мамина и не поговорив с ним, но зато прекрасно помня прежнее жесткое намерение, Ефим Петрович тут же прихватил милиционера и отправился на Бережок. Милиционер Маркин, усталый человек лет пятидесяти пяти, прекрасно знал, что указание Ефима Петровича есть указание райисполкома. Сколько раз он получал задания от этого юркого, небольшого ростом, хилого на вид и двуязычного на самом деле человека в старой шинели! От этой шинели, казалось, так и пахло порохом и дымом сражений.

Ефим Петрович и Маркин заявили в школу, ничего не желая знать и ничего не желая слушать. Уж столько раз говорилось о необходимости передать здание школе! А здание до сих пор занято жильцами! Вон тряпки в окне!

— Завтра к утру помещение освободить! — негромко, но внушительно сказал Ефим Петрович, войдя в коридор и ни с кем не поздоровавшись.

— Граждане, — скучным голосом поддержал его Маркин. — Сколько же можно? Немыслимо же это! Ни у кого терпения не хватит!

Часть жителей уже перебралась в землянки. Остались те, для кого переезд был наиболее трудным делом. Женщины и старики подумали, что городские власти по каким-то причинам изменили свое прежнее решение, и стали просить дать им еще денька два-три.

— Никаких деньков! — строго сказал Ефим Петрович. — «Деньки»! У вас недели были до этого!

— Товарищ Мамин сказал нам... — пыталась было объяснить одна из женщин.

Ефим Петрович прекрасно понимал, что вступить в какой-либо разговор или, не дай бог, спор означало ослабить свои позиции, и сейчас же прервал женщину:

— У товарища Мамина сотни дел. И я вам передаю не свое мнение. Освободить помещение к утру!

Пожалуй, большинство или по крайней мере некоторые смирились бы с этим, и Ефим Петрович прекрасно уловил настроение людей. Но Зоя сказала:

— Я к утру помещение не освобожу. Будете сами выбрасывать меня завтра.

— Тебя-то мы выбросим сейчас! — заявил Ефим Петрович: медлить было нельзя, эта баба показывала дурной пример, могла всех перебудоражить. — Товарищ Маркин!

Товарищем Маркиным Ефим Петрович называл милиционера в случаях, когда нужно было подчеркнуть, кто у кого находится в подчинении, и когда наступал момент решительных действий.

Маркин не столько увидел, сколько ощутил на себе острые взгляды доброго десятка беззащитных людей.

— Я не фашист, чтобы людей... — проговорил Маркин.

— Что? Выходит, я — фашист?! — закричал Ефим Петрович. — Это я — фашист?! Ну, товарищ Маркин!..

Ефим Петрович в бешенстве кинулся в одну сторону, в другую:

— Ну, товарищ Маркин!.. — Потом вдруг остановился: — Если вы милиционер, то подчинитесь Советской власти. Если нет — сдайте оружие!

Все это было явно чрезмерно, но Ефим Петрович, человек вообще осторожный и предусмотрительный, сейчас уже не мог обуздать себя.

— Сдайте оружие!

— Не вы его мне вручали... — буркнул Маркин.

— Что?!

— Не вы его мне вручали, — более отчетливо проговорил Маркин. — И вы — не Советская власть: она так не поступает.

И без того большие глаза Ефима Петровича округлились, стали еще больше. Какой-то частичкой отравленного запалом гнева сознания он понимал, что зарвался. Но что сейчас делать?

— Значит, вы отказываетесь подчиниться? — спросил Ефим Петрович, ни на что не надеясь, просто чтобы заполнить паузу, выиграть время, за которое в голову могло прийти мудрое решение.

Маркин молчал. «Военное время, а он!..»

— Отказываетесь? — почувствовав брешь, вдвигался в нее Ефим Петрович. — Так?! Да?!

— Я подчинюсь, — с трудом двигая пересохшими губами, проговорил Маркин. — Но рапорт на вас я подам.

Он поискал ничего не видящими глазами Зою:

— Где ваше имущество?

— Вон, — кивнула Зоя в угол и добавила: — Не пачкайте рук, Маркин...

Она прошла в угол, наклонилась и, ухватившись за спинку железной кровати с наваленным тряпьем, в неистовстве поволокла ее к двери.

Все молча и неподвижно смотрели на нее.

Через несколько минут она вернулась за тумбочкой, и вот уже холодноватый ветерок шевелит истрепанное одеяло на железной кровати, на тумбочке — салфетку с зубчиками по краям, любовно вырезанную из газеты, листья невысокого фикуса, кусочек розового

платья, высовывавшегося из небрежно закрытого чемодана... Все Зоино имущество.

Шумная, в чем-то резкая, а подчас и вздорная, сейчас Зоя вызывала у всех только сочувствие и жалость. Ее окружили женщины и стали осторожно уговаривать как человека, потерявшего над собою власть:

— Зачем ты так, Зоя?..

— Куда ты сейчас денешься?..

— Давай, милая, все аккуратненько поставим на место... Поможем тебе, перенесем...

Зоя, полнотелая, румяная, словно жила на добрых родительских харчах, стояла молча и твердо, ровным счетом ничего не слыша.

— Боже! Не тронулась ли?.. — с испугом спросил кто-то.

— Господи...

Ефим Петрович, недовольный собой и тем, как повернулось дело, мелкими быстрыми шажками уже шел по аллее. За ним, в отдалении, подчеркивавшим, что он не имеет к этому человеку отношения, угрюмо двигался Маркин.

В это время и появился запыхавшийся Степанов. Пробегая мимо Ефима Петровича и Маркина, Степанов понял, что вот эти двое и повинны в выселении. Остановился...

— Что тут происходит?.. В чем дело?.. — проговорил он, еле переводя дух.

Ефим Петрович лишь небрежно повел головой, но даже не обернулся, не замедлил шага. Маркин, считавший, что обращаться нужно не к нему, тоже не ответил.

— Товарищ Маркин? — нетерпеливо спросил Степанов. Милиционер кивнул на Ефима Петровича.

Степанов подошел к Соловейчику:

— Что здесь происходит?

— Занимайтесь своим делом, гражданин, — ответил тот не останавливаясь.

— Погодите... Вы что же тут наделали?.. Разве Мамин отменил решение?..

Ефим Петрович на этот раз обернулся:

— Русским языком говорю, гражданин: занимайтесь своим делом! «Не свое дело? Нет! Свое! Свое!»

— Кто вы такой? — сдержанно спросил Степанов. За сдержанностью — неприязнь и вот-вот готовый прорваться наружу гнев. Он давно заметил стоявшую под ветром кровать, тумбочку, фикус... — Разве решение райисполкома отменено? Что вы делаете? Людей — на улицу?!

На миг показалось, что стоит сказать еще две-три фразы, и этих администраторов можно вразумить: одумайтесь, женщин и детей — на произвол судьбы!..

Но все оказалось совсем не так.

— Слушайте, вы!.. — теперь уже с угрозой крикнул Ефим Петрович. — Еще раз по-русски говорю: займитесь своим делом! Учите детей арифметике и грамматике! Не вмешивайтесь!

Шагнув вперед, Степанов схватил Ефима Петровича за шиворот и как следует потрянул. Сукно шинели Соловейчика затрещало.

— Идите и извинитесь перед людьми! Позор!

Маркин, благо к нему не обращались, пошел своей дорогой. А Степанов изо всех сил толкнул Ефима Петровича к застывшим, смятым женщинам.

За дискредитацию Советской власти Захаров пригрозил Соловейчику исключением из партии, учителя тоже вызвал к себе для объяснений.

— Ну, Степанов!.. — встретил он его укором. — Вы тогда обиделись на меня. А это что иное, как не партизанщина в условиях фронтового города?!

Степанов стоял молча, словно обвинение это было обращено не к нему или словно он его не слышал.

— Может, — спросил он как можно спокойнее, — сначала мне позволено будет сесть? Вот хотя бы на эту табуретку... Благо она все еще крепкая... — И он потрогал ее, словно определяя: да, действительно крепкая...

Сколько раз в этом кабинете Захаров устраивал разносы — справедливо и, случалось, несправедливо, — но никто так не держал себя с ним. Таких не помнил...

Степанов меж тем сел на табуретку и сказал:

— Николай Николаевич, вы прекрасно знаете, что Дебрянск не фронтовой город. Зачем, спрашивается, эти ненужные преувеличения? Что касается инцидента у школы — дело ваше судить о нем...

Захаров, постучав пальцами по столу, еще раз посмотрел небольшими серыми глазами под редкими бровками на Степанова.

— Иначе поступить было нельзя, уважаемый учитель? — спросил он, садясь.

— Черт его знает, — признался Степанов. — Может, и можно иначе... Но как именно? — Он спрашивал не столько Захарова, сколько самого себя: «В самом деле, как нужно было поступить?» — Я, Николай Николаевич, другого ничего не нашел, да и искать было некогда...

— Ладно, — кончая с инцидентом, решил Захаров. — Как у вас самого с жильем?

Степанов хотел ответить, но ему помешали. Мужчина в очках шумно ввалился в кабинет и остановился, почувствовав некоторую неловкость за вторжение.

— Что случилось? — спросил Захаров.

Вошедший покосился на Степанова, тот, видимо, смутил его, но, махнув рукой, ответил:

— Николай Николаевич, вчера было девять, сегодня утром — четырнадцать.

Захаров подошел к окну и, глядя на пустыню, простершуюся за ним, спросил:

— Угроза эпидемии?

— Да.

— Так и говорите.

«Тиф!» — догадался Степанов.

Захаров по-прежнему стоял у окна.

— Дождались! — сказал Захаров с упреком себе. — Что предлагаете, всезнающая медицина? Что нужно делать в таких случаях?

— Отделить больных от здоровых... Немедленно! Хотя бы из землянок!

— «Хотя бы!» Вы говорите так, Виталий Семенович, будто у нас кроме землянок и во дворцах живут! Стало быть, нужен новый

больничный барак?

— Да.

— Отдадим весь лес, но хватит ли?.. — как бы вслух раздумывал Захаров. — Боюсь, что нет. За рабочей силой обратимся в воинскую часть. Снова — в часть...

Обращение за помощью всегда было для секретаря райкома делом трудным и щекотливым. Командование воинской части ему никогда не отказывало, хотя просьбу иной раз выполнить было непросто: ведь у армии были свои заботы. Именно потому, что Захаров дорожил доверием и готовностью в любую минуту прийти на помощь, именно потому просьбы и были трудным делом. Но ведь городу грозит эпидемия. Надо просить. Лесу и в воинской части нет, пусть хоть солдат дадут.

Только сейчас Захаров сел за стол, взял ручку, бумагу, но, вместо того чтобы писать, стал называть Виталию Семеновичу, кого он должен немедленно собрать к нему... Виталий Семенович повторил фамилии и побежал к дверям. Телефон был только у Захарова и на почте.

— Минутку, Виталий Семенович, — остановил его Захаров. — Обслуживающего персонала у вас по-прежнему не хватает?

— Сбилась с ног обслуга... Полтора человека!..

Захаров горько усмехнулся:

— Живых людей — в виде дробы?.. Дошли!

— Дойдешь, Николай Николаевич. Таня еще совсем девчонка, другая сестра с палкой — рана обострилась. Но не уходит с поста...

— Как ее фамилия?

— Кленова Настасья...

— Кленова... Кленова... — пробовал вспомнить Захаров. — Нет, не знаю... Отметить бы чем-нибудь. — И он записал фамилию на листке бумаги. — Вот что, Виталий Семенович. Все мы твердим, что людей нет, но люди прибывают каждый день. Среди них те, кто с удовольствием пойдет работать к вам: карточка побольше, да и в землянке меньше будешь торчать. Плюс, конечно, патриотизм. Только этих людей проинструктировать надо, я не говорю уж о курсах...

— Кто будет бегать, искать? И так почти весь персонал ночует в больнице.

— Да-а... Вопрос! Но придется что-то изобретать. По радио объявления не сделаешь.

— Мы и так всё что-нибудь да изобретаем. Больше всего велосипеды, конечно.

— Ладно, поговорим. — И Захаров махнул Виталию Семеновичу рукой: спеша, мол!

Через полчаса собрался народ и Захаров предоставил главному врачу больницы две минуты для сообщения о новой беде. А сам все время думал о лесе. Об этом лесе, этих бревнах у него мелькнула уже какая-то мысль, но вот не закрепились... Откуда она возникла? Бревна... Бревна... Не лес, а именно бревна...

Товарищи выступали, вносили предложения. Захаров слушал и думал... Наконец вспомнил: полицаи! Ему сообщили, что полицаи как-то заготовили себе в лесу сосновые бревна для постройки новых домов. Заготовить-то заготовили, а вывезти не успели! Сейчас этим лесом можно было воспользоваться... Тогда он почему-то не вдумался в сообщение, не расспросил подробно. Сколько бревен, где — далеко или близко? Неизвестно. Теперь следует узнать, сколько там заготовлено, далеко ли от дороги, есть ли мосты... Можно ли вывезти?

О происшествии у бережанской школы, словно по радио, быстро узнал весь город. Оно отчасти и подтолкнуло к более решительной помощи переселенцам. Сооружение землянок нужно было кончать!

Остаток того памятного для Степанова дня солдаты и четырнадцать комсомольцев, с трудом собранных Власовым, помогали рыть землянки, оборудовать под жильё погреб, перетаскивать вещи и устраиваться людям на новом месте.

Степанов попытался помочь солдатам, взялся за лопату, но ничего у него не выходило.

— Слушай, Степанов, ну куда ты лезешь со своей ногой? — подошел к нему Андрей Сазонов. — Зачем это? Мы, что ль, не справимся? Вот, если хочешь, — в голосе солдата появилась просительная интонация, — напиши, будь другом, моей девушке письмо понежнее... Понимаешь?.. С какими-нибудь там красивыми

выражениями... Может, из стихов что-нибудь ввернешь... Их брат это любит, стихи... Ты же — учитель, а я? Колхоз!

Сазонов достал из кармана гимнастерки приготовленный треугольник с уже написанным адресом. Степанов смотрел на него и думал, что вот и он когда-то писал такие... И матери, и товарищам, и Вере... В одно из писем вставил и неизбежное в то время «Жди меня», ставшее для некоторых чуть ли не молитвой или заклинанием... Но и «Жди меня», как оказалось, не помогло...

«Вера, конечно, все письма порвала...»

Машинально Степанов взял треугольничек, развернул — белый лист.

— Ты сочини, а я потом перепишу... — просил Сазонов.

— Андрей, — как можно мягче ответил Степанов, — такие письма сочиняют сами. Передоверить такое никому нельзя, даже Пушкину.

— Но я же тебя прошу! Что тебе стоит?! — напористо просил Сазонов, совершенно не понимая, из-за чего Степанов отказывается удружить. — Ты же вуз кончал, а я и самого Пушкина, признаться, толком не прочел... Тебе и карты в руки! Я же тебя прошу как человека! Ты-то своей, наверное, писал их десятками!

Что было делать? Объяснить — никакой возможности. Только обидится, поняв одно: не хочет выручить, хотя ему это раз плюнуть...

— Не могу я, — все же сказал Степанов. — Не могу...

Наверное, в его голосе непроизвольно проскользнуло что-то тревожно-печальное. Сазонов напряженно всмотрелся в лицо Степанова.

— Что, — неуверенно спросил он, — не дождалась?.. Увидела, что поломанный, и отошла? А?

Степанов молчал, не зная, что ответить.

— Бывают же стервы! А? Ты мне покажи ее, если она здесь, скажу ей пару слов. Впрочем, таких никакими словами не проймешь...

— Прекрати!.. — тихо потребовал Степанов. — Все сложнее... Она не виновата... — объяснил наконец он и сказал, чтобы покончить с этой темой: — Пойду посмотрю, что другие делают.

Работали горячо. Но стало ясно, что и за этот день не кончат. Вечером горели костры — теперь немцам не до разбитого Дебрянска, — быстрее суетились люди, быстрее сновала то в одну

сторону, то в другую машина из воинской части, однако управились лишь к середине следующего дня.

Троицын немедленно отрядил в школу пятерых плотников, и работа пошла.

Через несколько дней школу приведут в порядок и она примет учеников. И когда Степанов представил, как полуголодные Маруси, Кати, Лени, Иры входят в классы, у него защемило сердце. Он не мог забыть ни о том, чем пожертвовали женщины и старики ради школы, ни о том, что значит для многих больных отпустить детей, ставших единственными помощниками, в класс, ни о том, что значит для самих ребят заниматься в условиях Дебрянска. Не мог забыть и думал, чему и как он должен учить, чтобы оправдать эти бесконечные жертвы и тяготы. Сюда бы Горького... Макаренко, чтобы они сказали те слова, которые вряд ли найти ему.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ



1

Степанов стоял на перекрестке и смотрел вдоль Первомайской.

Пожилая женщина тащила тележку, девочка сзади, уперев палку в задок, помогала матери. На тележке лежал узел, к нему был привязан другой, поменьше, наверное, с продуктами, и котелок. Под узел подоткнуты сухие ветви и береста. Можно остановиться у ручья, у колодца, у речки и отварить себе картошку, подгнившую, но все же съедобную. Поев, немного отдохнуть и двинуться дальше, на восток.

И шли. По одному, по двое все еще возвращались на пепелища, в разоренные села и деревни.

— Куда же вы? — спросил Степанов.

Женщина остановилась, медленно выпрямила затекшую спину.

— Мы — любаньские... Не слышали, как там?

— Сожгли, — тихо сказал Степанов.

Не однажды слышала женщина о судьбе своего села, но и на этот раз не могла удержаться от вопроса. А вдруг то, что говорили раньше, окажется неправдой.

— Сожгли! — горестно вздохнула она. — Ослобонил, ирод, от всего ослобонил, как и обещал...

— Откуда идете?

— Из-под Гомеля... К Гомелю ирод пригнал... Наши выручили...

Помолчали.

— А все же вертаться надо домой... Пошли, Зина...

Она взялась за веревку и рывком стронула тележку с места. Беженцы двинулись дальше.

Медленно и упорно тащили они свой жалкий скарб к селу, отличавшемуся от тех, что остались позади, разве только тем, что под пеплом, везде одинаковым, была родная земля. Манило еще и другое: туда же, если остались в живых, вернутся и родственники, и добрые знакомые, с которыми легче бедовать это первое трудное время.

Сколько дней и сколько ночей перестрадали они, бредя мимо пепелищ и развалин к такому же пожарищу у себя в Любани? Неслышный зов родных мест влек мощно и неудержимо.

Шажок за шажком удалялись по Первомайской две фигуры.

Степанов с грустью смотрел им вслед. Как все переплелось — будничное и в то же время торжественное и необыкновенное...

Он узнавал в этих упорных, безответных людях своего отца, свою мать, хороших знакомых; и они, и сам он по крови были каплей людского океана, носившего имя — Россия.

С горькой радостью вернулась бы сюда и мать, жившая у тетки в Саратове. Да как вернешься? Голову, теперь, наверное, уже совсем седую, приклонить здесь негде, приткнуться некуда...

Хотелось бы, конечно, чтобы в Дебрянске за неделю появились жилые дома, хотя бы такие, какие здесь были до войны, двухэтажная школа с прекрасно оборудованными кабинетами, клуб... Хотелось бы, но так не могло быть. Фронт двигался на запад, возвращая к жизни десятки городов, тысячи поселений, и многие из них стали такой же пустыней, как Дебрянск! «Хлеба! Бревен! Кирпича!» — зывали они. Бесконечные эшелоны тянулись из Сибири, Средней Азии, с Урала. Кроме танков, снарядов, «катюш» они везли доски, тес, гвозди, стекло и кирпичи, кирпичи... Пятнадцать старинных крупных русских

городов будут восстанавливаться в ударном порядке, но Дебрянск, как и многие ему подобные, не был крупным, не был областным, не был административно важным... Один из 1710. У таких городов своя судьба. Дом за домом, учреждение за учреждением... Решать надо одну проблему за другой, пусть на первый взгляд маленькие, ничтожные, но совершенно необходимые...

В школе на Бережке, куда пришел Степанов, еще стоял запах человеческого жилья, где один к одному совсем недавно теснились люди, держали небольшие запасы полусгнившей картошки, сырых дров, капусты. Но уже властно пахло и другим — смолой, махоркой: плотники острыми рубанками стругали доски, и свежие стружки, спутники добрых начинаний, были разбросаны по грязному полу.

В другой половине на груде досок сидел Владимир Николаевич, еще раз уточнял планировку школы. Степанов уже видел этот листок из тетради, где толстым синим карандашом был начерчен прямоугольник. Сначала этот прямоугольник был разбит на классы тоже синим карандашом, потом — обычным черным. Это и был утвержденный Галкиной наилучший вариант. Собственно, мог и не приходить сюда старик Воскресенский, но ему как-то не по себе было сидеть в сарайчике, когда так энергично двинулось вперед его кровное дело. Степанов пришел за тем же: посмотреть, приглядеть, помочь, если надо... Не думал увидеть Владимира Николаевича, но его присутствию обрадовался.

Старый учитель выпрямился, посмотрел на Степанова:

— Ну, Миша!.. — и не договорил, потому что сказать все, что он чувствовал сейчас, было просто невозможно. Но Степанов понял Владимира Николаевича: вот и школа, скоро можно начинать...

Степанов присел рядом. Они поговорили о тетрадях, чернилах, карандашах... Настоящих тетрадей мало, придется делать самим из газет, обоев, обрывков бумаги... Ничтожно мало учебников... А программы?... Галкина говорила, должны прислать, но когда-то еще...

За окном послышался стук колес телеги по твердой земле, женский голос:

— Тпр-ру! Отдыхай, Зорька... Кто-нибудь есть тут?

Степанов и Владимир Николаевич вышли на крыльцо. Закутанная платком тетка в ватнике и разбитых сапогах не спеша слезала с телеги, груженной кирпичами: одна из печей в школе нуждалась в ремонте.

Все трое стали таскать их в школу. Тетка, не знакомая ни Владимиру Николаевичу, ни Степанову, наверное, какая-нибудь пришедшая из деревни или занесенная сюда вихрем войны, сбрасывала кирпичи в угол, учителя складывали их штабелями. Особенно старался Владимир Николаевич.

Подняв кирпич в воздух таким элегантным жестом, словно он имел дело о некой красивой и легкой вещицей, Владимир Николаевич сказал:

— Пропорции кирпича — одно из замечательных открытий. Один к двум — ширина и длина, один к двум — толщина и ширина. Только при таком соотношения возможны те комбинации, без которых немислимо строительство и многие архитектурные формы прошлого. — Владимир Николаевич задумался. — Да, вероятно... Вот, кстати... София Киевская построена из так называемой плинфы, кирпича других пропорций: 27 на 31 и на 3,4 сантиметра... Ты знаешь об этом?

— Нет, Владимир Николаевич...

— Не являются ли эти пропорции определяющими стиль сооружений? София Киевская — это одиннадцатый век, у нее своя красота. У замечательных зданий, построенных позднее из обычного кирпича, свой стиль и своя красота. А?

— Не думал об этом, Владимир Николаевич... — отозвался Степанов.

— А надо и об этом думать, — не то в шутку, не то всерьез сказал старый учитель.

Тетка в платке слушала-слушала, поглядывая искоса на этого человека, говорящего о непонятном ей и очень отвлеченном, и вдруг заметила:

— Карточка у вас, наверное, поболее, и горя вы не видели...

Владимир Николаевич вопросительно посмотрел на тетку, потом на Степанова, но смирил обиду, разгадав состояние совсем еще не старой, но выглядевшей старухой женщины.

— Возможно...

— То-то и оно-то. — Тетка села на телегу, дернула вожжи: — Трогай, Зорька! Н-но!

Старый учитель проводил взглядом женщину, увозившую свое горе, и заметил:

— У всех беды...

Степанову нужно было зайти в землянку возле собора, Владимиру Николаевичу — к Галкиной. Прошли больше полпути вместе, потом расстались.

Собор на крутой горке над узенькой Снежадьё был не самым древним храмом Дебрянска. Виденье — церковь четырнадцатого века, снесли еще на памяти Степанова и много других снесли, а ничем не примечательный, разве только своей величиной, собор остался. Домов, стоявших поблизости, не было, и собор сейчас выглядел еще более величественным, четко вырисовывался на сером небе, властно господствуя над округой. Непростого эффекта этого строители добились огромными усилиями. Храм был построен на зарубе, насыпной земле, еще более вознесшей его громаду над Снежадьё, площадью, городом, заречьем... Сколько земли перекопали, сколько тачек с землей перетасили наверх, сколько людей полили эту горку своим потом!..

Много раз бывал здесь Степанов до войны. С горки катались на салазках, на лыжах... Сейчас деревьев здесь было меньше и сама горка не казалась такой уж крутой...

У входа в собор стояли две старухи, одна из них учтиво поклонилась Степанову. Тот ответил, пытаясь припомнить, кто она? Несомненно знакома, но кто?..

Степанов зашагал дальше: дела, дела, дела!.. И вдруг остановился, словно натолкнувшись на невидимую преграду. Из-за угла придела, носившего имя какого-то святого, показался Нефеденков.

Сначала Степанов глазам не поверил: может, кто похожий? Но человек шел теперь совсем близко и не мог быть никем иным, кроме Бориса Нефеденкова. Ага! Теперь понятно: за ним шагал невозмутимый лейтенант, который вместе с Цугуриевым арестовывал Бориса. Куда-то водил...

Нефеденков — руки в карманах пиджака, согнутый, с втянутой в плечи головой — прошел в нескольких шагах от Степанова. Не повернулся, не посмотрел... Не хотел? Или в таком состоянии, что не заметил?

— Борис! — окликнул его Степанов.

Нефеденков повернул голову, узнал и кивнул: я, мол... И опять словно ушел в себя, отгораживаясь от всего и всех.

Двое удалились, а Степанов все стоял на прежнем месте.

После того как Цугуриев и лейтенант в здании райкома арестовали Нефеденкова, Степанов мысленно не раз возвращался к происшедшему. Что такое сделал Борис? В чем его обвиняют? Неужели Турин, так, в общем, спокойно отнесшийся к аресту Бориса, поверил в виновность своего товарища по школе, по партизанской землянке? Это хладнокровно брошенное «Разберутся...». Конечно, разберутся, невинного не будут держать за решеткой. Но неужели сам Иван ни в чем не уверен? Ни в том, что Борис — патриот, ни в том, что Борис — преступник? Почему нужно разбираться специальным органам, чужим людям?

Несколько раз подступал Степанов к Турину с этим разговором, но ни разу Иван не поддержал его.

Каждый раз он слышал от Турина: «Дело сложное... Есть более компетентные люди... Сложный был переплет... Конспирация кроме достоинств имеет и недостатки: ею можно злоупотреблять... Разберутся...»

Получалось, он допускал, что Нефеденков все же мог быть виновным, мог быть преступником. Вот эта неопределенность, нежелание или невозможность сказать свое твердое «да» или «нет» и не устраивали Степанова.

Ведь вот Владимир Николаевич, узнав об аресте своего бывшего ученика, первым делом спросил: «В чем его вина?» Когда же Степанов ответил, что не знает и что Турин ничего толком не сказал ему о Нефеденкове, пожал плечами: «Не понимаю! Как же так?... Это какая-то ошибка!..»

Степанов все еще видел перед собой длинное, тонкое лицо Бориса с выражением отрешенности, отчужденности от всего мира... Видел и этот взгляд, в котором не было обиды, а лишь одна боль...

Степанов хорошо знал, как невообразимо трудно бывает иногда разобраться в делах совсем недалекого прошлого.

Все непросто... Однако наличие судов, народных и самых справедливых, других организаций и учреждений, обязанных давать

оценку людским проступкам, не освобождает от необходимости иметь собственное мнение об этих проступках. Не переводят ли такие, как Турин, свою совесть на иждивение и но начинает ли она обрастать жирком, а кое у кого и толстой, не пробиваемой ничем шкурой?

Так размышлял Степанов, прерывая раздумья и вновь возвращаясь к ним.

Поздно вечером, вернувшись из района, Степанов сказал Турину:
— Видел Нефеденкова. Вел его куда-то лейтенант...

Иван уже лежал, но еще не спал. Он устало закрыл глаза, потом взглянул на Степанова: «Опять ты свою музыку заводишь?»

— Куда же он его вел?

— Не знаю...

— Из города, в город?

— В город... — ответил Степанов и в упор спросил: — Ты считаешь Бориса виноватым?

— В какой раз начинаешь ты этот разговор! — недовольно откликнулся Турин.

— И в какой раз ты не хочешь мне ответить!

— Что я тебе отвечу, когда не знаю?

— Елена Васильевна, твоя мать, может совершить преступление перед Родиной? Хоть на этот вопрос ответишь точно? Может?

— Не может...

— Отец?

— Не может...

— Слава богу! — порадовался Степанов. — Значит, есть такие, в ком ты абсолютно уверен! А Нефеденков может быть и патриотом, и предателем?

— Нас действительно предали, Миша... Это не мое больное воображение... Попасть перед самым приходом наших в такую мышеловку! — с досадой сказал Турин.

— Кто предал? Борис?

— Не знаю. Возможно, и не он совсем... Храбрый партизан был...

— Тогда нужно идти и сказать свое мнение... Оно же поможет Борису...

— И без нас знают и разберутся.

— Позиция! — с иронией заметил Степанов.

— Если считаешь, что вмешательство может что-то дать, сходил бы к Цугуриеву сам! Вместо того, чтобы обвинять меня в трусости и бессердечии!

— Мне сходить?

— А почему бы и не тебе? Ты, хотя и не занимаешь большого поста, числишься в активе. Тебя знают, ценят...

Степанов не был уверен, что его разговор с Цугуриевым поможет Нефеденкову, но теперь выходило, отступить некуда.

— Я схожу, — решительно ответил он, — хотя и не являюсь секретарем райкома и не жил с Нефеденковым в одной партизанской землянке...

— Сходи...

Они помолчали, недовольные друг другом. Ожесточение и недовольство не проходили, и спор мог снова вспыхнуть в любую минуту.

— В том-то ж дело, Миша, — заговорил примиряюще Турин, — что ни тебе, ни мне не надо никуда ходить...

— Почему?

— Вредная и никому не нужная затея... Мы, актив, должны поддерживать авторитет друг друга, а не подрывать его. Не вмешиваться в дела других, иначе получится, будто один ответственный работник не доверяет другому... Цугуриев разберется в этом деле лучше нас с тобой и без нашей помощи...

— Я все понял, — зло сказал Степанов, подчеркивая, что он не согласен и что они ни о чем не договорятся.

— Ты знаешь, где Нефеденков был эти недели? Ты знаешь, почему он уцелел, а Акимов попал в лапы фрицев? Можешь что-нибудь ответить?

— Так вот случится что-нибудь со мной, а ты будешь думать: почему он это, почему он то? И оправдывать любые обвинения... Как будто знаешь меня первый день!

Турин привстал на кушетке:

— Успокойся! Слишком много эмоций... Далеко на них не уедешь!

Степанов подошел поближе к Турину:

— А я и не думаю ни на чем и никуда уезжать! Дай бог остаться человеком и в школе с делами справиться!

Наверняка они разругались бы окончательно, но пришел Власов и еще из кухни закричал:

— Добыл, Иван Петрович!

Не раздеваясь, он прошел через «залу» и показал Турину небольшой сверточек.

— Сейчас заварим и будем вас лечить!

Власов быстро разделся, стал возиться с керосинкой.

Что с тобой, Иван? — спросил Степанов, отнюдь не показывая, что он ищет с Туриным примирения.

— Ничего особенного...

— Конечно, «ничего особенного»! — послышался голое Власова из кухни. — «Ничего особенного»! Тьфу, черт! Спички... «Ничего особенного»!

Наладив керосинку, Власов поманил Степанова к себе. Тот вышел от Турина в темную «залу», закрыл дверь.

Власов гордился своим начальником, считая его превосходным, мужественным человеком. Даже при слабеньком свете, который проникал из комнаты (перегородка не доходила до потолка), заметно было, что глаза Власова поблескивали, а весь он переполнен предвкушением радости и гордости, которые охватят и Степанова, стоит лишь ему, Власову, рассказать о своем начальнике.

— Ну, давай ври, — бросил Турин из-за перегородки, адресуясь к Власову. — Только покрасивее!

— Иван Петрович! Я же то, что было!.. — ответил Власов и кивнул Степанову: видите, мол, — и скромный к тому же!

Упреждая Власова, Турин сказал:

— Попал в воду, вымок... Сейчас Власыч будет лечить меня малиной, чтобы насморка не было...

Власов прямо-таки воздел руки к небу, взывая к справедливости.

— А выстрелы! А погоня!

— Хватит, Власов, — спокойно и строго сказал Турин. — Дай мне малины, если можно, и ложись спать...

Когда укладывались, инструктор все же выбрал момент и рассказал Степанову о происшествии.

Вечером Турин возвращался из поездки. Орасовский лес кончался, стало немного светлее; и Турин уже видел заливной луг, Снежадь... Скоро дома! Но только выехал из леса — выстрел! Один,

второй! Орлик понес. Турин пытался придержать его, привстал на телеге, но при въезде на мост ее тряхнуло, и он угодил в холодную воду...

А когда вылез, догнал лошадь — Орлик остановился, почуяв неладное, — хлестал ее вожжами, а сам бежал рядом, чтобы не замерзнуть... Факт покушения Турин отрицал: кому он нужен? И мало ли сейчас в районе всякого рода случайных выстрелов и взрывов: то рыбу глушат гранатами, то мина в лесу взорвется, то в печке треснет на всю хату неведомо как попавший в огонь патрон... Турин видел в лесу даже небольшую пушку: снаряд заклинило — ни туда ни сюда... Об этой пушке он сказал военкому, чтобы послал саперов. Но кто знает, послал ли за спешностью других, более важных дел?..

Степанов не мог заснуть. А тут еще появилась луна, и ее ледяной голубоватый свет лег на затоптанные половицы. При таком будоражащем свете тем более не заснешь...

Степанов встал и подошел к Турину. Иван спал, но дыхание было неровным, неглубоким. Степанов подумал, что хорошо бы раздобыть для Ивана водки... Но где ее найдешь в Дебрянске?..

Недавние ожесточение и неприязнь к Турину как бы прошли, и все же Степанов не мог простить Ивану, что тот вольно или невольно ограждал себя от лишних волнений. За счет чего и кого? И можно ли вот так?.. Было это чем-то новым в добром и человечном Турине, новым и неприятным.

Власов и Степанов еще не легли, когда явился Цугуриев.

— Ох и люблю я таких героев, если бы вы знали! — сказал он вместо приветствия.

Увидев, что Турин улегся спать, извинился и попросил его не вставать, затем снял шинель, не спеша принялся расправлять складки гимнастерки под широким ремнем, втянул и без того тощий живот, отчего стал еще более тонким и сухопарым, и наконец, одернув гимнастерку, приступил к делу:

— Дорогой Турин, дорогой секретарь райкома комсомола! О всех подобных случаях ты обязан заявлять — и без всякого промедления! — в районное отделение УНКГБ! Прийти и все рассказать! Тем более что мы тебя очень любим...

Цугуриев сел на стул возле кушетки Турина.

— Мы узнаём о покушении только через два часа! «Отличная работа, товарищ Цугуриев! — скажут нам. — Отличная работа, товарищ майор государственной безопасности!»

— Да какое это покушение, Цугуриев! — решительно возразил Турин. — Никогда не слышал, как в костре патроны взрываются?

— И где же этот костер был? — спокойно спросил майор. — В Орасовском лесу или в поле перед Снежадьё?

— Да не было костра! Я к примеру...

— А что же было? И выстрелов, скажешь, не было?

— Что-то треснуло два раза...

— А не три?

— Может, и три...

Вмешался Власов:

— Иван Петрович, вы мне говорили — три...

— Так... Треснуло три раза! И что же это треснуло? Сухие сучья под колесами телеги? А? Интервалы одинаковы?

— Интервалы?.. — Турин припоминал. — Пожалуй, да...

— Какие же это патроны в костре... — легко, мимоходом отвергая версию Турина, заметил Цугуриев и пошел дальше: — Автомат, винтовка, пистолет?

— Откуда я знаю...

Цугуриев укоризненно покачал головой, поцокал языком:

— И таких людей назначают большими начальниками! Беспечность, дорогой Турин, беспечность! Воевал в партизанах и не умеешь отличить стрельбы из автомата от стрельбы из винтовки или пистолета?

— Да, пожалуй, умею... Но мне и в голову не приходило, что сейчас могут стрелять по мне. Совершенно не обратил внимания. Мало ли...

— Вот и говорю — беспечность! — чуть ли не по складам произнес Цугуриев и поднялся. — Поправишься — зайди.

Майор ушел, оставив тревогу. Власов, и без того уверенный, что в его начальника стреляли, сейчас просто торжествовал: он прав!

С тех пор как школу освободили, учителя часто заглядывали туда и порою подолгу засиживались. Сюда притягивало что-то родное, забытое и уже казавшееся навсегда отошедшим в небытие. Можно собраться вместе, поговорить, как в прежние времена. Помогали плотникам, печнику месили глину, кровельщику подавали на крышу листы железа.

Потянулись сюда и ученики. То, кто постарше, взялись за сооружение столов и скамеек, младшие выискивали кирпичи и приносили в школу. Приносили случайно найденные книги, старые газеты, гвозди, огрызки карандашей, ржавые перья...

За самодельным столом вокруг единственной в школе семилинейной лампы сегодня собрались все педагоги: Владимир Николаевич, Степанов, Вера, Константин Иванович, Паня. Сидел еще полуслепой солдат Василий Васильевич Попов.

Учитель начальной школы Константин Иванович вернулся из-под Почепа больным, одиноким и обосновался где-то в деревне, у дальних родственников. Прослышав о школе, переехал в Дебрянск, хотя с питанием и жильем здесь было значительно хуже. Но зато работа! Свой круг людей и интересов. Школа!

Паня Прошина вернулась в Дебрянск совсем недавно. Она была на редкость простодушной. В педагогический институт пошла потому, что большинство выпускников дебрянской десятилетки поступало именно в педагогические вузы. О своем замужестве рассказывала так: «Он мне раз предложение сделал — я отказала, он мне другой раз — я согласилась».

Василия Васильевича привлек к делу Степанов. Старый полуслепой солдат явно томился в землянке от вынужденного безделья, от сознания своей оторванности от людей и событий. Предложение Степанова прийти в школу встретил с радостью, но с некоторым недоумением: а он-то чем может быть полезен?

Как самый обеспеченный, Степанов принес сегодня несколько кусков сахара и граммов триста хлеба. Паня быстро вскипятила у кого-то из соседей чайник, заняла стаканы, и учителя вместе с Василием Васильевичем в свое удовольствие попили горячего чаю. Сегодня как-то и решилось само собой, что нужно принести в школу кружки и иногда, прихватив хлеба и сахару, устраивать вот такие вечера. Они

обещали быть уютными, дружескими и, как сегодняшний, возвращали к далекой прежней жизни...

После чая опять занялись работой. Сшивали из газет и старой бумаги тетради, готовили чернила, мудрили с учебниками. Во многих с трудом добытых учебниках часть страниц была аккуратно заклеена белой бумагой.

Считалось, что школа работала и при «новом порядке». Да, работала... В классах — по пять, по восемь человек. Разрешили пользоваться некоторыми старыми учебниками, так как других не было и быть не могло. Но в этих учебниках было приказано заклеить страницы, где шла речь или хотя бы упоминалось о великом прошлом народа, о Конституции, о Сталине. А потом немцы отдали школу воинской части и все остатки учебников и учебных пособий свалили в подвалы.

Вот этими учебниками сейчас и занимался Василий Васильевич: мокрой тряпочкой осторожно смачивал заклеенную страницу и ждал, когда белый лист начинал отходить. Тогда можно было взять его за уголок и, тряпочкой же добавляя воду между листом и страницей, бережно отделять одно от другого. Василий Васильевич делал это, полагаясь не столько на глаза, сколько на чутье пальцев.

За работой говорили не только о делах, но и читали письма с фронтов, говорили о втором фронте: когда же он будет? Ведь этак и до Берлина дойдем без помощи союзников! И как-то боялись вспоминать, трогать недалекое прошлое, хотя и не могли не думать о нем.

Штайн... Ведь они работали с ним до войны, встречались во время оккупации. Что уж тут хорошего!.. Владимир Николаевич, Паня, Константин Иванович преподавали в этой жалкой школе при немцах. Не обвинит ли и их кто-нибудь в содружестве с врагом? Но могли ли они бросить детей на произвол судьбы, отмахнуться? Кто бы тогда их учил? И разве они, учителя, даже в тех немыслимых условиях не пытались нести детям то, что несли всегда?..

А для Степанова прошлым, с которым он не мог проститься, была Вера. Тогда, выйдя из землянки с ее запоздавшими письмами, «осколками разбитого вдребезги», как он сам назвал их с горькой иронией, он не стал читать их. Но сегодня, выйдя из школы, Степанов сунул руку в карман шинели и достал письма: «Прочесть и выкинуть!»

Он вскрыл первый конверт. Конечно же! Отличная белая бумага... Большие поля... Уж Вера понимала, что уважение к человеку и красота должны проявляться не только в большом, но и в малом. Везде и всегда!

Еще и строчки не прочел Степанов, а его уже отбросило в мир, который так неожиданно был разрушен.

Смоленск, 26 июня 1941 года

Началось, Миша...

Бумажными полосками перекрещены окна, в подъездах ввинчены синие лампочки, на стенах указатели со стрелками: «Бомбоубежище». По ночам дежуришь на крыше института, который кажется сейчас таким беззащитным и ненужным. Кто знает, может, день-два — и в наших аудиториях застонут раненые... Говорят, война ненадолго: месяца три, полгода... Будем надеяться и помогать, чтобы так и стало.

Пишу тебе в Дебрянск потому, что ответа на письмо, посланное в Москву, не получила.

По улице прошла группа мужчин с вещевыми мешками за спиной. Мужчин провожают женщины, одних — жены, других — невесты. Идут, не отрывая от них взгляда.

Несколько раз в день бегаю вниз посмотреть, не пришло ли от тебя письмо: из Дебрянска или из Москвы.

Не знаю, с кем останется мама, если брат и отец уйдут воевать. Волнуюсь за нее, хоть беги в Дебрянск.

Еще двое прошли с мешками... Может, и на тебя кто-нибудь вот так смотрит.

Жду.

Вера, твоя.

В письме, пахнущем сыростью подвала, дорогим для Степанова было изящное признание, отнесенное в конец. Признанию этому как бы не придавалось никакого значения, оно самым естественным образом должно завершить их давние отношения. «Вера, твоя». Крохотное последнее словечко оглушало.

Письма́, которое Вера отправила в Москву, Степанов мог не получить из-за того, что их курс переселили в другое общежитие. Он написал в Смоленск, сообщил свой новый адрес. Но ответа не последовало.

В июле Степанов был уже в ополчении. В первый месяц он не получил ни одного письма. Ни от кого. Так работала связь. Потом она наладилась, но в Дебрянске уже слышалась чужая речь.

Сразу после освобождения Дебрянска Степанов, ни на что не надеясь, написал туда и, конечно, не получил ответа. Не было ни Вериного дома, ни Остоженской улицы, ни самого Дебрянска, ни Веры: как он потом узнал, тогда она еще не вернулась из партизанского отряда. Больше Степанов не писал. Однако отъезд свой торопил...

И вот теперь, спустя более чем два года, он держал в руках письма, которые Вера адресовала в Дебрянск...

С Верой он старался встречаться реже, обходить ее. Вера, видимо стараясь помочь Степанову, была с ним холоднее, чем с другими.

Однако школа, о которой так все хлопотали и больше всех — Степанов, теперь сталкивала его с Верой чаще, и не где-нибудь в официальном районо или на холодной улице, а в учительской, которая с каждым днем становилась все уютнее и где они будут видеться теперь каждый день и по многу раз, порой оставаться вдвоем. Все это было трудно, даже мучительно и для Степанова и для Веры...

Из школы вышли вместе поздним вечером.

У горсада разделились: Степанов со старым учителем пошли дальше по Первомайской, а остальные свернули за Советскую.

Город давно уже спал. Темно — ни луны, ни света в окнах.

— Ты знаешь, Миша, откуда эти названия деревень неподалеку от Бережка: Рясники, Затинники?

— Нет...

Владимир Николаевич, заметил Степанов, любил беседовать с ним о прошлом города, России. Беседовал с удовольствием, отдыхая от

бесконечной и отупляющей суеты. В чувстве причастности, слитности с делами народа и его историей черпал новые силы.

— Мало кто знает, представь себе... На Бережке, как тебе известно, был Воскресенский монастырь. Монастыри — тоже известно — обносились стенами. Деревянными, кирпичными... А у нашего был еще простой тын. В какую седую старину уходит его история! Деревня за тыном — Затинники.

Когда старый учитель рассказывал о своих находках, небольших в общем открытиях, разрозненное и разбросанное связывалось в одну цепочку, давно забытое восстанавливалось, далекое становилось близким. Из маленьких камешков, как мозаика, создавалась постепенно величественная картина.

— Рясники — село, которое имело отношение к монахам, людям в рясах... Ты не обратил внимания: на Тихоновской церкви монастыря очень высоко прилеплено что-то вроде кельи с небольшими окошечками?

— Как же, — отозвался Степанов, — видел...

— Так и считалось, да и сейчас считается, что там жил преподобный Тихон, основатель монастыря. Некоторые церковники поддерживают эту версию. Может, конечно, и жил... Однако высоковато было старцу подниматься в свою «квартиру»... И потом — почему это келью прилепили так высоко и на углу, который обращен на юго-восток? Одно оконце — на юг, другое — на восток. Ни в одной церкви, насколько я знаю, нет подобных келий. Все дело в том, что эта была не просто кельей, а сторожевой вышкой, а с юго-востока чаще всего и нападали на древний Дебрянск татары. Врага можно было заметить на дальних подступах и дать знать горожанам. Вот тебе и «келья»!

Почти у самого сарайчика Владимир Николаевич остановился.

— Пойдем, я тебе кое-что покажу, — сказал он, но тут же подумал, что в сарайчике наверняка давно спят и его появление со Степановым потревожит женщин, вызовет их недовольство. — Он печально махнул рукой: — Нет, Миша, лучше потом...

— Хорошо, Владимир Николаевич... А все же что вы мне хотели доказать?

— Успеется... Покажу...

Простившись, Степанов пошел к себе. Райком стал чем-то привычным, удобным... Часть работы можно было делать за столом Турина: светло, тепло... Здесь же можно было назначить деловое свидание. Сама обстановка райкома позволяла глубже вникать в жизнь города и района, быстрее узнавать новости, стоять ближе к молодежи...

Степанов уже отвык от домашнего уюта: в течение нескольких лет — железная койка в общежитии, потом — окопы, землянки, койка в госпитале.

Сворачивая с Первомайской, Степанов услышал голоса и остановился. Шли, видимо, со стороны реки двое...

— Хор-рошая ты девчонка!.. — лениво улещал кого-то мужчина.

— Да отстань ты!.. — ответил женский голос.

— Хор-рошая!..

— Ладно, ладно... Когда надо, все становятся хорошими. Отстань...

Сейчас Степанов уловил в этом голосе знакомые интонации Нины Ободовой. Где-то там, у реки, по слухам, обосновалась женщина, у которой чуть ли не всегда — и днем и ночью — можно было раздобыть самогон. И эти двое шли оттуда. «Неужели Нина?» — подумал Степанов. Но голоса затихли, прохожие, видимо, свернули в сторону.

После разговора на почте Степанов хотел навеститься к Нине, посмотреть, как живет. Ничего не стоит затюкать человека, труднее — поддержать... Но что-то помешало. Сейчас Степанов решил все же выкроить время и обязательно встретиться с Ниной.

У райкома Степанов замедлил шаги... Турин теперь, если никуда не уехал, наверное, сидит за столом, работает... Они сейчас, поговорив о новостях, опять волей-неволей вернутся к Нефеденкову, поспорят, снова, быть может, поругаются, а Борису ни холодно ни жарко от этих бесполезных разговоров. Что изменится в его судьбе?..

И Степанов решил: он пойдет сначала к Цугуриеву.

У Цугуриева горел свет.

На его стук майор вышел в застегнутой шинели, словно не встречал посетителя, а куда-то уходил.

— Кажется, не вовремя? — спросил Степанов.

— Смотря с чем пришли, — ответил Цугуриев, пропуская Степанова вперед. Похоже, Цугуриев догадывался о цели визита и не одобрял этого.

В комнате было холодно и сыро, хотя давно уже не проветривали: пахло застоявшимся табачным дымом.

— Садитесь, — суховато предложил Цугуриев. Степанов сел и, не принимая официального тона, спросил, кивнув на печь:

— Не топят у вас, что ли?

Цугуриев ответил не сразу. Кашлянул, посмотрел на посетителя, снова кашлянул:

— С уборщицей что-то... С чем пришли? — Он остался стоять, и опять, как и в прошлый раз, его лицо оказалось в тени, а Степанов — весь на свету.

— Я по поводу Нефеденкова... — начал Степанов и, заметив легкую усмешку, тенью пробежавшую по лицу Цугуриева, почувствовал, что ничего не добьется.

— Что ж, говорите, Степанов...

— Я хочу сказать, товарищ майор, что, по моему глубокому убеждению, Нефеденков не мог пойти на подлость, даже под пулей. Если слова его старого друга что-то значат для вас, прислушайтесь к ним. Вот, собственно, все.

Цугуриев прошелся по комнате и остановился перед Степановым.

— Сколько раз умирали, Степанов?

Неожиданный и неизвестно к чему клонящий вопрос озадачил Степанова.

— Что имеете в виду, товарищ майор?

— Фронт. Ранения... Опасные моменты, когда смерть — вот она!

— Не считал... Но раза два, ничего не преувеличивая, думал, что конец.

Цугуриев шумно вздохнул, словно подвел под чем-то черту.

— Ладно... Припомните, Степанов, случайно не рассказывал ли Нефеденков о Дубленко? Может, хвалил его...

— Рассказывал...

— Что?

— Это не из области ожидаемых вами похвал...

— Из какой же тогда?

— Серьезных обвинений...

— Расскажите...

— Могу. Но тут уж, товарищ майор, — предупредил Степанов, — я всего лишь исправный телефон...

— Это не так уж мало. Слушаю.

Стараясь быть как можно более точным, Степанов изложил рассказ Нефеденкова. Майор слушал как будто без интереса, но в его еле заметном покачивании головой и во взгляде, который вдруг останавливался неизвестно на чем, Степанов чувствовал сосредоточенность.

Цугуриев не задал ни одного вопроса, как будто рассказ был ему совершенно ни к чему. Подошел к столу и, вынув из ящика лист бумаги, протянул Степанову:

— Напишите.

— Что написать? — спросил Степанов, хотя в последний момент понял, что от него требуется.

— То, что рассказали.

Степанов помедлил. Ну что ж... Он готов и в письменной форме изложить то, что изложил устно. Подвинул стул к столу, взял ручку, обмакнул в чернила, поудобней положил лист...

— Бумага у вас, товарищ майор, не как у всех... Отличная!

Цугуриев покашлял, и только теперь Степанов понял, что покашливанием этим майор указывал на неуместность его замечаний.

— Так... — сказал Степанов. — На ваше имя писать?

— На мое.

Степанов склонился над листом.

— Ладно, Степанов... — Майор отодвинул бумагу в сторону, сел напротив Степанова. — Сколько человек знает о том, что рассказал Нефеденков?

— Я, Турин и он сам, Нефеденков.

— Трое... Дубленко встречался с Нефеденковым?

— Думаю, что нет... Но Нефеденков видел его с Котовым.

— И Дубленко, конечно, знает, что Нефеденков вернулся?

— Очевидно...

— И еще... Вы встречались с Дубленко?

— Да.

— Зачем?

— Случайно, обходил землянки. Но смотрел на него и говорил с интересом... На фронте предателей или возможных предателей не видел, только явных врагов.

— И что подумали, когда посмотрели? Стал менее подозрителен? — уточнил Цугуриев.

— Пожалуй, да. Держится с достоинством, хотя чем-то вызывает чувство жалости.

— А в Нефеденкове вы как не сомневались, так и не сомневаетесь?

— Не сомневался и не сомневаюсь, товарищ майор.

— Похвально... В общем, арестовываем невиновных... — тихо, как бы про себя, произнес Цугуриев.

— Подозрительных для вас, — уточнил Степанов. — Ведь будет разбирательство?

— Конечно.

— Скоро?

— Не знаю, Степанов.

— А если поинтересоваться, товарищ майор?

Цугуриев покашлял.

— Понятно, — заключил Степанов.

— Так... Интересно, почему же Дубленко вызвал у вас чувство жалости? — вернулся к прерванной теме Цугуриев.

— И сам не знаю...

— Может, отчасти потому, что заикается?

— Заикается? — Степанов задумался. — А знаете, заикание, пожалуй, сыграло свою роль... Определенно — да...

Майор что-то прикидывал в уме, и потому наступило довольно продолжительное молчание.

Утверждаясь в каких-то своих выводах, Цугуриев потрянул головой и достал папиросы:

— Кúрите?

— Спасибо, не курю... Если не тайна, товарищ майор, происшествие с Туриным — действительно покушение? Или нет?

— Ну-у, Степанов, — протянул Цугуриев, — все хотите знать!.. — И, помолчав, ответил: — Есть данные, что изменник Семин кружит вокруг Дебрянска.... Озлоблен до того, что потерял всякую осторожность...

Послышалось, как дверь из коридора в кухню медленно открылась со скрипом и кто-то сбросил дрова на лавку.

Цугуриев спросил:

— Павловна?

В комнату вошел Леня Калошин.

— Это я, товарищ Цугуриев... Здравствуйте, Михаил Николаевич...

— Добрый вечер, Леня... Как мать? Все болеет?

Леня, словно к горлу что-то подкатило, сделал судорожное движение и, закрыв глаза, кивнул.

— Я пойду топить, — заторопился Леня, — а то мне еще я райисполком надо и в милицию...

Степанов попрощался. В кухне он замедлил шаги. Леня Калошин, что-то бормоча про себя, видимо повторяя наставления матери, шарил рукой возле трубы, нащупывая спички.

5

Когда Степанов вернулся в райком, Ваня Турин сидел за столом и беседовал с парнем в ватнике. Речь шла, как понял Степанов, о трудоустройстве.

— Рабочая сила, всем известно, нам нужна. Выбирай, Виталий, любую стройку или иди на станцию платформы и вагоны разгружать.

— Об этом я и сам бы догадался. — Давно не стриженный парень понуро свесил голову. Молчал. И в этом молчанки таилась какая-то обида.

— Тогда в чем же дело?

— Рука у меня перебита. — Виталий поднял левую руку и неловко пошевелил ею. — Когда немцы гнали, фриц стукнул прикладом. Память о себе оставил... Не забудешь!..

— Лечили? Может, помочь чем? — встрепенулся Турин.

— Лечили... — безучастно ответил Виталий. — В армию не берут. Всё!

— Что же мне с тобой делать? — задумался Турин. — Мать, говоришь, болеет, отец на фронте, нужна рабочая карточка... Что будем делать, Степанов? — Он посмотрел на Степанова, который

готовился пришивать к шинели пуговицу. — Вот тебе вопрос, лишенный какой-либо философской премудрости, а поди-ка разреши его!

— Право, не знаю, — вздохнул Степанов.

— А я должен знать! — заметил Турин. — Собрать бы всех этих Лассалей, Кантов... Кого там еще? И задать бы им этот вопрос! — В последних словах оказывалась неприязнь к отвлеченным, как Турин считал, умствованиям знаменитых философов: им всем вместе не решить ничтожный с философской точки зрения практический вопрос, с которыми он сталкивался каждый день десятки раз.

— Что ж, мне идти, что ль? — спросил Виталий и хотел встать.

— погоди, — остановил его Турин и обратился к Степанову: — Может, в школу истопником или еще кем возьмешь?

— Школа еще не открыта. И потом, я не директор. Им, видимо, будет Вера Соловьева, а завучем — Владимир Николаевич. Но на месте директора, прости, Виталий, я истопника или уборщицу в школу не стал бы брать. Роскошь! У ребят руки не отвалятся: напилят, наколют дров, протопят печи... Организовать только надо...

— И то верно, — согласился Турин.

— Может, на почту?.. — предложил Степанов. — Письма разносить? Вернее, не столько разносить, сколько находить адресатов.

— На почте почтальонша есть, только болеет. Так что единица занята. А вводить вторую — роскошь, как ты говоришь...

— Да ладно, я пойду, — встал Виталий, который все более понимал, что задал секретарю райкома непростую задачу.

— Да постой ты! Садись! — осадил его Турин. Чувствовал он себя неважно: температура все еще держалась, голова была тяжелой. Но он не прилег ни днем, ни вечером — работал, преодолевая себя.

Виталий уже понял, что работает Турин через силу: и лоб в поту, и эти поморщивания от головной боли, и нечаянные вздохи. Он решительно поднялся:

— Хорошо, Иван Петрович, я наведаюсь через несколько дней. — Про себя он подумал: «Дурак я, дурак! Ну рука, допустим, одна, а плеча-то два! Все работают через силу! На стройку!.. И нечего было сюда ходить, жалобить людей».

— Обязательно зайти через пару-тройку деньков, — сказал Турин. — Обязательно! Что-нибудь придумаем...

Когда Виталий ушел, Ваня Турин стал писать очередную бумагу в обком комсомола.

— Я не могу заменить тебя? — спросил Степанов. — Лег бы...

— Не заменишь...

— И срочная эта бумага?

— Срочная, а потом, не исключено, будет лежать в чем-нибудь столе месяц-другой. Известное дело...

Степанов подумал, что, если он посидит рядом, чем-нибудь займется или хотя бы почитает газету, Ване все же не так будет тягостно.

Перед Степановым лежала потрепанная папка с какими-то бумагами и газетами. Листок с призывом «Смерть немецким оккупантам!» привлек внимание, и Степанов выдернул его. Это был один из номеров газеты подпольного Дебрянского райкома ВКП(б) «За Родину!». На листке, гораздо меньше тетрадного, редакция умудрилась передать сводку Советского информбюро, сообщение о действиях местных партизан (взорван вражеский эшелон), иностранную хронику. Одна колонка была отведена статье «Германия — каторга для русских». Газета издавалась без нумерации, указывалась только дата выпуска. По одному номеру нельзя было определить, как часто выпускался листок.

На шершавой бумаге, кое-где измазанной типографской краской, не все буквы были отиснуты достаточно четко, некоторые совсем не видны... Колонки перекошены...

— Какой же тираж газеты? — спросил Степанов.

— Тираж?.. Двести, триста, максимум пятьсот экземпляров.

— Это надо сберечь, Иван, для музея...

Турин махнул рукой.

Кроме номеров газеты Степанов обнаружил в папке листовки: обращения к молодежи, к женщинам района. Листовки эти говорили о неизбежной победе над фашизмом и были полны коротких, энергичных призывов всячески помогать армии и партизанам. Лаконизм и выразительность обнаруживали в их авторе или авторах незаурядные литературные способности.

— Кто писал листовки? — спросил Степанов.

— Чаще всего Прохоров, теперь второй секретарь...

— Здорово! Все это надо сохранить.

Среди листовок была и обращенная к... полицаям. Степанов держал ее в руке, невесомую, небольшую, и с каждой строчкой сильнее чувствовал тяжесть слов, адресованных людям, ставшим лютыми, жестокими врагами.

Вот она — от марта 1943 года, как пометил чей-то карандаш:

Смерть немецким оккупантам!

ПОЛИЦЕЙСКИЙ!

Ты пошел в услужение к немцам, в немецкую полицию, — русский человек, рожденный на русской земле, вскормленный русской матерью.

Ты совершил тягчайшее преступление перед Родиной!

Что бы ни толкнуло тебя на этот позорный путь — животный страх перед немцами или немецкие сребреники, все равно не будет тебе пощады, предатель, если ты вовремя не опомнишься и не искупишь свою тяжкую вину перед Родиной.

Час расплаты близок, Красная Армия наступает, освобождены десятки городов и населенных пунктов, скоро она придет в те края, где творишь ты свое черное, подлое дело.

Тогда не сносить тебе головы. Народ проклянет тебя, вынесет смертный приговор и приведет его в исполнение.

Хочешь жить, хочешь искупить свою вину перед Родиной — забирай немецкое оружие и уходи в партизанский отряд.

Там встретят тебя родные русские люди. Вместе с ними ты сможешь выполнить свой священный долг перед Родиной, перед русским народом.

Повернешь немецкое оружие против немцев — Родина простит тебя; останешься в полиции — она жестоко покарает тебя.

ОПОМНИСЬ, РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК!

*ОТКАЗЫВАЙСЯ СЛУЖИТЬ ПРОКЛЯТОЙ НЕМЧУРЕ,
ПЕРЕХОДИ К ПАРТИЗАНАМ!*

Эта листовка является пропуском в партизанский отряд. Предъявляй ее вместе с оружием.

Миллионы, не жалея своей жизни, воевали против фашистов, миллионы жили одной заботой, работали в тылу, помогая фронту, и вот против этих миллионов своих поднялись — пусть их было ничтожно мало! — люди, тоже вскормленные и вспоенные родной землей. Кто такие? Почему так случилось?..

— Миша, ты что? Не слышишь? — окликал Турин Степанова уже во второй раз.

Степанов положил листовку в папку, посмотрел на товарища:

— О чем ты?

— Говорю, если тебе будут предлагать жилье, ты от него не отказывайся.

— Какое жилье?

— Не век же, понимаешь, в райкоме...

Степанов никак не мог понять: с чего это вдруг Турин о жилье? Вот уж о чем, казалось, не могло быть и разговора: о жилье для живущего под великолепной крышей!

— Неужели могут предлагать?.. Мне и в голову не приходило такое... Почему мне, когда другие — в землянках.

— Именно поэтому я тебе и говорю: если предложат — не отказывайся.

— В райкоме — неудобно?

— Конечно же... Организация, официальное учреждение, а тут, понимаешь, какой-то клуб бывших однокашников!.. Пьем, спим, едим, встречи всякие... Вот и с Нефеденковым...

Теперь Степанов начал понимать, чем был так озабочен Иван.

— Ничего дурного в том, что райком стал клубом, как ты говоришь, я не вижу. Но если ты считаешь, что жить здесь неудобно, я готов переехать куда угодно — в сарай, в землянку...

— Если и переезжать, то в дом, что будет на Советской.

Степанов встал, пожал плечами:

— И все же было бы целесообразнее, больше согласовывалось бы со здравым смыслом и простой человечностью, отдать дома тем, кто

сейчас в землянках. По-моему, так!

Турин тоже поднялся.

— Эх, Миша, Миша! — сказал с сожалением. — Чувства, всё чувства! Нельзя, чтобы они играли такую роль в жизни. Дадут — бери! Ты — человек заслуженный. Тут надо распределить свои силенки на долгие месяцы...

— Ты, я вижу, все распределил, — с укором заметил Степанов. — Нефеденкова, видите ли, арестовали в райкоме, и это бросило тень на твою незапятнанную репутацию! Преступник пришел спасаться к своему лучшему другу — секретарю райкома комсомола!

— Конечно, бросило, — с готовностью согласился Турин. — А ты что думаешь?

— Ты уверен в виновности Бориса?! — Степанов уже не сдерживал раздражения.

— Опять двадцать пять!

Оба, возбужденные, шагали по комнате, обходя друг друга, и молчали.

— Никого из местных на руководящие посты не выдвигали, как ты заметил, — снова заговорил Турин. — И правильно, мудро поступали. Никаких личных связей! Никакой предвзятости, Прохоров — талант! — и тот вторым секретарем! И только меня в виде исключения... И, верно, ошиблись... Не надо делать исключений!

Степанов понимал, как трудно Турину быть этим исключением, как больно переживал он все, что могло квалифицироваться: «не оправдал доверия», и в то же время не мог побороть обиды на Турина, готов был сейчас же взять вещи и уйти из райкома. Завтра же он узнает, куда ему можно переселиться, и, если найдется хоть малейшая возможность — сейчас он совершенно не представлял ее, — уйдет из райкома. Пусть Ване Турину будет легче.

— Ты, пожалуйста, ничего плохого не думай, — пояснил Турин, — я тоже отсюда переберусь, был бы угол. И Власов. Все!

— О плохом-то я как раз и думаю, — признался Степанов. — Скажут тебе авторитетные товарищи, что я дезертир и трус, и ты поверишь. А если и не поверишь, то все равно сделаешь вывод, что держать меня под боком и считать другом совсем ни к чему.

— Что ты говоришь?! — Турин остановился против Степанова. С осуждением молча смотрел ему в лицо.

— К сожалению, ничего такого, что оказалось бы фантастическим...

— Зря ты, Миша, так, — тихо заметил Турин. — Совсем зря... Нефеденков, о котором ты все время думаешь и кем меня попрекаешь, признался, что был связан со Штайном...

— Был связан со Штайном! — рассмеялся Степанов. — Со Штайном и мы с тобой были связаны несколько лет. Разве не правда?

— Да, но не в период, когда он служил в немецкой администрации и...

— ...и когда к Штайну ходили многие и, стало быть, «были связаны»? — подхватил Степанов. — Нет, Иван, я верю Борису.

— Ладно, Миша... Поздно уже... Спать надо...

6

Утром Степанов зашел в районо: передали, что его вызывала Галкина. За столом Галкиной сидела Вера. Перед нею лежала «простыня», как обычно называли в школах расписание.

— А где Галкина? — поздоровавшись, спросил Степанов.

— Неважно себя чувствует... Опять сердце... — Вера продолжала заниматься расписанием: в одном столбце название предмета зачеркивала, в другой вписывала. — Обращался бы ты к Евгении Валентиновне по имени-отчеству... А то: «Товарищ Галкина...»

— Хорошо, учту, — сказал Степанов, садясь в сторонке, подальше от Веры. — Так за этим и приглашали?

— Нет, дело есть. Евгения Валентиновна просила меня поговорить с тобой: может, ты перейдешь жить в школу? Понимаешь, время тревожное, народ ходит всякий, мало ли что может случиться... Сожгут ненароком, еще что-нибудь... Нельзя, чтобы школа ночью пустовала... Вроде сторожа, что ли, — грустно пошутила она. — Только учти, платить за совместительство не будем, нам по штату сторож не положен.

Степанов молчал, о чем-то размышляя, и Вера, решив, что ее доводы оказались неубедительными, продолжала:

— Я понимаю, в райкоме тебе веселее, там Иван, да и Власов, там у вас, так сказать, мужская компания... Но кого другого в школу?.. У

всех если не семьи, то все равно кто-нибудь из близких, с кем они живут, а ты один... И потом, сам посуди, нужен все-таки мужчина, и не старый... А то посади туда меня или Паню, так мы к утру от страха умрем...

— В школу! — наконец нарушил молчание Степанов. — Хорошенькое дельце — в школу! Что же это получится — сам людей оттуда выселял, сам и поселился. Что народ скажет?

— А ничего не скажет, Михаил Николаевич! Поймут правильно! Вечером туда и взрослые на огонек пойдут, ведь больше-то идти некуда, и дети смогут оставаться, уроки делать, играть, наконец, а не сидеть по землянкам, где подчас им и приткнуться негде...

Степанов снова задумался. С одной стороны, предложение Галкиной было как нельзя вовремя, а с другой... Но ведь и выхода иного нет, деваться ему некуда...

— Ну что ж, договорились. — Степанов поднялся: дело закончено, а ни за чем иным, кроме дела, он не заходил.

— Подожди, Миша...

«Миша» произнесено было певуче, так, как она произносила тогда, давным-давно... Степанов снова сел.

— Евгения Валентиновна просила всех, кто в состоянии, выехать в одно-два из этих мест. — Вера протянула листок бумажки с перечнем сел и деревень.

Степанов поднялся, взял листок.

— Что ты выбираешь?

— Мне все равно. Допустим, Красный Бор, колхоз имени Буденного... А что нужно делать?

— Посмотреть, что там со школами, определить, чем можем помочь. Тебя Евгения Валентиновна хвалила...

— Спасибо, — сухо сказал Степанов и спросил: — А где взять лошадь?

— В райисполкоме. Когда окажется свободной. Есть еще велосипед, но сейчас на нем в Красный Бор не проедешь...

— Понятно.

Вот и все! Можно было спокойно уходить.

Степанов уже направлялся к двери, как вошла Паня.

— Здравствуй, Вера. Миша, и ты здесь?! Ах... — Паня почему-то вздохнула и села. — Десятый наш класс... — Но тут же спохватилась

и даже встала: — Вера! Чуть не забыла! Кузьма Жириков вернулся!

Вера силилась вспомнить, что это за Кузьма.

— Что-то я не припомню... Какой Кузьма?..

— Ну как же! — Паня стала длинно и подробно объяснять, что Кузьма Жириков дальний родственник того самого Жирикова, который до войны работал в райисполкоме, Павла Семеновича... Суть ее речи заключалась в том, что Кузьма Жириков считался погибшим: семья получила похоронную... Верующая бабка поминала его за упокой. И вот этот «погибший» Кузьма, по которому пролили столько слез, на днях, оказывается, вернулся в свою деревню живой и почти невредимый, если не считать ранения...

— Хорошо, — порадовалась Вера. — Но ты говоришь с таким пафосом, будто я этому Кузьме родная тетка.

— Вера Леонидовна! — воскликнула Паня, дивясь Вериной недогадливости. — Вот так может и с твоим Николаем статья! «Погиб... Погиб...» А потом дверь откроется — и в дверях Николай... Живой...

Вера закрыла глаза. Нужно ли цепляться за надежду, убеждать себя, что Николай может вернуться, и потом еще раз, но уже более мучительно пережить то, что пережила?

— Все случается на фронте, Вера, — сказал Степанов. — Все может быть... — И, собираясь уходить, добавил: — Скажи Евгении Валентиновне, что Красный Бор и колхоз имени Буденного за мной. Удастся — выеду сегодня же.

Он попрощался и вышел.

Денек был хмурый, правда, иногда проглядывало солнце, и тогда на площадь, казавшуюся огромной, потому что на ней мало что осталось, проливался теплый и яркий свет. Хорошо!

Время от времени Степанов вскидывал голову: долго ли еще простоит солнце? — и радовался, когда разрыв между серыми тучами оказывался большим.

Лошади в райисполкоме не оказалось, сторож сказал, что освободит ее только во второй половине дня, поближе к вечеру. Не

обманывал ли Степанова сторож, зная, что в лесу небезопасно. Не каждый решится на ночь глядя пускаться в путь: темно, дороги и без того плохие, да и в лесах мог таиться всякий сброд...

Уловив в разговоре со сторожем желание попридержать лошадь, которую могли потребовать другие, к тому же более важные, чем учитель в старой солдатской шинели, Степанов сказал, что он зайдет еще и обязательно сегодня уедет — хоть и вечером.

А пока что стоило пообедать.

Единственным местом, где каждый день можно было увидеть весь актив города, являлась крохотная столовая все в том же уцелевшем, далеко не лучшем, квартале. Дом с низкими потолками, с принятой здесь планировкой быстро переоборудовали под столовую. В одной комнате поставили два сбитых из теса стола, в другой соорудили плиту.

За обедами, ужинами, завтраками в столовой было жарко, людно и тесно. Секретари райкома, председатель райисполкома, его заместители, заведующие многочисленными «райями»: «топом», «зо», «оно», «собесом», «фо» и другими — весь партийный и советский актив питался здесь.

Быть может, существование такой столовой для избранных, где подавали наваристые щи, а на второе — горячие котлеты с картошкой, могло показаться и несправедливым: горожане жили на скудном пайке, общедоступных столовых не было, но никто не считал это несправедливостью. Понимали: у этих людей забот и дел больше, чем у кого-либо. И забот — не о себе, и дел — не своих. А поухаживать за ними некому: сами нездешние, живут многие без семей...

О делах разговаривали в столовой почему-то мало. Наверное, именно здесь, в теплом доме, где вкусно пахло хлебом и щами, где все обещало покой, невольно наступала реакция на утомительную и бесконечную в своей мелочности работу, неустроенность жизни, тяжелый быт...

На глухой стене висела старая, порванная карта европейской части Советского Союза. Первый, услышавший по радио сводку, отмечал флажками на булавках взятые нашей армией города, переносил на запад красную нитку, обозначающую линию фронта.

— Новороссийск снова наш, — приближался кто-нибудь к карте и вдруг замечал, что Новороссийск уже отмечен.

Через минуту-другую входил новый посетитель, быстро раздевшись, шел к карте:

— Взят Новороссийск, — и видел, что его опередили.

Потом появлялся кто-нибудь еще, смотрел на карту:

— А-а, отметили...

Однажды при Степанове пришел в столовую небритый человек, вернувшийся из какой-то дальней поездки за строительными материалами, посмотрел на карту и заплакал. Накануне был освобожден город, где у него осталась семья...

Красная нитка на карте ползла все дальше и дальше — на запад, на юг. Миллиметры на карте — десятки городов и сотни сел на земле, с десятками, сотнями тысяч людей.

Николай Николаевич Захаров приходил в столовую не часто и тоже первым делом привычно бросал взгляд на карту, хотя такая же висела у него в кабинете.

Сегодня он обедал здесь. Степанов едва вошел, как увидел его.

— Товарищ Степанов, — позвал его Захаров, — присаживайтесь... — и указал место рядом с собой.

Задание выяснить состояние школ в районе дал Галкиной Захаров. Теперь он хотел узнать, в каких селах и деревнях побывает Степанов.

Степанов ответил.

— Поезжайте, поезжайте! Вернетесь — зайдите и ко мне. Успехов вам!

Когда Захаров ушел, Троицын, сидевший у окна, спросил:

— Степанов, это не вы Орлика зафрахтовали?

— Я...

— Придется транспорт у вас отобрать, — не переставая жевать, проговорил Троицын, уверенный в своем праве.

Степанов подсел к нему.

— Эх, Федор Иванович! — сказал с сожалением. — Был здесь Захаров — вы молчали, ушел — завели спор.

— Погодите вы! — Троицын недовольно махнул толстой короткой рукой и полез во внутренний карман пиджака, достал вчетверо сложенный листок: — Читайте...

Степанов взял листок, развернул... Записка была написана на отличной белой и плотной бумаге с зубчиками по краям.

— На такой немецкие господа писали, — заметил он, разворачивая записку.

Простым карандашом на ней было старательно выведено:

Товарищ Троицын!

Приезжайте в Костерино. Мост не строят.

— Кто это пишет? Какой мост?

— Неподалеку от Костерина — строительного материала на пять барачков...

И Троицын рассказал Степанову о лесе, заготовленном полицаями для постройки новых домов:

— Думали, что немцы здесь — на века, хоромы хотели себе поставить. Лес заготовили превосходный... А тут пришлось драпать... Не до хоромам стало!.. Я ездил на место, выяснил: штабеля — неподалеку от шоссе, подъезд к ним удобный, машины пройдут. Правда, на дороге Костерино — Дебрянск нет моста... Вернее, есть небольшой мосток, на телеге переехать можно, а машины с грузом не пройдут. Решили строить... Договорились: машины дает воинская часть, рабочую силу поставит Костерино... Но, видно, что-то случилось... Так что придется лошадку у вас отобрать... — заключил Троицын.

— А кто пишет?

— Не знаю, подписи нет...

Степанов понимал, что дело у Троицына важное и, пожалуй, срочное, но отдавать лошадь ему не хотелось.

— А другой лошади нет? — спросил он.

— Откуда?..

В дальнем углу звякнула алюминиевая ложка и послышался голос Соловейчика:

— И кто же это срывает план работ? — Соловейчик забарабанил пальцами по столу. — Выходит, все есть, а мостика-то не будет? Так, что ли?

— Выходит, так... — Троицын положил листок на стол, хлопнул по нему ладонью: — Сигнал в обход председателя сельсовета...

— Что же он за человек такой? Не может даже известить, что и как? — спросил Степанов.

— Фронтовичок, — с иронией ответил Троицын.

— Бросьте вы это дурацкое слово! — рассердился Степанов. — Фронтовичков нет, есть фронтовики!

— Хотелось, чтобы было так. А на деле иногда... Вот недавно ехал в область, вдруг появляется в вагоне «артист»... Поет что-то жалостливое, а потом протягивает шапку: «Пролившему кровь за Родину подайте на пропитание!» А от самого сивушный дух за версту...

— Значит, не фронтовик! — ответил Степанов. — Не достоин этого звания. А «фронтовичок» — такого слова нет, есть — «спекулянт». Выходит, в Костерине как раз такой «герой»?

— А черт его разберет. Мне он показался каким-то шалым... А может, случилось что с ним... в тифу свалился... надорвался, таская бревна... А моста нет, — повернул на свое Троицын, — и выкручивайся, начальник стройтреста, как знаешь и умешь! Надо мне ехать, Степанов.

— И мне надо, Троицын.

— Что вы спорите, — снова вмешался Соловейчик. — Тебе... — обратился он к Степанову, но тут же поправился: — Вам куда нужно ехать? В Красный Бор? Так?

— Да, в Красный Бор и в колхоз имени Буденного.

— А Костерино твое, Троицын, почти на дороге в Красный Бор.

— Восемь верст в сторону, Соловейчик, — поправили из другого угла.

— Ну, восемь километров, — согласился Соловейчик. — Степанов довезет, тебя до твоего заветного Костерина, сбросит, а сам поедет дальше.

Троицын, отвернувшись от Соловейчика, неожиданно резко двинул через плечо большим пальцем руки в его сторону и, обращаясь ко всем, но только не к нему, ядовито сказал:

— Все знает! Все организует! А на чем я обратно вернусь? Или мне в Костерине оставаться?

— Проявишь инициативу на месте — и вернешься.

Троицын, которому, судя по всему, успели надоесть всегдашние хитросплетения Соловейчика, ответил ему, обращаясь опять-таки ко всем:

— Брось Соловейчика, связанного по рукам и ногам, в муравьиную кучу — через пять минут он будет ехать на муравьях в коляске.

В столовой засмеялись — Соловейчика все знали хорошо. Степанов, который, как и другие, с интересом слушал этот разговор, повернулся к Троицыну:

— Федор Иванович, я могу заехать в Костерино и разобраться. Полномочия даете?

— Можно и так, — проговорил, как бы разрешая, Соловейчик.

— Можно? — с иронией переспросил Троицын.

— Тебе, Федор Иванович, не надо бы сейчас отлучаться из Дебрянска. А полномочия какие? — Это Соловейчик уже обращался к Степанову. — И товарищ Троицын — актив, и вы, товарищ Степанов, — актив.

— Верно, — согласился Троицын, — только этот актив в строительном деле небось ни бум-бум!

Соловейчик рассмеялся:

— А кто из нас в своем деле так уж «бум-бум»? Нужно — и приходится разбираться... Помню, приехал я за хлебом, а до этого деревню только в кино видел... А по хлебозакупке оказался не последним!..

— Как фамилия председателя? — спросил Степанов.

— Фамилия его Востряков... Можете действовать от моего имени. Как вам будет угодно, Степанов, — ответил Троицын.

Больше всего Степанов боялся не нападения скрывавшихся, как говорили, еще кое-где в лесах бандитов и не волков, обнаглевших до того, что в поисках пищи забредали на окраины Дебрянска. Больше всего он боялся какой-либо катастрофы — хотя бы и пустяковой — с упряжью. Порвется какая-нибудь постромка или — как она там называется? — другая непременно штуковина из лошадиной амуниции — что он будет делать, да еще под вечер? Встречных, кто бы мог помочь, не дожدهшься — пока ни один не попался. И чем ближе к

ночи, тем менее вероятной будет такая встреча. Кто потащится в город на ночь глядя?

Понимая, что лошадь все же отдать придется, сторож перед отъездом проверил, насколько хорошо Степанов знает, как проехать в Костерино и Верхнюю Троицу, где колхоз имени Буденного, и в Красный Бор. Выяснилось, что Степанов, в чье распоряжение он отдает лошадь, о том, где находятся эти села, имеет весьма смутное представление. Тогда сторож как мог понятнее растолковал ему, по какой дороге надо ехать, где свернуть, где не сворачивать, где могут быть еще не наведены мосты и как тогда объезжать. Под конец спросил:

— Оружие-то тебе дали?

Степанов в удивлении посмотрел на него: «Всерьез? Шутит?» Но сторож, видимо, не шутил.

— Зачем оно мне?..

— И то верно: никого еще не убили, слава богу. Крой, Степанов!

Лошаденка трусила рысцой, телега, покачиваясь, катила по торной, мягкой дороге. Проезжал он черные пепелища с одинокими печами, деревни в пять — восемь изб... Некоторые села и деревни возродятся на своих исконных местах, некоторые навсегда исчезнут с лица земли, и только из рассказов старших молодые будут знать, где стоял родной их дом... И много еще лет, распахивая уже совсем не новину, плуги тракторов будут наткаться на остатки кирпичных оснований печей, будут выворачивать из суглинка на свет божий чугушки, кастрюли, ложки, и уже не вспомнить никому, кто жил здесь, кто явился здесь в мир на радость и муки, был ли чем знаменит, прославив свое селение, или просто жил, честно исполняя свой долг...

Костерино стояло километрах в восьми от дороги в Верхнюю Троицу, нужно только свернуть вовремя. Раньше было — второй поворот направо после того, как выберешься из перелеска. А теперь... Так много появилось неизвестно куда ведущих дорог, проложенных в ходе боев и здесь же забытых, что приметить второй поворот на Костерино было делом непростым. Слава богу, что сторож счел необходимым вооружить Степанова точной приметой: сожженный советский танк.

Сначала Степанову попался разбитый «фердинанд», а вскоре наш танк. Свернув, Степанов нетерпеливо всматривался в даль: что за река,

что за мост нужно будет возводить?

Река оказалась узкой, но бойкой: течение быстрое. Один берег крутой, другой пологий. В реке у берега торчали сваи... На берегу — бревна и щепы... Мост начали строить, но не закончили. Колея уходила влево, к небольшому мостику с дырявым настилом.

«Он, похоже, и телеги не выдержит», — подумал Степанов, но другого пути не было, и он тихонько тронул вожжи. Лошадь ступила на мостик, который затрясся, заскрипел — вот-вот рухнет! — но, как это ни странно, они оказались на другом берегу целыми и невредимыми. Вскоре Степанов увидел Костерино. Хотя заметно вечерело, он, бросив несколько взглядов на крестьянские усадьбы, безошибочно признал в Костерине деревню малопривлекательную. За дворами — ни яблонь, ни груш, ни кустиков малины или смородины. Он знал рассуждения таких домохозяев: «Посадишь яблоню, а потом десять лет жди, когда она одарит тебя яблоком. Да еще, может, вымерзнет или заяц попортит...» Сажали картошку, капусту: отдача была по сравнению с садом мгновенной. Свезешь на рынок, получишь деньги — и живи себе! И на улице, уныло тянувшейся куда-то в поля, тоже ничего, кроме ветел. Вбил кол — сама вырастет! Жили интересами одного дня, считая, что главное — быть сытым при минимуме забот... Неприязнь Степанова к костеринцам росла.

Не успел он проехать и половины безмолвной улицы, как на дороге показалась невысокая молодая женщина.

— Не из города, не к председателю? — спросила она. — Лошадь больно знакома...

— К председателю... — ответил Степанов и назвал себя.

Вскоре лошадь оказалась на дворе, Степанов — в горнице.

— Где же хозяин? — спросил он, осматривая голые стены и случайную мебель: красного цвета комод, кушетку, обитую выцветшим зеленым плюшем, венские стулья и топорной работы табуретки.

— Спит. Пьян.

— Вот как? И часто это с ним?..

— Бывает... Садитесь, товарищ Степанов. Закусим, поговорим...

Действительно, поставив еду, Клава, как звали женщину, завела разговор:

— Человек много перенес, раненый-перераненый... А тут эти, сволочь на сволочи!.. Того и гляди, голову проломают и скажут, что так и было... Да! — спохватилась она. — Самогонку поставить?

— Не надо.

— О чем это я?..

— О костеринцах, — подсказал Степанов.

Бойкая, черноглазая, она открыто и пристально посмотрела на Степанова и заключила:

— Костеринцев вы сами знаете... Что тут говорить... — Она считала, что уже успела перетянуть Степанова на свою сторону, вернее, на сторону председателя.

— Простите, а вы кто Вострякову? Жена?

— Жена. Но еще не расписались: некогда. Артем пьет, иногда скандалит... Недругам есть за что зацепиться... Бывает с ним тяжело, но я сочла своим комсомольским долгом выйти за него замуж и помочь стать на ноги. Перевоспитать.

«Что она говорит?» — изумился Степанов и заметил:

— Замуж по долгу не выходят.

— А я вот вышла! Мне двадцать, ему — сорок пять. А вот вышла! Чем больше она говорила, тем резче, задиристее звучал ее голос.

Что нужно было оправдывать в этом браке? Она будто щеголяла своим чувством долга. А может, просто уговаривала сама себя, что не страх засидеться в девках толкнул ее на это.

— Что ж, дело ваше... — сказал Степанов. — Но лично я убежден, что по долгу замуж не выходят. Ничего из этого не получится... Ну, а что с мостом? Почему до сих пор не наведен?

— Не хотят, и все. Вредные они, эти костеринцы!

— Проводите меня, пожалуйста, к самым вредным...

— Не надо вам ходить, товарищ Степанов! — запротестовала Клава.

— Почему?

— Вы же знаете их! Это такие отпетые!..

— Если убьют, произнесете над моей могилой речь, у вас это получится, — резковато сказал Степанов и встал.

Клава не могла понять: шутит?

— Ладно... Как хотите... Пожалеете, — предупредила она. — Оружие у вас есть?

— Нет..

Она зачем-то заглянула за ситцевую занавеску и сказала Степанову:

— Пойдемте.

На улице стемнело, и, не посмотрев на часы, уже не разобрать, вечер или ночь. Ни огонька, ни луны...

— В этом — сын-полицай... Осужден... — показывала Клава на большую избу. — Рядом изба — муж-полицай...

— Ну, спасибо, «порадовали», — покачал головой Степанов.

— Я вам не нужна больше?

— Нет.

Клава демонстративно повернула обратно. Степанов посмотрел ей вслед и пошел к большой избе. Постучал в дверь раз, другой и, не услышав отклика, настороженный, вошел в сени. В темноте нащупав дверь, потянул на себя. В кухне на шкафу стояла коптилка, напротив шкафа, в углу, за столом сидели старуха, молодая женщина, двое ребят. Из одной миски ели толченую картошку.

— Здравствуйте, — остановившись в дверях, сказал Степанов.

Его словно не слышали. Взглянули и продолжали есть, только старуха кивнула головой, отвечая на приветствие.

— Я стучал, — сказал Степанов, оправдываясь.

Здесь, видимо, сжились с новым своим положением, перестали считать себя хозяевами дома, да и хозяевами собственной судьбы.

— Чего тебе? — повернулась к Степанову старуха.

Он не знал, с чего начать. Казалось, было бы легче и проще встретиться с явным врагом.

Рассмотрев неподалеку от стола табуретку, Степанов опустился на нее. Старуха выдвинула ящик, достала алюминиевую ложку и, обтерев тряпкой, протянула незнакомцу, который все же был гостем.

— Спасибо... — отказался Степанов. — Я из города, — начал он и, рассказав, что в городе тиф и нужен лес для больницы, спросил: — Почему же мост не достроен?

— Костеринцам власть назначена... — ответила старуха. — Ты с ней и поговори...

— А вы мне ничего не хотите сказать?

Старуха повернулась к нему. Более горестного и снисходительного взгляда Степанов еще не видел.

— Что ж мы сказать можем?.. Мы?! Случаем, не ошибся ли домом?

— Нет, не ошибся... У вас сын служил полицаем?

— В том-то и дело, что у нас... У нас, а не у других... Такие уж мы «счастливые»!..

Картошку доели. Облизав ложки, мальчик и девочка ушли, за ними — молодая женщина. Старуха перекрестилась и, поднявшись, начала убирать со стола, не обращая внимания на Степанова: хочешь сидеть — сиди... Какая-нибудь минута — и стол уже поблескивал новой тонкой заграничной клеенкой.

— Как вас зовут? — осведомился Степанов.

— Я — Прасковья Егоровна, — с достоинством ответила старуха. Ну, мол, и что?

— Прасковья Егоровна, что же тут у вас происходит?

— Ничего не происходит...

— Как же не происходит? Вы молчите, Востряков лежит пьяный, лес вывозить нельзя! Разве это «ничего»? А там, в Дебрянске, от тифа мрут! «Ничего»!

— Растолкай Вострякова и требуй с него... Я-то, мать проклятого полица, при чем? — Последняя фраза сказана с болью, прорвавшейся впервые за весь разговор.

В сенях слышались шаги, натолкнувшись на ведро, кто-то с силой наподдал его и зло помянул черта и еще кое-кого.

Дверь резко распахнулась, в ней стоял небольшого роста, широкоплечий солдат с палкой.

— Востряков, — назвал он себя. Прислонив палку к столу, протянул руку поднявшемуся Степанову и тут же посоветовал: — Надо быть осторожней... Зря без меня пошел.

— Почему?

— Во-первых, власть здесь — я, во-вторых, мало ли что может случиться... — Востряков сел на табуретку и предложил Степанову: — Садись... На днях взрыв был. Две мины за речкой... Кто? Что? Неизвестно. Так что оружия костеринцы не сложили.

— Сам говоришь: «Кто? Что? Неизвестно...» — а обвиняешь костеринцев. Разве ж так можно, Востряков?!

— Они, они... — без прежней напористости ответил Востряков.

Услышав его слова, Прасковья Егоровна в горести покачала головой и пошла к себе.

— Вот так, Степанов... Да что стоишь-то? Садись!

— Может, в другом месте поговорим?

— А что «другое место»? — Востряков достал кисет, протянул Степанову. Закурив, бросил спичку на пол. — Кто сам будешь?

— Учитель.

— Не о том я... На фронте кем был?

— Минометчиком.

— А я артиллеристом. Воевал я, Степанов, скажу не хвалясь, неплохо. Орден, медаль, две благодарности... Я Ватутина видел. Лично. Вот как тебя... И оставил я, Степанов, силу на фронте... Нету у меня прежней, а воевать надо!.. Костерино это я бы разбомбил!..

— Зачем же так? Люди-то здесь советские... А из-за того что кто-то виноват — не так уж их и много было, — стоит ли всех наказывать?

— Да у виноватых в каждом доме родственники, сватья да зятья, двоюродные братья и сестры, свекры и тесты! — Востряков вздохнул: — Бросили меня на участочек! Может, с дороги выпить хочешь?

— Не хочу, Востряков.

— Ну смотри... — Востряков оперся о стену и курил, стряхивая пепел прямо на пол.

— Так почему же все-таки мост не закончен, Востряков? — спросил Степанов.

— Я знаю, что ты с меня спрашивать будешь... — Востряков затаился раз, другой, загасив окурок пальцами, высыпал остатки табака в кисет. — Строили, не очень споро, но уверенно... Пареньки, здоровые старики, годные к делу инвалиды... И вот три дня стоим. Ни с места!

— А что произошло?

— Уверяют, что бревна в лесу заминированы. Тронешь одно — и вся полянка на воздух.

— А за саперами ты не мог послать? Военкомат есть. Обратился бы. Не понимаю, Востряков, о чем тут думать! Теряешь время, а из-за чего?! — напустился на него Степанов. — Мне, что ль, договориться?

— То-то и есть, Степанов, оставил я силы на фронте...

— Об этом я уже слышал.

Востряков словно и не воспринимал слова Степанова, твердя:

— Оставил силы. Ох, как я это чувствую!

Он поднял палец, призывая к вниманию. Круглое, мясистое лицо его побагровело от напряжения.

— Мне нужно было сразу пойти на поляну и разворошить штабеля к черту! Показать, что не испугался! — укоряя себя, сказал Востряков. — А вот не смог, Степанов!

— Подожди, подожди... Зачем же так рисковать? Я говорю, за саперами б послал!

— Ну и что? Приехали бы саперы, а никаких мин нет... Выругались бы или, что того хуже, посмеялись над инвалидом: «Болтовне поверил! Бережет свои переломанные кости!..»

— Думаешь, насчет мин ложный слух, чтоб запугать?..

— Запугать и проверить, на что я гожусь... Но теперь решил: завтра рассветет и я — в Раменскую дачу...

В кухню вошла хозяйка.

— Мешаем мы здесь, Востряков, пойдем... — Степанов встал.

Востряков тоже поднялся. Но прежде чем уйти, спросил, обращаясь к хозяйке:

— Что, бабка? Позаботились собственники, чтобы их добро никому не досталось? А?

— Вот завтра пойдешь и увидишь... — ответила хозяйка.

— А ты все слышала... Я ж пошутил, бабка!

Старуха туже затянула черный платок, повязанный «шалашиком», скрестила на груди руки:

— Тем не шутят, начальник! — Постояла и — за дверь.

— Пойдем, Востряков, — сказал Степанов.

— Зря ты угнетаешь эти семьи, — уже на улице сказал Степанов. — Те, кто виновен, получили свое, а их матери и дети при чем? Да и шутки у тебя, Востряков, не очень вкусные...

— Вот, вот! — подхватил Востряков. — Плох стал Артем Востряков! Проливал кровь — был хорош, а сейчас — лапоть...

— Ладно, хватит тебе! — остановил его Степанов. — Завтра пошлем в военкомат за саперами, и дело с концом...

— Завтра... — сосредоточенный на чем-то, рассеянно повторил Востряков. — Слушай, Степанов, пойдем выпьем, а?

— Хватит с тебя!

— Ты как старшина. Честное слово, как старшина... На фронте, Степанов, я хорошо приладился. А к этой жизни еще нет. — Востряков тяжело вздохнул: — Немцы всех у меня загубили... Один я...

Он неожиданно остановился, обеими руками оперся на палку. Дом был в нескольких шагах. В одной из комнат горела коптилка. Востряков, кивнув на еле освещенное окно, сказал уверенно:

— И Клава меня бросит, Степанов...

— Почему ты так думаешь?

— Бросит!

— Да почему?

— Слишком много рассуждает: почему любит, за что любит!..

Степанов представил себе Вострякова дома, как он сидит на табуретке, курит, стряхивая пепел на пол, и невольная жалость шевельнулась в сердце к этому, как показалось Степанову, бесприютному и простодушному человеку!

— Приладишься, — уверенно сказал ему Степанов. — Не смотри только на всех косо.

9

Едва-едва рассвело, Клава выбежала во двор, сильно хлопнув дверью, вернулась и бросилась будить Степанова. Но тот уже проснулся.

— Артем, никак, в Раменскую дачу подался! — Клава была не на шутку встревожена.

Выяснилось, что почти всю ночь Востряков не спал, иногда бормотал, что он-де лопух, если не может сам проверить, пугают его или нет... А чуть свет подхватился и вот ушел...

Запрягли Орлика и помчались. Клава, сидевшая на повозке позади Степанова, тяжело дышала и повторяла почти без перерыва:

— Быстрее! Быстрее!..

Сейчас Степанов понимал, что в отчаянно смелом решении Вострякова была своя логика. Ясно, что легче и безопаснее передоверить дело саперам... Те, конечно, сразу могут не приехать, потом явятся, но уже всей округе станет известно, чего ради... И вот они метр за метром станут прощупывать лужайку, где сложены

бревна... Потом и сами штабеля... А выяснится — никаких мин! Артиллериста взяли на арапа, и тот сдрейфил, завопил о помощи! А если все-таки мины есть? Что ж, взлетит на воздух он один, Артем Востряков. Так или примерно так рассуждал Востряков.

Всего какие-нибудь часы был Степанов знаком с Востряковым, но за эти часы успел узнать и оценить его.

Костерино, которое могло показаться сонным и днем, жило своими горестями и страстями, обычно не выплескивавшимися за стены домов. Сейчас оно напряженно следило, как по твердой дороге, подымая пыль, мчалась телега с приезжим из города и Клавкой, непонятно как и чем окрутившей присланное начальство. Смотрели в окна, выходили на крылечки, расспрашивали друг друга. Кое-кто до этого видел самого Вострякова, шедшего с топором в руке... Куда? Зачем? Кто-то, кажется Прасковья Егоровна, сказал, что, может, Востряков направился и в Раменскую дачу...

Хотя Клава не раз была в Раменской даче — ходила по землянику, когда ее успевали обобрать в близких местах, — поворот с торной дороги на полянку нашла не сразу. Проскочили мимо, потом, не обнаружив ничего похожего, вернулись, потеряв не менее получаса, однако подоспели вовремя.

Штабеля бревен были уложены посреди полянки, чтобы со всех сторон охаживал их свежий воздух, чтобы больше были доступны солнечному свету и меньше — лесной сырости. Штабеля аккуратненькие, ровные, схвачены тонкой проволокой, укладывали их не спеша, старательно, для себя...

К этим аккуратненьким штабелям с палкой в одной руке, с топором в другой и направлялся Востряков.

— Артем! — закричала Клава.

И хотя до Вострякова было метров сто и в тишине он не мог не слышать этого вопля, он не оглянулся, не отозвался ничем. Шел и шел...

Степанов осторожно спрыгнул и побежал к Вострякову.

— Погоди, Артем! Погоди!

По-прежнему не оглядываясь, Востряков молча шел к штабелям. До ближнего оставалось всего каких-нибудь десять метров. Степанов припустил, забыв о раненой ноге, но Артем был уже у бревен.

— Ложись! — не оборачиваясь, приказал он Степанову и занес топор над бревнами: бах!

Взрыва не последовало, и Востряков застучал топором, рассекая проволоку. Он оглянулся, лишь когда на мягкую землю упали первые два бревна, а вокруг по-прежнему стояла тишина, и он ощутил ее, поняв, что никакой катастрофы не произошло.

Степанов стоял во весь рост неподалеку, Клава выглядывала из-за толстых сосен обочь дороги. Артем продолжал сваливать на землю неошкуренные кряжи, подобранные один к одному...

Степанов, вооружившись надежной палкой-перекладиной, стал молча помогать ему. Они сбросили по несколько бревен со всех восьми штабелей, не обменявшись ни единым словом. Какое бы оно ни было, как бы ни было произнесено, все равно явилось бы лишним.

Издали, от Костерина, тянулись люди: одна фигура, вторая, третья... А навстречу им, медленно и молча, как бы боясь расплескать обретенные чувства, шли Степанов и Востряков. Они прошагали мимо Клавы, которая в растерянности даже не предложила им сесть на телегу, и, когда поравнялись с костеринцами, те один за другим отступили к обочине, словно навстречу шли не двое, а полк. Отступив, провожали взглядом широкоплечего, коренастого Вострякова с палкой в одной руке и топором в другой и высокого, слегка горбившегося Степанова — людей в потрепанных военных шинелях. Проводив взглядами бывших солдат и догадавшись, что те делали на поляне, они скопом двинулись туда удостовериться, что чутье не обмануло их.

Дома, достав из шкафа тетрадь, Востряков стал составлять списки и подсчитывать дни. Только теперь Степанов заговорил с Востряковым:

— Слушай, Артем... Давай точно определим с тобой день вывоза... А чтобы успеть, напишем в город: лес есть, мост будет, пусть только подбросят хотя бы пять — семь мужиков.

— Да ведь не дадут... И кому писать? В стройтрест?

— Нет. В райком партии, Захарову.

Вдвоем написали просьбу.

Востряков вдруг встал, потянулся и проговорил, вопросительно глядя на нового товарища:

— А знаешь, Степанов, наверное, во мне все-таки что-то осталось. На фронте-то я был ничего себе парень. Немцы попомнят Артема Вострякова. Попомнят! — И вдруг, задрожав в ярости, он не сказал, а прохрипел: — Пусть они будут трижды прокляты, эти ублюдки! Ведь всю мою семью, Степанов, всю семью...

— Артем, — тихо проговорил Степанов, взяв Вострякова за плечо. — Утешение слабое, но ведь не у тебя одного так...

— Да, — согласился Востряков. — И все равно жить надо, врагам назло! И Востряков будет жить! Теперь сам дьявол меня не возьмет!

— А говорил: «Все силы оставил...» Это как судить, брат... Оставил или нашел. Небось уходил на фронт «сырым и непеченым»? А?

Востряков махнул рукой и, грустно улыбнувшись, спросил:

— И ты ведь вернулся другим? Так или не так?

Вопрос оказался для Степанова неожиданным. Он никогда не подводил итогов, что ли, своего пребывания на фронте. Да и можно ли их подвести? И сейчас он не спеша складывал фразы, пытаясь ответить, казалось бы, на простой вопрос.

— Да, другим не другим... Как тебе сказать, Артем? Я человек, видно, не храброго десятка и никогда за храбреца выдавать себя не пытался... Но вот, видишь, какое дело: под бомбежками был — страшновато, но не терялся, под артобстрелом — тоже, и пулеметный огонь мне знаком... Все-таки выжил. И главное — многих фашистов уложил... Стало быть, не трус...

— Сказал тоже — трус! Ты — и вдруг трус! — недовольно пробурчал Артем. — Про меня говоришь, что я тверже стал... А ты? Ты ведь, верно, тоже...

— Конечно и я... А потом, как бы тебе сказать... — Степанов подбирал слова, словно не замечая возражения Вострякова. — Понял я, что человек отвечает за все. Должен отвечать... — И добавил поспешно: — Нет, нет! Не думай, что я научился этому. Понять — одно, а вот научиться!..

— Это правда. Научиться отвечать за все — дело непростое!.. — согласился Востряков.

На следующий день Степанов был уже в Верхней Троице.

Верхняя Троица — некогда богатое село на берегу небольшой речки — сейчас состояло из шестнадцати уцелевших дворов, а на остальных усадьбах — амбарчики, приспособленные под жилье, и землянки.

Ни одного человека не увидел Степанов на улице, словно тут никого и не было. Не гавкали собаки, всегда предупреждавшие хозяев о появлении незнакомца, не кудахтали куры...

Тишина...

Но вот мелькнуло лицо в одном окне, в другом, в третьем...

Степанов остановил лошадь и, спрыгнув с телеги, чувствуя, как ослабели и стали какими-то ватными ноги, направился к ближайшему дому. Там уже заметили его, пожилая женщина вышла на крыльцо и молча кивнула ему.

— Здравствуйте, — ответил на приветствие Степанов. — Скажите, пожалуйста, где живет Малышев?

Женщина с любопытством осмотрела приезжего и указала:

— А вон его дом, милоч... Из района?

— Да...

— И давно в наших краях?

— Недавно...

— А допрежь в Москве не приходилось бывать?

— Бывал...

— Цела ж она?

— Ну а как же?!

Женщина мелко перекрестилась.

— Брехали, нехристи, невесть что... Тьфу! — Но все же сомнение не отпускало ее: — Вся цела? И Кремль?

— И Кремль, и все цело... Правда, отдельные дома пострадали...

— Уж не без того!.. А то, мол, — целиком... — И женщина сделала движение рукой, каким смахивают со стола зараз всё: вот так, мол, и Москву... — Ну, слава богу... А ты, наверное, за хлебом или за картошкой?

— Нет, по другим делам.

Женщина покачала головой: ну-ну!..

Малышев жил неподалеку, и Степанов, не садясь на телегу, повел подводу к его дому. Постучал в дверь. Открыли ему сразу, будто там

только и ждали его стука. Крепкая старуха вопросительно и не без тревоги смотрела на приезжего.

— Простите, Малышев Иван Алексеевич здесь живет?

— Здесь. — Однако старуха не торопилась приглашать Степанова в дом. — Кто ж вы будете?

— Из города...

— А я и не знаю, дома ли он сейчас... Намедни все собирался в Красниково съездить... Там сестра у него старшая за агрономом... А вы, наверное, за хлебушком...

— По школьным делам я, по школьным... Нельзя ли все же выяснить: дома Малышев или нет? — начиная сердиться, спросил Степанов. Он подозревал, что старуха явно хитрит.

— Проходите, проходите, здесь я... — слышалось в сенях, и на свет вышел хозяин, однорукий, маленького росточка, в армейских галифе и старом пиджаке. — Малышев, — подал он Степанову левую руку.

— Степанов, учитель.

Предложив приезжему раздеться и пригласив за стол, Малышев молча курил, ожидая, когда заговорит учитель, а Степанов все никак не мог взять в толк, что это за манера встречать людей... Со старухи, конечно, спрос небольшой, но тут дело, видно, не обошлось без самого председателя... Он-то чего от людей скрывается?

— Я приехал по делам школы, товарищ Малышев. Не буду рассказывать, что значит открытие школы после всего, что здесь было. Одно только замечу: учение и слово нужны так же, как хлеб.

Малышев кивнул, соглашаясь.

— Лес для школы выделен, а возить не на чем, — коротко сказал он. — Пока будем заниматься в одном из домов. Учитель есть.

— Учебников, тетрадей, конечно, нет?

— Спрашивали об этом, товарищ Степанов, многие спрашивали, уже раз семь. Нету.

— Чем мы вам можем помочь?

— Где вы возьмете тягло, плотников? — вопросом на вопрос ответил хозяин. — Город и тот... страшно смотреть... — Малышев отвернулся. — Все, конечно, поставим, и лучше прежнего. Только чего это стоить будет! — Лишь сейчас в голосе Малышева, до сих пор спокойном и даже почти лишенном страсти, отчетливо зазвучали

нотки волнения. — Ладно! Хватит! — закончил Малышев. — Мать, накрывай-ка нам на стол, зови всех!

Зная, что сейчас появится на столе, Степанов упреждающе поднял руку:

— Погодите, давайте сначала дела завершим. У вас партийной организации нет?

— Воюет организация. Я да еще один коммунист — вот я вся партийная прослойка.

— Комсомол?

— Комсомольцы есть. Комсомола нету. Трудно собрать... Но стараемся...

— Кто-нибудь из райкома был?

— Как же? Сам товарищ Турин, Иван Петрович.

— Вот как?

— Да... Он тут бывает... То проездом, то так...

— Как же без учебников?.. — раздумывал Степанов. — Старых не удастся найти?

— Ничего не осталось. Часть порастеряли, часть сгорела вместе с домами... Да и сами пожгли много — на растопку, на самокрутки...

— Ну, а учитель? — наконец спросил Степанов. — Хороший?

— Ну как тебе сказать...

— То есть? — насторожился Степанов. — Сомневаетесь в нем, что ли?

Малышев помолчал, словно что-то прикидывал в уме... Потом ответил, взвесив каждое слово:

— Учитель-то я сам... Пока не будет другого, учить придется мне. Не могут сразу всем учителей прислать... Может, кто вернется из наших... Может, потом вы подошлете...

— А ваше образование?..

— Окончил библиотечный техникум. Библиотекой заведовал, на других службах был... Да что там! Придется вспомнить, чему в школе учили. В объеме четырех-пяти классов как-нибудь сдюжу, а старше у нас школьников и не будет, пожалуй. Старше уже работники... Ведь два года не учились...

Степанов понимал, что не так-то просто начать Малышеву педагогическую деятельность, но ведь учителя сейчас действительно найти трудно. Через какое-то время, конечно, полегчает...

— А как же председательские дела? — спросил он. — Ведь не мало и их?

— Невпроворот. Делаю самые главные: хлебозакуп, лес — семьям фронтовиков, помощь солдаткам-вдовам, сиротам...

Между тем дом давно уже пришел в движение: звякали тарелками, кто-то куда-то бегал, несколько раз глухо стукнула печная заслонка... Стол был накрыт свежей льняной скатертью, на ней появились стаканы, бутылка самогонки, капуста, хлеб, огурцы...

К отцу, поздоровавшись с гостем, под села девочка лет восьми, появилась молодая еще жена Малышева. Одна старуха все продолжала суесться, принося то одно, то другое, пока Степанов не попросил ее:

— Присядьте и вы, мамаша!

Хозяин угощал, ел, пил сам и часто гладил девочку по светловолосой головке, в эти минуты, казалось, забывая обо всем.

Никто еще не вызывал у Степанова таких симпатий, как этот председатель колхоза. Ему и хотелось помочь больше всего. Но что можно сделать? Выполняя поручение районо, он приехал и узнал, как обстоит дело со школой. А дальше что? Никто не даст Малышеву ни тягла для вывозки стройматериалов, ни учебников, потому что ни того ни другого в районе нет. Завтра утром он, Степанов, встанет и уедет, а этот одорукий председатель останется с тем, с чем был и до его приезда... Видно, не зря старуха оберегала своего сына от тех, кто регулярно или нерегулярно наезжает сюда из Дебрянска. Сколько их!

С чувством вины перед этим молчаливым, сдержанным человеком вставал Степанов из-за гостеприимного стола.

11

Не было еще шести часов утра, когда Степанов проснулся... Хотя его положили в отдельной маленькой комнатке рядом с печкой, дышавшей теплой глиной, он услышал приглушенный разговор, осторожные шаги. В доме шла работа: гремели чугушки, лязгала заслонка, переливали воду из ведра...

Надо было вставать, одеваться и ехать в Красный Бор. За час он доберется до него...

Едва Степанов появился на кухне, старуха всплеснула руками:

— Господи! А вы-то чего? Вам-то куда торопиться?

Она была убеждена, что городские, тем более начальники, спят допоздна, закусывают не спеша и, отдав соответствующие распоряжения, едут дальше.

— Надо... — нехотя ответил Степанов и осведомился: — А Иван Алексеевич?..

— Пошел народ собирать...

— Для чего?

Старуха, ставившая в печь чугунок с картошкой, обернулась:

— За лесом поедут...

— А на чем?

— Есть шесть коров, есть еще сильные бабы...

— И на коровах возят?

— Еще как! На бодливых не выходит, а на других — можно...

Молока, правда, меньше дают, так что делать?

— Да, да... — пробормотал Степанов, который чувствовал себя все более неловко.

Старуха подвинула чугунок ближе к огню, подкинула дровишек.

— А то еще бабы... Которые сильные, говорю, те на себе...

Степанов молчал. Что скажешь!..

— Иван Алексеевич домой еще зайдет? — спросил, быстро умывшись.

— А как же? Завтрак приготовлю, и явится.

Действительно, когда старуха поставила на стол чугунок с картошкой, огурцы, хлеб и молоко, пришел хозяин.

— Ну, товарищ Степанов, — сказал он, поздоровавшись, — вам, видно, полагается посошок на дорожку... — Малышев подошел к шкафу и достал бутылку с остатками самогона. — Выпьем — и с богом. Лошадь вашу дочка подкормила... Садитесь. И ты, мать, садись... Галя, доченька! Где ты там? Быстрее!..

Степанов сел.

— Пить не стоит, Иван Алексеевич... Хватит. Позавтракаем и поедем в лес.

— То есть?

— Повозим лес и на Орлике...

Малышев вскинул на гостя добрые серые глаза, с полминуты смотрел на него, словно изучая.

— Михаил Николаевич, лошадь райисполкомовская, одна, видно, на всех... — напомнил Малышев, чтобы Степанов хорошенько уразумел, на что он решается.

— Знаю, — ответил Степанов. — Позавтракаем и поедем в лес.

— Ну, смотрите, Михаил Николаевич... — сказал Малышев.

Старуха мелко перекрестилась, и только Галя продолжала жевать как ни в чем не бывало.

...До самых сумерек Малышев, Степанов, трое парней, два инвалида и семь женщин возили из ближнего леса строительный материал для школы и домов. Деревенские сначала все поглядывали на незнакомца и тайком от него осведомлялись у Малышева, кто ж это такой. Спешили. Как можно не воспользоваться счастливым случаем? Не обедали: послали ребят за хлебом и картошкой, пожевали на ходу.

Строевой лес возили из ближайшего бора на дрогах. Чтобы уместить пятиметровое бревно, задок оттягивался на нужную длину на распорках, которые здесь называли кривулями. Их можно было укрепить на водиле и в двух, и чуть ли не в трех метрах от передка. Остальные нужные метры наращивали кривулями.

Корова, запряженная в такие дроги, выглядела странно: дуга над рогатой головой, приспособленный лошадиный хомут, на других — самодельное ярмо из кожи и войлока, на спине — чересседельник, на морде — аркан...

Пока грузили и веревками крепили бревна или, если тяжелое, одно бревно, корова стояла и, чувствуя непривычный гнет упряжи, тревожно мычала, призывая людей разобраться в странном явлении и помочь ей. А когда хозяйка брала ее за аркан и нужно было тащить дроги с грузом, не могла понять, почему становилось так тяжело, с таким трудом вдруг давался каждый шаг и почему люди кричали на нее и били по бокам хворостинами...

На подъемах, жалеючи коров, бабы сами хватались за оглобли: кто за одну тащил, кто за другую, кто толкал дроги сзади... В такие минуты корове идти становилось гораздо легче, но вскоре опять постепенно привязывалась эта тяжесть, и тогда чаще свистели хворостины...

— Животинка ты моя! Кормилица...

И снова бабы, жалея скотину, стремились взять основную тяжесть на себя.

— Хватит, бабы, — просил тогда Малышев. — Себя пожалейте хотя бы ради ребят...

Лицо и шея его багровели еще больше: чтобы не надорвались бабы, нужно было надрывать на крутых подъемах самому. Нет другого выхода... Ни из чего силы не возьмешь.

Все просто и ясно.

Что же... Степанов не раз видел, как, надрываясь, вытаскивали солдаты из колдобин машины и орудия. Сам надрывался. Но здесь — женщины!.. Женщины!.. И не только молодые, но и старухи... И они таскали бревна, грузили, помогали везти... А чего стоило валить деревья, ошкуривать!..

И при погрузке председатель тоже старался ухватиться за тот конец, что потяжелев. Единственной рукой цепко захватывал тяжеленный комель и, командуя: «Раз-два, взяли!», укладывал на передок. Степанов видел, что председатель из тех людей, которые за любое трудное дело берутся первыми...

С Орликом, которого тоже впрягли в дроги, управлялся маломощный паренек: чего проще! Бабы, да и сам Малышев, поглядывали на лошадь и удивлялись, что вот так, оказывается, привычно и легко можно возить тяжеленные бревна...

— Господи! — сказала одна. — Возили же когда-то!..

Паренек, приданный Орлику, первый раз чуть не наделал беды. Он некрепко держал его за узду, и на спуске к мостику Орлик вырвался... Тяжело груженые дроги толкали его, и он помчал, с грохотом проехал по хлипкому настилу, чуть не выворотив перила концами бревен, и остановился перед подъемом.

Малышев с укором посмотрел на паренька, ничего не сказал, но на спуске в следующие ездки вел Орлика сам, не рискуя подвергать такую ценность, да еще чужую, опасности!

Лес возили уже около шести часов. Но нужно было знать и меру...

Струзив на горке, где положено было стоять школе, очередную партию бревен, Малышев сказал:

— Спасибо, Михаил Николаевич... Мы вас не забудем. — Он благодарно пожал Степанову руку и передал вожжи.

— А сколько километров до Красного Бора? — спросил Степанов.

— Отсюда верст девять... Все лесом и лесом...

— Давайте сделаем так, — решил Степанов. — Я Орлика оставлю, а завтра вернусь во второй половине дня. Вот к этому времени, пожалуйста, вы мне его и освободите. Ему надежнее быть в ваших руках, чем в моих, — пошутил он. — Я ведь ни распрячь, ни запрячь...

12

К селу Красный Бор вел старый большак. Вступив в его ущелье, Степанов вспомнил, что когда-то, кажется, он бывал здесь... Знакомой показалась эта узкая дорога с неглубокими канавами по обе стороны, летом заросшими травой, ландышем и земляникой, эти стены высокого леса, эта тишина...

Да, те самые места, и был он здесь не один — с Верой. Да и сам Красный Бор, наверное, то самое село, куда они забрели тогда с Верой, где их поили парным молоком и добрая женщина, радостно глядя на девушку, спрашивала: «Какого же это Соловьева наливное яблочко?»

Вот уж чего он не ожидал — пройти по дорогам юности, невольно вернуться к тому, о чем сейчас вспоминать совершенно ни к чему.

Лес был старый, густой, и листья с кленов, берез, дубов облетели еще далеко не все, не то что с одиночек, голыми стоявших под осенним ветром на пути в Верхнюю Троицу. Почти вся дорога — в листьях. Вот здесь больше тополиных, они посветлей и отчетливо выделяются на темной дороге, там, разлапистых, — кленовых, на которых в селах любили печь хлеба...

Да, да, он сам писал когда-то:

Дымок из труб прозрачно-чист —
Пекут хлеба с листом капустным.
Капустный лист, кленовый лист —
Без вас и хлеб не тот, не вкусный.

Степанов остановился, вдруг осознав, что с трудом идет: от высокого того дуба до этого клена тащился несколько минут!.. Только сейчас он понял, что давно уже замедлил шаг, сдерживая возникшую боль в ноге...

Помогая Малышеву грузить бревна, он горячился, суетился, конечно, не в меру. И вот результат. Он знал: так нельзя. Ну а что же ему оставалось делать, когда никто не жалел себя?

Дойдя до небольшой лужайки, Степанов сел на кочку.

И лужайка эта была ему знакома, или, может, так только казалось. Вот неподалеку огромные трухлявые пни, вокруг которых летом столько земляники. Самая крупная — у таких пней. Наверное, она и есть — та самая полянка...

Нет, лучше не вспоминать... Степанов резко встал и вскрикнул от боли.

Он понял, что сделал ошибку: садиться было нельзя — потихоньку бы, но идти. Ступил шаг, еще... Нет! Немыслимо!

Степанов снова опустился на кочку. Что же делать? Кричать о помощи? Просто сидеть и ждать прохожего или проезжего?

Между тем быстро темнело. Вокруг — ни души!

Да, положеньице!..

Степанов встал, с трудом доковылял до орешника и стал вырезать палку понадежнее.

Поздним вечером в дверь дома, где еще светился огонек, громко постучал человек, тяжело опиравшийся на палку. Хлопнула дверь, послышались шаги, и молодой женский голос спросил:

— Кто там?

— Из района... Степанов...

— Извините, учитель?

Степанов, конечно, понимал, что эта осторожность оправданная, и отвечал спокойно. Удивил его только вопрос, учитель ли он. Неужели хозяйка слышала что-то о нем?

Дверь открылась, и, так как в сенях было темно, женщина взяла Степанова за руку:

— Я проведу вас...

Через минуту он очутился в большой теплой горнице и, как был в шинели, опустился на стул, сейчас же вытянул ногу. Перед ним стояла

девушка с двумя косами и с тревогой смотрела на неожиданного гостя.

— Что с ногой? — участливо спросила она. — Ушибли? Ранена?

— Ничего, не беспокойтесь... Я посижу... — ответил Степанов.

— Может, приляжете?

— Ничего... Я сейчас...

— А то прилегли бы...

Гость не ответил, и девушка согласилась:

— Хорошо, хорошо, вы сидите, я сейчас приготовлю на стол...

Степанов кивнул и закрыл глаза. Какое это счастье, что до Красного Бора оказалось не так уж далеко!..

Он не слышал, как девушка объясняла что-то матери и ребятишкам на кухне, не слышал, как она входила в комнату, накрывая стол к ужину... Сидел почти в полузабытьи, закрыв глаза, радостно сознавая лишь одно: не один в холодном лесу, а с людьми и в теплом доме... Прошло с полчаса, прежде чем Степанов немного пришел в себя.

Какой дом! Пол — крашенный. Шкаф, что напротив, — из светлого полированного дуба, очень строгий, изящный, наверняка самодельный. В рамках из такого же дуба — репродукции: «Три богатыря», «Московский Кремль». Стулья тоже из дуба...

Степанов осторожно встал и снял шинель. Терпимо! Можно жить! Сейчас же появилась девушка с косами:

— Давайте, я повешу...

Собственно, почему это он раздевается? Ведь ему нужен председатель сельсовета или колхоза, директор школы...

— Вы знаете, — признался Степанов, — я по школьным делам. Мне нужен кто-нибудь из начальства...

— Очень хорошо, очень хорошо, — успокоила его девушка. — Найдем и начальство. Давайте шинель...

Степанову не хотелось никуда идти, но дело было и в другом: просто нельзя было не довериться этой очень спокойной девушке. Говорила негромко, уверенная, что громче не надо — услышат и так. И ходила неторопливо: успею сделать и так. И в голосе ни одной нотки резкости, нужной для внушения или приказа, одни мягкость и доброта.

Она покоряла, не делая для этого никаких усилий и не ведая того.

— Разрешите, Михаил Николаевич...

«Михаил Николаевич»! Откуда она знает?»

Девушка унесла шинель и шапку, а Степанов подумал?
«Ведь не помнится, чтобы называл ей свое имя и отчество...
Не было этого!..»

Девушка вошла с полотенцем:

— Вы никуда не ходите. Оботрите руки.

Степанов взял протянутое полотенце, один конец его был смочен теплой водой.

— Пожалуйста, к столу, Михаил Николаевич.

— Спасибо. Скажите... — не сразу спросил Степанов, — откуда вы знаете, как меня зовут? Кажется, не встречались...

— Ну как же... — как о само собой разумеющемся ответила девушка, — слыхала не раз. Я — комсомольский секретарь, знаю почти весь городской актив. — И позвала своих: — Мама, Нина, Петя, садитесь за стол!

Сейчас же появились мальчик лет десяти, девочка лет двенадцати, невысокая строгая женщина. Все поздоровались с гостем и сели за стол. Притихшие ребята с сочувствием посматривали на Степанова.

Из разговора Степанов узнал, что девушку зовут Тоней. Фамилия ее Агина. Мебель в горнице такая потому, что отец — плотник, все — дело его рук. Сейчас он на фронте... Он большой мастер... Много лет назад, поспорив с кем-то из города, одним топором вырезал смешного человечка, поделку взяли затем в областной музей.

Глядя на Тонино лицо, освещенное семилинейной лампой, Степанов все пытался понять, чем оно так притягательно, почему не хотелось отводить от него взгляда. Наверное, потому, что исходило светом спокойной, ласковой красоты... О том, что лица светятся, Степанов слышал и читал не раз, но увидел сам, пожалуй, впервые.

— Что в городе, Михаил Николаевич? — спросила Тоня, подкладывая на тарелку гостя соленые грибы, картошку. — Как там товарищ Власов, Козырева, Вера Леонидовна Соловьева?

— Живут, работают...

Тоня опустила глаза, задумалась. Ждала продолжения, но Степанов этим и ограничился.

— Слава богу, не заболели, значит... Мудрено ли у вас!.. Ну, а Захаров?

— Перед самым отъездом видел... В отличной форме. Умный человек!

— Владимир Николаевич?..

— Несмотря на годы, много делает для школы. Такое впечатление, что работа эта помогает ему вновь самоутвердиться. Пришлось, видно, старику много хлебнуть...

Тоня дотошно расспрашивала и про Галкину, и про Троицына, и про других, все чего-то ожидая от Степанова. Но он не замечал этого. И когда перебрала всех, кого мог знать гость, спросила осторожно:

— А секретарь комсомола как? Товарищ Турин?

— Что ему? — с долей дружеской небрежности ответил Степанов. — Работает...

— Что это вы к нему так относитесь? — ревниво спросила Тоня. — Нелегко ему. Сколько у него работы!..

— Ничего, ничего, — ответил Степанов, — ничего ему не сделается.

— Зачем же так?.. — с грустью сказала Тоня. — Или вы в шутку?

— Нет, не в шутку, — стал уверять Степанов, но тем не менее улыбнулся. — Ваня Турин — железный человек... Вот на днях попал в холодную речку — и ничего! Даже ста граммов после не выпил...

— Ой! — всполошилась Тоня. — Как же это он?!

Степанов рассказал, как это произошло.

Узнав все про Турина и убедившись, что купание в холодной воде обошлось без серьезных последствий, Тоня спросила:

— Школу скоро откроют?

— Дело дней. Отремонтируют... — И вдруг замолчал: с чем он ест грибы? Ржаные лепешки... с тем же самым узором! Вот откуда они у Вани Турина! И довольно часто!..

— Михаил Николаевич, вы что-то плохо едите, — заметила девушка. — Может, лепешки не нравятся?..

— Великолепные лепешки! — весело ответил Степанов, и Тоня с удивлением взглянула на него, не понимая, с чего это гость вдруг развеселился.

Заговорили о делах. Степанов узнал, что село Красный Бор чудесным образом почти все уцелело. Быть может, потому, что спрятано в лесных дебрях, стоит в стороне от шоссе... Школа цела, есть два учителя; сохранились кое-какие старые учебники, но вот тетрадей и карандашей нет... Надо, конечно, собрать учителей,

потолковать. Но где? Можно и в школе, но лучше все это сделать здесь, предложила Тоня: ему не нужно будет никуда ходить...

Степанов говорил, спрашивал, слушал, отвечал на вопросы, а мысли его невольно все время возвращались к Турину, который вдруг предстал перед ним в новом, неожиданном свете: «Ай да Иван! Как у него, оказывается, все просто и ладно! Пройдет некоторое время, и Ваня Турин, который, казалось, ни минуты не уделял личной жизни, наверное, женится на этом сокровище, Тоне Агиной... Потом подоспеет какой-нибудь барак или даже дом. Ваня Турин переберется туда с молодой женой и будет жить, пусть и трудно, но обязательно счастливо и в общем, несмотря ни на что, спокойно, потому что ему все совершенно ясно: и с Нефеденковым, и с Ниной, и с будущим города, и с десятками других проблем, как будет ясно и с теми проблемами, что возникнут когда-нибудь в будущем...» Думая о Турине, Степанов с невольной горечью просматривал свою жизнь: «Ну, а я? А у меня?..»

Утром, не выходя из дома Тони, он встретился с учителями и председателем колхоза, а после обеда был доставлен в Верхнюю Троицу, откуда продолжил свой путь уже на Орлике.

Хотя Степанов и без того задержал лошадь больше положенного, не заехать в Костерино он не мог. Свернув у танка, но уже с другой стороны, вскоре заметил свет костра, примерно там, где должны были наводить мост через Ревну.

«Неужели и сейчас работают?»

Через несколько минут он увидел и языки пламени, рвавшие в холодном воздухе ввысь, и фигуры людей, по двое таскавших не очень толстые бревна. Делали настил. Перила да настил завершали возведение любого деревянного моста. Значит, справились...

Степанов остановил Орлика и подошел к работающим, среди которых сразу различил Вострякова, Дубленко и еще двух знакомых солдат, присланных из Дебрянска по его с Востряковым просьбе. Всего же было человек двадцать. Одни заготавливали бревна для настила, другие укладывали их.

Звон острой, правильно разведенной пилы, совершенно, свободно и как бы легко ходившей туда-сюда, певшей в умелых руках, обрадовал Степанова и сказал ему о многом. Уж это-то он знал: топоры играют в руках настоящих плотников, тешут ли они толстенные кряжи или

очинивают топорами карандаши. Огонь-пилы звенят в настоящих, руках, работа кажется легким и простым делом, так и хочется стать на место одного из пильщиков и поиграть пилой. Знал и другое: в неумелых руках пилу заедает и выбившиеся из сил, измученные, вспотевшие люди не могут перегрызть ею простую чурку. Пила не наточена, не разведена. Да и навыка нет... Такое часто можно видеть в теперешнем Дебрянске.

Степанов посторонил одного из пильщиков:

— Дай-ка мне...

Только вошел во вкус, прилачился, подоспел Востряков:

— А, минометчик приехал!

— Как видишь...

— Знаешь, уважил Захаров нашу просьбу...

Востряков не дал Степанову попилить всласть — ему не терпелось поговорить с ним, показать мост. Он заставил Степанова испробовать на прочность перила, потолкать ногой настил, сам несколько раз становился то на одно, то на другое бревно, показывая, как крепко, намертво оно уложено.

— Отлично! — от души похвалил Степанов.

Похвала как бы и не обрадовала Вострякова. Сосредоточенный, углубленный в какие-то свои мысли, он тихо проговорил:

— Люди...

Было в этом слове и тоне, которым он его произнес, и удивление перед ними, и укор самому себе.

— Ведь я, Степанов, ни одного слова агитации не сказал и матом никого не обложил, даже мысленно... Все поняли... Ты уехал тогда, а через полчаса-час начали собираться у моего дома, кто с пилой, кто с топором... Шестнадцать человек!

— Никому ничего не сказал?

— Ни слова, минометчик!.. Доложи: я не подвел Дебрянск, — потребовал Востряков. — Прибудут машины — вывезем лес в срок.

— Народ тебя не подвел, — уточнил Степанов.

— Верно, — согласился Востряков. — Шли мы сюда, слышу, твоя Прасковья отвечает соседке: «Что ж мы, не русские люди? Не понимаем чужой беды?»

— Хорошо... А почему Прасковья Егоровна «моя»?

— Как тебе сказать, Степанов... — затруднился с ответом Востряков. — Ты первый к ней иначе, чем я... подошел, значит...

Все складывалось как нельзя лучше — мост есть, лес вывезут в срок, Востряков пришел в себя, и Степанов счел за лучшее как можно скорее отправиться в Дебрянск. За то, что задержал Орлика, там, конечно, выругают, но от добрых вестей из Костерина помягчают и в конце концов не так уж строго взыщут.

Когда они проходили мимо Дубленко и парнишки; работавших пилой, Востряков остановился.

— Во, Степанов, — нарочито грубо сказал Востряков и ткнул пальцем в сторону Дубленко. — Говорит с мужиком — заикается! Беседует с девкой — нет! Почему это, а?

Рассмеялся и хотел двинуться дальше, но краснощекий от жаркой работы Дубленко вдруг выпрямился, кровь отхлынула от лица и, как будто это было очень важно, громко, чуть не выкрикивая, сказал:

— Я в-сегда з-заикаюсь! И с-с д-девками!

— Слушай! Чего ты раскипятился... — стал успокаивать его Востряков. — Не хотел я тебя обидеть. — И прежде чем пройти дальше, приятельски похлопал Дубленко по плечу.

Но стежке между кустов Востряков повел Степанова к небольшому костру, над которым висели два котелка.

— Заправься, Степанов, перед дорогой. — Он потыкал вилкой картошку, но та еще не была готова. — погоди минутку.

— Откуда тебе известно, когда он заикается, когда нет? — спросил Степанов.

— Что?.. — Востряков уже забыл о шутке. — А, этот, Дубленко... Тут заметили: подъезжает он к одной, и, скажу тебе, Степанов, девка стоит того... Соней зовут... Сам я как-то услышал: шпарит он с ней без единой запинки! Да еще как! Мастер художественного слова! Правда, у сеновала было дело... Сам понимаешь: немой заговорит и такой хромой, как я, рысью помчит... А что?..

— Да так... — уклончиво ответил Степанов и перевел разговор: — Картошкой всех кормишь?

— Всех!.. Не думал, Степанов, что они так на работу поднимутся! — Востряков кивнул на людей у моста. Среди них мог быть и тот, кто пустил слух о минах, и тот, кто, заботясь об общем

деле, сигнализировал в район... Сейчас Востряков был благодарен им всем. Пусть и не всегда дружеским образом, но они привели его к согласию с самим собой. А когда предстает он перед ними таким, каков на самом деле, все видят, как Востряков справедлив, самоотвержен и уважителен к людям...

Вскоре картошка сварилась и Востряков стал подзывать людей. Послал он и за Дубленко, но того на месте не оказалось.

— К своей Соне подался, — улыбнулся Востряков. — Соню, Степанов, с картошкой не сравнишь, даже в голодное время. Огонь-девка!

13

Хотя лошадь, на которой ехал Степанов, числилась в райисполкоме под кличкой Орлик, она отзывалась и на другие. В колхозе, давным-давно, ее называли Мальчиком... У немцев, неизвестно отчего, она стала Чумой... Попав в другую деревню, уже после освобождения, превратилась в Зяблика... В Дебрянске именовалась Орликом...

Лошадь послушно трусила в Дебрянск.

Темнело уже в пятом часу, и Степанов, полулежа на телеге, снова, как и прошлый раз на пути сюда, видел наступление сумерек. Каждодневная и таинственная пора! Кругом становится тише, умиротвореннее, мир кажется намного древнее, значительнее и печальнее.

И каждая избенка, выплывающая навстречу, каждый курган и березка, и наклонившиеся в сторону дороги ветлы, и застывший журавль, обыкновенные и ничем не примечательные днем, в сумерках будят в душе то, что и не шелохнется в другое время...

Проплыл на опушке леса небольшой холмик с крестом, сделанным из двух толстых сучьев, перехваченных веревкой... Тополь с грачиными или галочьими гнездами, где не было ни грачей, ни галок... Потом пошли силуэты печей под уже темным небом... А вот тут и печей почти нет — развороченная снарядами земля, на которой стояло село или деревня. Лишь кое-где — кустики черемухи или жасмина, одинокие березки, красовавшиеся некогда перед окнами

домов... Воронки и черные пятна пожарищ... Маленькая собачонка бродила от пепелища одной усадьбы к другой и, учуяв чужого, бросилась в сторону...

Село это или деревня стояло на горе. Проехав его, Степанов стал спускаться в низину. И почти сразу же — перекресток... Соображая, куда ему взять, осмотрелся.

Снизу из сумрака накатывал какой-то однообразный шум. Потом Степанову показалось, что он слышит звяканье железных кружек, голоса...

Он придержал Орлика и, всмотревшись, различил черную подвижную массу: сначала только пятно, потом что-то вроде колонны. Середина ее провисла и не была видна, конец угадывался на спуске к речке, начало — на подъеме от нее к месту, где остановился Степанов. Голова колонны быстро приближались, и уже можно было рассмотреть первую шеренгу.

Шум десятков ног, нестройно ступавших по разбитой дороге, стал громче, люди ближе...

Вдруг словно хлопнула дверь, и Степанов, который не заметил здесь жилья, с удивлением оглянулся. В сторонке от него, там, где чернело нагромождение каких-то бревен, полускрытых кустами, показалась невысокая фигура... Старик с палкой! Длинная борода, усы. На голове шапка...

— Здравствуй, добрый человек! — сказал он, подойдя к Степанову.

— Здравствуйте, дедушка...

Старик обеими руками оперся на палку, смотрел на проходящих мимо парней в куртках, пальто, полушубках, шинелях с чужого плеча... Были здесь парни, кому вышел срок идти в армию, партизаны и те, кого немцы пытались угнать на запад...

— Наши, — проговорил старик. — Фронту пополнение...

Появилась женщина, закутанная в платок, девочка в рваной шубке.

— Наши, — сказала и женщина, и в словах ее прозвучали и радость и боль. — Сколько ж нужно, чтобы кончилась война... Боже мой, боже мой!..

А Степанов думал: «Откуда?»

— Дедушка, — спросила девочка, — а почему им ружья не дали?

— Дадут в свое время...

— И пушки дадут?

— И пушки... Вот и я топал так в четырнадцатом. — Сейчас старик повернулся к Степанову. — На турецком фронте воевал... И в гражданскую пришлось... А теперь вот их черед... — Старик кивнул в сторону колонны и вдруг, глубоко вдохнув холодноватый воздух, крикнул: — С богом, сынки! Вы его, гада, бейте там!

Несколько парней повернулось к старику, один молча поднял сжатый кулак.

В конце колонны шел невысокий паренек, рядом, склонив голову ему на плечо, шагала девушка в полушубке и белом оренбургском платке.

— Довольно, Настя... Иди... Все уже назад повернули!

Он, наверное, говорил это уже не раз, но Настя словно и не слышала. Видно, никак не могла расстаться...

Однако и они не были последними. В отдалении, изрядно отстав, брела женщина в старом ватнике и сапогах. Она уже давно распрощалась с сыном, пошла было домой, а потом опять потянуло за ним, и вот, пошатываясь, брела и брела...

Степанов проводил взглядом колонну, тронул вожжи.

Сумерки сгустились, поглотив дали, сделав мир тесней. Орлик, не ожидая понуканий, честно бежал рысцой...

Край березовых рощ, торных дорог через бескрайние ржаные поля с яркими васильками... Спуски к речушкам — всем этим Мокрянам, Яснушкам, Хмелевкам... Старые, грохочущие под колесами телег и копытами лошадей мостки и мосточки... Белеющая над купой раскидистых лип высокая колокольня и золото креста на синем небе... Чащоба, где безбоязненно лакомится ароматной малиной медведь с медвежатами... Шум воды на мельничной плотине... Курганы в лугах и одинокие могилы обочь дорог...

Кто помнит теперь, чьи истлевающие кости упокоили эти заросшие травой и деревьями курганы, эти еле заметные зеленые бугорки старых могил? Если бы кто-нибудь мог поведать нам!

Слишком много всего было на этой земле, чтобы все события и имена могли уместиться в памяти потомков.

Сколько раз это было?

Гудит всполошный колокол, тревога густой набатной медью плывет над полями. С рогатинами и вилами, с кольями и с ружьями идет народ на супостата.

Кто это? Половцы или татары? Поляки или шведы? Немцы или французы? Какие иноплеменные двенадцатые языки безрассудно ополчились на землю под этим высоким синим куполом?

Кого только не было...

Когда это?..

И сотню, и две, и три назад, и полтысячи лет тому.

Как сейчас, так и давным-давно. Всполошный гуд — и трещит толстый лед Чудского озера, а черная, крутая от мороза вода бесследно не уставая поглощает ранее непобедимых с пугающими рогами на железных шлемах. Это пятого дня апреля месяца 1242 года, святой князь Александр Невский.

Миновала одна напасть, глядь — уже другие. Татаро-монголы, орды которых свободно могли поглотить многие народы и воцарить на испепеленной земле жестокость, силу, азиатчину. Сто лет борьбы... Куликовская битва Дмитрия Донского, что разразилась в сентябре 1380 года, и окончательное свержение ига азиатов Иваном III, год 1480-й... Нашествие поляков и ответ на него народа, родившего в гневе и неукротимости своей Минина и Пожарского... Поход завоевателей-французов, сметенных народной войной, гением Михаила Илларионовича Кутузова.

История...

Под гул от сотен ног, который явственно слышался Степанову, вспоминал он битву за битвой, видел их то в описании классика, то кадром из кинофильма, то суровым полотном живописца... Степанов верил в то, что в кровавых этих сечах бились и его далекие-предалекие предки. Как жаль, что родословные у нас вели только люди знатные! С каким интересом он заглянул бы в эту прочную вязь имен и фамилий, событий и лет... Но он помнит родных не далее своего деда, а кто был его прадед, никогда даже не слышал, не знает, как его по отчеству...

Давным-давно начали пробиваться наши предки к свободе. Кто был первым? Никто не ответит на этот вопрос.

Но вот Емелька Пугачев, привезенный в Москву, как зверь, в клетке... Вот Александр Радищев... Декабристы в кандалах... Наконец, революционеры. И тюрьмы, ссылки, расстрелы, казни...

Когда Степанов еще был студентом, ему попался чудом сохранившийся архивный документ:

<i>Счет</i>

за приобретение материалов для приведения в исполнение смертного приговора Военно-окружного суда над двумя лицами:

1. Извозчик — 2 р.
 2. 2 веревки — 1 р. 10 к.
 3. 2 кольца — 60 к.
 4. 2 мешка — 2 р.
- Итого: 5 р. 70 к.

Пять рублей семьдесят копеек на двоих!

Даже при такой дешевизне казни цари не могли перевешать всех, кто мешал им и кто в конце концов привел народ к Октябрю.

Это в прошлом. А теперь? Битва под Москвой, Сталинград, круто повернувший ход войны; величайшее танковое сражение под Прохоровкой на Курской дуге; несмотря ни на что не сдавшийся Ленинград; частые салюты в честь войск, освобождающих города... Да! Борьба предстоит еще немалая! Но гибель фашизма, покорившего чуть ли не всю Европу, с каждым днем приближается.

Россия... Чудесная, необыкновенная страна, немало сделавшая для человечества.

Но существовал, знал Степанов, и другой образ России.

Вот так, как сейчас он, ехал в возке, быть может, по этой самой дороге много-много лет тому назад какой-нибудь ученый иноземец с великой целью изучения России...

В каком это году, в каком веке?

Возок, запряженный парой, ныряет с ухаба на ухаб — черная точка на белом просторе. С ухаба на ухаб, от равнины к равнине, через

поля, реки... Какой уж месяц путешествует по Руси иноземец.

Встряхнет, подбросит где-нибудь на спуске, очнется ученый человек от полусна, навеянного бесконечностью белых просторов, и, отдернув занавеску с кистями, прильнет к слюдяному оконцу. Все еще снег?! Из снега торчит колокольня с крестом. Соломенные крыши изб, из приоткрытых дверей лениво выбивается, тянется дым: топят по-черному... Плывет в морозном воздухе перезвон, гул огромных медных колоколов: то такая музыка, что плакать хочется, то хоть в пляс пускайся...

Едет ученый человек дальше.

Впереди лес стоит черной высокой стеной, но пробился к нему возок, и — о чудо! — лес расступился, дал место узкой извилистой дороге. Куда она? Не в самую ли преисподнюю? Все темней, темней... И страшней... Вдруг что-то как треснет! Уж не в него ли палят?

— Эй, кто стреляет? — испуганно спросит ямщика.

— Лес трещит. Зима.

«Лес трещит... Странно!»

За лесом снова белые просторы, села, леса, города за высокими стенами с массивными башнями. На башнях — диковинные птицы и резные флюгерки, со скрипом поворачивающиеся в сторону ветра. В городе, кажется ученому человеку, не столько домов, сколько церквей: дома — небольшие, приземистые, церкви — высокие, изукрашенные резным камнем, изразцами, звездами на куполах...

Несколько месяцев будет путешествовать ученый человек, заглянет, очоленевши на морозе, не в одну избу и не в одни господские хоромы, подивится огнедышащей машине, из которой его будут угощать чаем, увидит звонкую, красочную масленицу, на площадях городов — публичные казни, от которых волосы становятся дыбом... Услышит вой и причитания женщин по убитым или умершим своею смертью, увидит фрески на стенах соборов, царевы кабаки, где пьют жидкость такой крепости, что можно сжечь себе нутро, если, конечно, не быть к ней привычным... Увидит соболиные меха, золотую утварь несусветной красоты и ценности... Откушает икры и севрюги, блинов и лососины...

А вернувшись к себе домой, как бы и не лукавя, сочинит и тиснет непременно «Записки». Благодарные ученому иноземцу, мы узнаем о

своем прошлом много интересного, чего не смогли записать и зарисовать сами.

И совсем не было бы этим запискам цены, если бы в них содержалась только истина и стремление к правде, как бы она ни была сурова. Но ведь иной раз прочтешь и такое, от чего досадливо улыбнешься, а то и справедливо вознегодуеть.

Во всех странах, считающих себя цивилизованными, чья культура освящена десятками великих имен, в национальных библиотеках бережно хранится книга известного путешественника, в стародавние года побывавшего в России. В толстенной этой книге черным по белому напечатано:

«Если рассматривать русских со стороны нравов, обычаев и образа их жизни, то по справедливости их должно отнести к варварам...»

«По справедливости»!

«Русские, — говорится далее, — ...коварны, своенравны, необузданны, строптивы, изворотливы, бесстыдны и на всякое зло склонны; силу употребляют они вместо права и вообще распрощались со всеми добродетелями и потеряли всякий стыд».

«Все русские суть рабы и крепостные». В природе русских — благодарить своего господина даже за «побои и наказания, которым он подвергал их».

Нет, рабы не могут так любить и защищать свою землю! Вот чего никогда не могли понять ученый иноземец и его духовные потомки.

И когда, случилось, разбивали и отбрасывали, казалось бы, непобедимого врага или ухитрялись спроворить машину, какой никто еще не видывал, взрастить на своих суглинистых землях гения добра и правды, которому поклоняется весь мир, — когда это случилось, они объясняли просто: чудо!.. Вот так до сих пор и не разберутся, что такое русский человек. Сталинград — чудо! Ленинград — чудо!..

Чудо!.. Чудо!..

Степанов вскинул голову.

Впереди, на перекрестке, стоял человек. «Откуда? Кто такой?» Поэтический сумрак сменился серым, казалось, беспробудным и тревожным, и он сразу почувствовал, что холодок проползает в рукава шинели, что зябко спине.

Подъехав ближе, Степанов узнал: «Дубленко!» — и остановил Орлика.

Дубленко подошел, показалось, неуверенно и спросил:

— П-подвезешь, С-степанов?

— А куда тебе? В Дебрянск?

— Да... От-просился... Марфа моя б-болеет...

— Садись... Только у тебя не Марфа, а Галя, кажется.

Дубленко сел.

— Т-такие, Степанов, все н-называются Марфами, — вернулся Дубленко к разговору.

— Уж если живешь с ней, надо б уважать, — заметил Степанов.

— Д-дура набитая... З-за ч-что уважать?..

— Тогда другую бы искал.

Дубленко махнул рукой.

— На чем ты сюда добрался?

— Я-то? П-подвезли меня верст пять, а вон там, — Дубленко указал куда-то назад, — с-свернули...

— А разве ты не знал, что я еду?

— З-знал... То есть н-не знал...

— Странный ты какой-то сегодня...

— Почему это «странный»? Ничего странного... С чего это ты взял? — вскинулся Дубленко, и, чем больше он уверял, что ничего особенного с ним не происходит, тем больше проступала какая-то неестественность в его поведении. — Я как всегда!

— Не скажи... Вон даже заикаться перестал, — заметил Степанов.

— Что?! — В голосе Дубленко послышалась угроза.

— Заикаться, говорю, перестал... Ты, выходит, и так можешь? В двух лицах? Кстати, если здоров, чего ж не в армии?

— Б-белый бил-лет у м-м-меня, вот «ч-чего ж»! И н-не т-т-твое эт-то дело, уж б-больно т-ты п-п-приткий, все тебе н-надо! — проговорил Дубленко, заикаясь сильнее обычного. — И о к-к-каких т-ты там д-двух лиц-цах?.. О как-ких дв-вух лиц-цах?! — взвнчивая себя, почти прокричал он.

— Смотри ты, опять начал заикаться... — с иронией сказал Степанов.

Дубленко, пожалуй, и сам понял, что перестарался. Он на минуту замолчал. Потом снова повернулся к Степанову.

— С-слуш-шай, Степ-панов, — зло проговорил он, — ч-чего ты к-ко мне в-вяжешься. То, в-видите ли, г-говор-рю не так, то поч-чему не в армии, то с э-этим п-подонком К-котовым... Все н-на что-то нам-мекаешь... Г-говори нап-прямою!

— «С этим подонком»!.. Вот как ты заговорил! Значит, Котов — подонок, мародер! А ты тогда кто! Подпольщик? Народный мститель? А может, это ты народ втихаря грабил? Если ты в подпольщиках ходил, чего ж деру дал из Нижнего Оскола? Там бы тебя за героя почитали... — Степанов и сам удивлялся спокойствию, с которым он говорил сейчас с Дубленко. — погоди, тобой еще займутся, уж это я тебе обещаю!..

Последнее, что увидел Степанов, была рука Дубленко. Тот рывком схватил его за воротник шинели и с силой ударил головой о передок телеги, затем еще...

— На, получай! — крикнул Дубленко.

От его крика Орлик рванул и понес. Дубленко, приподнявшийся в телеге, чтобы нанести еще удар, потерял равновесие и упал на землю. Когда он поднялся, Орлик был уже далеко, не догнать.

Глядя вслед Орлику, Дубленко грубо выругался, потом принялся ощупывать руки и ноги, проверяя, не поломал ли чего при падении. Торная дорога — как бетонная, дождей давно не было.

Здоровьем своим Дубленко дорожил, был мнителен, и малейшая болячка всегда вызывала у него панический страх. Говорят, здоровья не купишь... Значит, надо его беречь! Здоровья не купишь, а вот жизнь купить можно, хотя бы ценою предательства, а то и ценою чужой жизни.

Он сел на обочине, снова прислушиваясь к себе: уж так ли все хорошо обошлось? Но, кажется, его драгоценное тело было в целости и сохранности. Прислонясь спиной к белому стволу березы, он задумался. А подумать ему было о чем.

Если он стукнул Степанова так, что тот отдал богу душу, то туда ему и дорога. И хлопот никаких, и бояться нечего: кто видел, кто докажет, что убил Степанова он? Орлик, что ли?

А если Степанов только оглушен?

Очухается, приедет в Дебрянск, расскажет Цугуриеву обо всем — и закрутится дело!

Попытаться скрыться? Но это означало бы признать себя виновным во всем. Найдут — и тогда уже крышка. Все раскопают!

Оставалось одно, испытанное: надо скорее идти в Дебрянск и жаловаться на Степанова! Мол, клеветник! хотел убить его, Дубленко. Наступление — лучший способ обороны, это давно известно. Не поверят? Поверят! С Нефеденковым поверили! Где он теперь, голубчик?!

Дубленко рывком вскочил и быстрым, бодрым шагом двинулся в город.

Орлик мчал не так долго. Шум стих, вокруг — снова тишина. Конь постепенно замедлил ход и остановился. Повел одним ухом — хозяин молчал, повел другим — тоже.

Орлик заржал: не оставят же без внимания его призывный глас!

Но и на глас не отозвался хозяин.

Орлик заржал громче, протяжнее.

Степанов лежал в полузабытьи, но все же понял, что от него чего-то хотят, чего-то ожидают. И он тихо дернул вожжи, которые все еще продолжал держать в руках...

И Орлик легко стронул телегу с места. Его, правда, никак не называли: ни Орликом, ни Мальчиком, ни Зябликом, ни даже Чумой — не почтили и не уважили, как положено, но ведь бывало и такое... Вожжи дернули тихо и приятно. Так делал тот хозяин, что называл его Мальчиком... Давно, очень давно это было... Тогда ухаживал за ним и

ездил с ним сторож Андрей Говорухин, маленького роста, легкий человек. Возить такого ничего не стоило. Телега или сани — что с ним, что без него...

Когда возвращались из города или села, где довелось гостить, от сторожа пахло чем-то острым, чего Орлик никогда не пил и не ел... Орлик без труда улавливал этот запах, потому что, прежде чем сесть на телегу, Андрей долго гладил его морду и что-то говорил, ласковое и приятное... Когда он был Мальчиком — жить было очень хорошо... Потом уже никогда за ним никто так не ухаживал, никто так не гладил, не давал сахар из руки, которая тоже пахла чем-то острым...

У развилки Орлик остановился... Если он действительно Мальчик и на телеге лежит Андрей, тогда нужно взять вправо, и но протащишь телегу и ста шагов, как под старыми, высокими березами окажется дом о двух половинах. Тут добрый хозяин задерживался на часик-другой у кумы. На улицу выбегали ее дети — две девочки — и, наверное по наущению старших, ластились к нему, совали что-нибудь вкусное в пасть... И кричали:

— Мальчик! Мальчик!

Перед тем как продолжить путь, Андрей обязательно вспоминал о нем, не забывал приласкать...

Орлик взял вправо. Протащив телегу привычное расстояние, остановился у берез. Дома не было, верхушки берез скошены артиллерийским огнем... В те благодатные времена не пахло здесь пожарами, как сейчас. Раньше за много шагов до этого дома улавливал Орлик тепло очага, запахи конюшни.

Постояв минут двадцать, Орлик не спеша тронулся в путь... Конечно, случались иногда и с добрым человеком Андреем всякие непредвиденные истории... Это тогда, когда от него особенно сильно пахло чем-то острым... Хорошие люди, они тоже не без недостатков... То, что никак не назвал, не беда! А вот когда и простенького «Н-но» не выговаривал, хуже... Однако и в этом случае Орлик знал, что надо делать: напрямик домой!

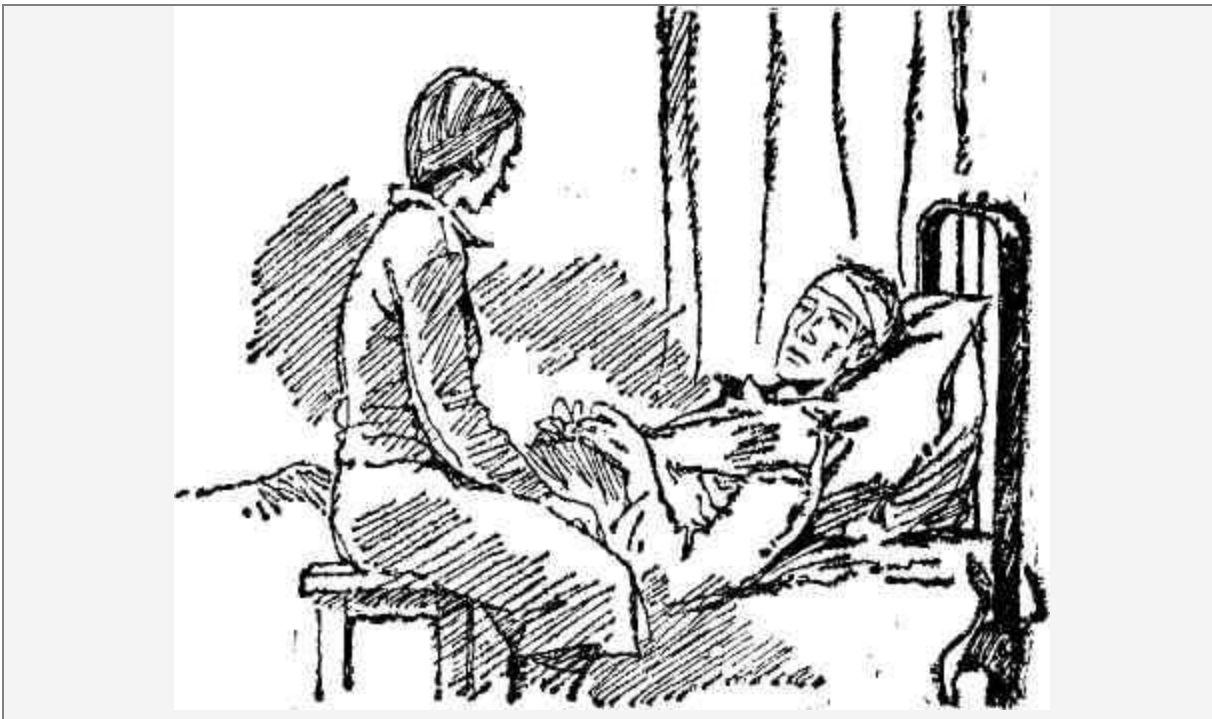
Орлик легко бежал, зная, что он теперь за все в ответе.

С телеги донесся слабый стон. Нет, что-то это мало похоже на Андрея!

К утру Орлик прибред к воротам райисполкома. Степанов был в забытьи. Когда подвода остановилась уже возле больницы, он очнулся и, поняв, что райисполкомовский сторож и кто-то еще хотят снять его с телеги, проговорил:

— Это Дубленко... Цугуриеву... скажите...

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ



1

Паровоз отфыркивался и отдувался, словно отдыхал после тяжелой работы. Товарный состав остановился в километре-двух от разрушенного вокзала. Путь был закрыт.

Латохин не стал ждать, подтянул повыше заплечный мешок и, спрыгнув на неровную, в небольших буграх и ямках, насыпь, зашагал к городу.

В тишине слышен был неугомонный вороний крик. Верхушки высоких раскидистых тополей все в черных огромных шапках гнезд. Впереди — редкие дымки Дебрянска.

Латохин остановился.

— Город-то... — сказал он сам себе, обомлев. — Город...

Он двинулся дальше, навстречу городу.

Сначала Латохин шел вдоль полотна, а на привокзальной площади свернул на мостовую. «Советская!» Она прорезала город из конца в конец. Теперь в одном конце, дальнем, угадывались деревья горсада, а в другом, ближнем, слева, чернела аллея тополей возле кладбища. А между теми деревьями и этими — пустыня...

Латохин снова остановился, поправил мешок.

Мимо прошли три девушки. Одна — в мужских ботинках, другая — в лаптях, третья — в опорках... Они покосились на щупленького солдата: не свой ли? Латохин тоже посмотрел на них, но рассеянно: «Из деревни...»

«Куда идти?»

Он был убежден, что родителей его в Дебрянске нет, вряд ли они уже вернулись из эвакуации. Знакомых было немного, потому что Латохины переехали в Дебрянск незадолго до войны, да и эти знакомые могли быть развеяны войной по свету...

Латохин огляделся.

Целехоньким казалось лишь кладбище. Ему невдомек было, что и приют мертвых не остался «целехоньким». Деревянные кресты — да простят усопшие! — пошли на топливо, кое-какие камни из тех, что можно было унести и приспособить в хозяйстве, унесли и приспособили. Мертвые не обидятся: надо было думать о живых... Латохин потел к своему дому.

Каждый новый человек, появлявшийся в Дебрянске, обращал на себя внимание десятков жителей, которые безмолвно, вроде как и безучастно провожали его взглядом. Была в этом взгляде и давно затаенная надежда, и боязнь еще раз обмануться в ней.

Смотрели и на Латохина. Сначала он с удивлением отметил, что привлек внимание двух остановившихся женщин, мужчины у разбитого телеграфного столба, девушки у разрушенной водоразборной колонки. Латохин шел дальше, и дальше было тоже так.

Он понял этих людей, и ему стало как-то неловко оттого, что никого из тех, кто смотрел и чего-то ожидал от него, он не может обрадовать своим появлением.

На месте своего дома он нашел пепелище. Остался обгоревший ствол яблони с несколькими обрубленными сучьями... Черное дерево с черными растопыренными пальцами на сером небе... Вот и все...

— Дяденька, вы кого ищете? — услышал он участливый детский голос.

Медленно повернулся. Перед ним стояла незнакомая ему девочка.

— Ищу я, племянница, — пошутил Латохин, скрывая горечь, — своих...

— А кто ж вы будете? — все так же участливо спросила девочка.

— Буду я Латохиным Сергеем...

Девочка постаралась припомнить: а что ей известно о Латохиных и по своей немалой событиями жизни, и по разговорам взрослых? Но ничего ей не припомнилось.

— Не знаешь... — печально заключил Сергей. — Тебя как зовут?

— Ира. Может, у вас какие знакомые есть?

— Были, конечно, и знакомые... Девятовы здесь? — спросил Латохин о каких-то дальних своих родственниках.

— Девятовых никого нету. Уж это я знаю...

— Нету... — Латохин вздохнул.

Девочка не уходила.

— Может, еще кого вспомните? — спросила Ира, очень желая, чтобы этот солдат вспомнил и она хоть в чем-нибудь оказалась бы полезной ему.

— Ну, а Константиновы?..

— Про Константиновых не слыхала... Не знаю таких... А еще-то кто-нибудь из знакомых есть?

— Есть... Ситниковы...

— Вот видите! — обрадовалась Ира. — Ситниковы здесь. В сарайчике живут. Вот так пройдете и вот так, — стала она показывать рукой.

— Спасибо... Как же вы тут жили? — не удержался Латохин.

— Жили, дяденька... А что же было делать? Помирать хуже всего... — ответила она, не по-детски озабоченная.

Латохин посмотрел на Иру, рука сама собой потянулась к ней, он погладил девочку по голове:

— Спасибо! — и пошел к Ситниковым.

— Не за что, дяденька, — донеслось до него.

...Анна Ситникова с дочкой Аней жила в сарайчике на усадьбе, где еще недавно стоял ее отличный деревянный дом с резными

наличниками, резными ставнями и резным верхом. Не сразу Анна узнала в солдате того худенького, маленького подростка, который всегда вызывал у нее сострадание своей болезненностью, неприспособленностью к жизни, какой-то неребьячьей тихостью...

— Ты ли это, Сережа? — все спрашивала она гостя, стоя у дверей сарайчика. — Ты ли это?..

2

Многое уже было определено и решено Сергеем Латохиным. Жить будет там, где жил перед войной — в Дебрянске. Осмотрится, поступит на работу, будет готовиться в вуз...

Первым делом Латохин отправился в военкомат и в карточное бюро, отрегулировал продовольственный вопрос. Затем — в райком комсомола. Сергей написал заявление и отнес его, добавив к знаменитой стопе заявлений на столе Турина еще один листок.

Потом надо было позаботиться и о трудоустройстве. Анна Ситникова, работавшая пекарем, советовала Сергею навеститься в райком партии и просить устроить его с учетом, что он фронтовик, и к тому же раненый... Латохин улыбнулся:

— Так и сделаю, тетя Аня. Пусть меня назначат каким-нибудь начальником...

Теперь, после военкомата, карточного бюро и райкома, следовало осмотреться... У Ситниковых можно было приютиться на несколько дней, но спать не на чем. Надо что-то придумать. Проще простого, конечно, сделать топчан. Только вот из чего?

Латохин не спеша шагал по улице Дзержинского. Часто он останавливался и расспрашивал: кто ж такие тут живут? Для чего здесь сложены штабеля кирпичей?

На площади у больницы уже стоял новенький, пахнущий смолой барак. Несколько солдат устраняли недоделки.

Латохин подошел, поинтересовался, что они построили, откуда сами.

Щупленький Латохин поначалу не вызывал у солдат большого интереса. Но вот кто-то из них спросил:

— А на каком фронте был-то?

— Сталинград, — коротко ответил Латохин.

— И в те самые дни?

— В те самые...

Солдаты уважительно посмотрели на него: «А так ведь сам по себе невелик человек!»

Латохина угостили табаком, спросили, не видел ли Сталина: был слух, что во время небывалой битвы он ходил по окопам, разговаривал с солдатами.

— Не пришлось, — с сожалением ответил Латохин, веривший в этот слух. — Но, говорят, рядом был...

Потолковали еще о солдатской службе, потом Латохин встал: пора!

У церкви, огороженной колючей проволокой — при немцах здесь был лагерь для военнопленных, — несколько девчат в ватниках таскали на носилках кирпич.

— Что строите, девушки?

— Клуб...

В черном проеме настежь открытых дверей остановилась высокая, сутулая фигура. Латохин двинулся дальше, но человек этот пошел за ним следом, приглядываясь. За оградой тихо спросил:

— Не Латохин ли Сергей, а?

Латохин обернулся и сразу же признал в высоком человеке печника Дмитрия Ивановича Афонина, до войны перекладывавшего у них в доме печь.

— Дмитрий Иванович!.. — Латохин бросился к нему, обнял.

— Дай-ка я погляжу на тебя... — сказал Дмитрий Иванович и, отойдя, осмотрел Сергея с головы до ног. — Еле признал, а ведь все тот же!.. Где воевал? Что думаешь делать?

И пошло!

Дмитрий Иванович и Латохин устроились на кирпичях возле церкви. Дмитрий Иванович рассказал, что был в партизанах. Его тоже ранило. Когда Дебрянск освободили, товарищи ушли дальше с войсками, а он остался в городе... Сказали, повоевал, мол, и хватит. Инвалид...

Латохин слушал и недоумевал: печник-то почти глухой, понимал говорившего по движению губ. Ему трудновато приходилось и в мирной жизни, а как же в партизанском отряде?

Девчата, таская носилки с кирпичом, поглядывали на Сергея с любопытством... Он тоже смотрел на них с интересом. На фронте почти не видел молодых женщин, а когда видел в грубой военной форме, то невольно представлял совсем другими, такими, какими они были до войны — в туфельках, в плиссированных юбках и красивых кофточках... Перед ним же стояли девушки в грязных, не по росту ватниках, в шинелях, в сапогах и даже обмотках...

Побродив еще по городу, Латохин вернулся в сарайчик тети Ани Ситниковой. Теперь он знал, где ему жить, и мог подробно написать обо всем на фронт Леночке Цветаевой и сестре в Челябинск. Вместо конвертов сложит, как обычно, треугольником, но для письма сестре придется позаботиться о марочке... Хватит, не в армии. Теперь надо думать обо всем самому: об одежде, еде, жилье, деньгах!

Латохин присел к столу и легко, быстро стал писать.

Жизнь на отвоеванной земле возрождалась не сразу — по кирпичику, по дому, по заводу, по одной человеческой душе...

Турин, с трудом выкраивая время, теперь уже на каждом заседании бюро, как бы ни была загружена повестка дня большими вопросами, вместе с товарищами разбирал два-три заявления о личных делах комсомольцев. Пухлая стопка этих заявлений на столе секретаря, к которой настолько привыкли, что научились не замечать ее, потихоньку начала уменьшаться. Работа эта, отнимавшая много времени и сил, была кропотливой, но оправдывала себя: в общее дело включалось все больше и больше людей — правда, не все они были энергичными и знающими... И тут пронесся слух, что в Дебрянск прибыл фронтовик комсомольского возраста. Вот то, что надо! Такому можно все поручить.

Турин справился о фронтовике у двух-трех знакомых, но те ничего вразумительного сказать не могли.

И вот на одном из заседаний уже порядком уставший Турин протянул руку к очередному заявлению. Написано оно на вырванном из какой-то книги листке, на чистой стороне. На обратной —

иллюстрация с очень плохого клише: «Село Михайловское, где жил А. С. Пушкин в ссылке».

— Вот на чем пишут, — недовольно заметил Турин. — Это же для школы может пригодиться!

И хотя он прекрасно понимал, что бумаги нет и писать приходится черт знает на чем, у него сразу родилось предубеждение к автору этого заявления. «Будет мямлить, что билет потерял случайно... Говорить о болезнях...»

— Так что тут нам пишут? — Турин поднес бумагу поближе к лампе. — Ну и почерк! «В райкоме всё разберут»! Как курица лапой...

— В райкоме всё должны разбирать, давно известно, — словно не замечая досадливой иронии в словах Турина, подтвердил Игнат Гашкин. — Ну так что там?

— Пожалуйста... — И Турин стал читать: — «В Дебрянский райком комсомола от Латохина Сергея. Прошу выдать мне комсомольский билет. С. Латохин».

Турин оглядел собравшихся и сказал с недовольством:

— Вот как пишут заявления! Видели? Выдать — и все тут!.. Ну, Латохин, рассказывай, где твой комсомольский билет?

Все посмотрели на Латохина. На краешке стула сидел щупловатый паренек, лицо в веснушках, волосы светлые, нос прямой. Латохин выглядел намного моложе своих лет. Почти вот такие же парнишки в наших и зеленых фрицевских шинелях не по росту суетятся на станциях, кишат на базарах, шныряют возле очередей за хлебом...

Услышав свою фамилию, Латохин встал.

— Что же рассказывать... Нет у меня билета.

— Это мы знаем, — заметил Турин.

— Потерял? — спросил Гашкин. — Или в землю зарыл?

— Зачем терять? — спокойно сказал Латохин. — Комсомольский билет — важная в жизни вещь.

— Так что же, — продолжал Гашкин, — уничтожил, что ль? — И сурово посмотрел на Латохина.

На этот раз сурово ответил и Латохин:

— Еще чего не хватало! Отобрали его у меня.

— Кто? — спросил Турин.

— Командир.

Все с удивлением переглянулись.

— Так ты в армии, что ль, был? — спросил Турин.

— Был, — проговорил Латохин. — Под Сталинградом ранило меня. Билет пробило осколком. Командир и отобрал его...

— погоди!.. — Турин даже встал. — Так ты тот самый фронтовик, которого мы ищем?..

— А зачем меня искать? Я принес заявление... Его сунули в стопку... Потом заходил еще раз, но никого не было. В стопке оно и лежало, мое заявление...

Но никто уже не интересовался собственно заявлением.

— Говоришь, билет пробило осколком? Значит, в грудь ранило? — поинтересовался Гашкин.

— Да, но я все же отлежался в госпитале... Потом выписался и снова попал в свою часть. Там мне и сказали, что билет мой пробит и кровью залит... Короче, уже не годится... Должны, говорят, новый выдать, а тот отправят в Москву, чуть ли не на выставку «Комсомол в войне». Будто командир так сказал. Билет мне новый уже вроде выписали, но тут нас послали в разведку. Сказали, вручат, когда вернусь. А в разведке той руку-то мне и перебило, снова очутился в госпитале...

— У тебя и рука ранена? — спросил Гашкин.

— Да... Иначе почему же я не в армии... Ну вот, нового билета я не получил, старый отобрали. Прошу выдать.

— Как же ты сюда-то попал? — спросила Козырева. — Кто-нибудь из родных, знакомых есть?

— Из госпиталя выписали вчистую. А мы перед самой войной в Дебрянск переехали. Думаю, поеду туда, может, кто из своих вернется. Если живы, собираться будут здесь... Вот и приехал...

— Пока никто не вернулся? — участливо спросила Козырева.

— Пока нет.

Козырева сочувствующе покачала головой: вот так-то...

Турин что-то вспомнил и неожиданно спросил:

— Это не ты ли у меня доски унес?

— Я...

— Топчан сделал?

— Сделал...

Игнат Гашкин, которому теперь очень нравился этот белобрысый паренек, с оживлением смотрел на Турина, ожидая смешного рассказа.

И Турин поддался. Весело, небрежно он рассказал, как несколько дней назад к нему пришел Латохин и спросил о своем заявлении. А потом оглядел комнату и, заметив доски, которые клали на стулья для увеличения «посадочных» мест на совещаниях, спросил, нельзя ли ему взять их для топчана. Сначала Турин подумал, что парень не в себе или шутит, но тот деловито заявил: «Спать не на чем». Занятый Турин махнул рукой. Латохин, недолго раздумывая, выбрал подходящие и ушел.

— Направить на строительство клуба с поручением организовать фронтную бригаду! — перешел к делу Игнат Гашкин.

Турин покосился на него: опять этот прыткий Гашкин опередил его.

Все согласились. Латохина расспросили, как устроился с жильем, где живет, чем райком может ему помочь...

Заявление Латохина разбирали последним, и бюро исчерпало повестку дня. Когда Сергей ушел, Ваня Турин опустил голову на ладони и так сидел несколько секунд, глубоко задумавшись и как будто немного печальный.

Все поднялись, но расходиться не спешили, ожидая от секретаря чрезвычайных сообщений. Вот именно так, когда текущая работа была закончена и суэта будничных забот не могла наложить свой неременный отпечаток на его информацию, секретарь райкома и сообщал своим работникам и членам бюро важные новости. Допустим, о том, что взят такой-то город и завтра об этом будет передано по радио, или о том, что сказал секретарь обкома комсомола по поводу работы Дебрянского райкома, или о том, что сегодня на станцию прибыл эшелон со стройматериалами, в котором — гвозди, стекло, тес, доски, бревна...

Но сегодня, выдержав паузу, Турин сказал:

— За эти дни мы двинули в жизнь, в горячие дела, добрых полтора-два десятка человек. Здорóво!.. Однако заслуга эта принадлежит не нам с вами... А Мише Степанову... Так прошу и считать.

Члены бюро ждали, не скажет ли секретарь райкома еще чего. Но Ваня Турин ничего больше не сказал.

Степанов лежал в больнице уже пятый день.

Заходили к нему Ваня Турин, Владимир Николаевич, Таня, которая каждую свободную минутку старалась заглянуть в его палату. Был и майор Цугуриев, в первый же день добившийся у главного врача разрешения поговорить с пострадавшим. От него Степанов узнал, что Дубленко сам явился к майору и рассказал о происшествии на дороге. Сожалел о случившемся...

Объяснял свой поступок Дубленко так: ударил Степанова потому, что был возмущен гнусным подозрением, которое есть не что иное, как оскорбление... Может, конечно, погорячился, может, следовало найти другую форму защиты, но в таком состоянии не всегда сразу сообразишь... Одним словом, потерял контроль над собой...

— Скажите, Степанов, — попросил майор, — что из сообщенного Дубленко правда, что — нет?

— Все правда, — подтвердил Степанов.

— Вот как?! Значит, вы его так, с ходу, мародером, грабителем? Ах, Степанов, Степанов... — Цугуриев укоризненно покачал головой. — А не лучше было бы с нами сначала посоветоваться? — И строго добавил: — В условиях прифронтовой полосы выяснять такие вопросы один на один, да еще на пустынной дороге, по меньшей мере неразумно, и вы, как фронтовик...

В дверях показался главный врач, всем своим видом давая понять Цугуриеву, что отведенное время истекло. Майор кивнул: мол, понял.

— Лежите спокойно, Степанов. Мы расследуем дело до конца, — сказал он на прощание.

Главный врач никому не позволял утомлять больного. Десять — пятнадцать минут на свидание. Никаких разговоров о том, что могло бы его взволновать...

В первый же день зашла в больницу Вера. Держалась скованно, сидела молча, отвечала на Мишины вопросы коротко... Сама, как ни старалась, не могла найти темы для разговора, и ее напряжение передалось Степанову.

Когда она вышла из палаты, врач заметил ей:

— Вам, Вера Леонидовна, лучше не приходите.

И Вера больше не приходила. Ни разу. Хотя каждый день справлялась о состоянии Степанова.

Турина, пришедшего, как всегда, вечером, врач задержал в коридоре:

— Лучше было бы, Иван Петрович, Степанова забрать отсюда... Больница переполнена, почти сплошь забита тифозными.

— А перевозить его можно, не повредит?

— Конечно, нежелательно, если судить строго по медицине, но хуже будет, если он подцепит здесь тиф. К тому же сотрясение мозга у него не такое тяжелое, как нам показалось вначале. Думаю, через недельку совсем оправится...

— Заберем, — ответил Турин.

Но куда забрать? Жилой дом и бараки еще не готовы... Устроить в чей-нибудь подвал попросторнее? Но где этот подвал? В школу? Но как он будет там один и кто станет за ним ухаживать?

Уже совсем поздно в райком к Турину пришла Красницкая.

— Иван Петрович, доктор сказал, что лучше товарища Степанова забрать, — сообщила она как новость. — Там ведь кругом...

— Знаю, Красницкая, — ответил Турин.

— Если можно, я забрала бы Михаила Николаевича к нам...

— Что?!

Таня знала, что ее предложение может показаться дерзким, и повторить его у нее не хватило духу.

Турин с интересом разглядывал Таню: «Вот ты какая!»

А она сидела, опустив голову, словно виноватая.

Турин встал, прошелся по комнате. Подойдя сзади, положил руку на плечо девушки:

— Таней, кажется, зовут?

— Да...

— Спасибо, Таня... Большое спасибо! Это прекрасно, что у Степанова есть такие друзья. Но все же, наверное, лучше перевезти Михаила Николаевича сюда, в райком...

Он и раньше не исключал такого варианта, но теперь, после просьбы Тани, было как-то неловко «отдать» Степанова ей, в землянку: разве они ему в райкоме чужие?

— Хорошо, Иван Петрович, — проговорила Таня и встала. Она прекрасно понимала, что товарищ Турин, секретарь райкома, имеет

прав на Степанова несравнимо больше, чем она.

Через полчаса после ухода Тани в коридоре снова послышались шаги. Дернули дверь, стекла в окне слегка задребезжали, и на пороге появилась Вера.

Она быстро сняла пальтишко, платок и, потрогав рукой печь — горячая! — прислонилась к ее доброму боку.

— Замерзла?

— Нет... Но так редко видишь теплую печь, что грех пройти мимо.

Несколько секунд она стояла молча: впитывала тепло, наслаждалась им.

— Я только из больницы, — заговорила она наконец. — Боятся, что Степанов прихватит еще и тиф... Советуют его забрать...

— Забрать, говоришь? — спросил Турин, словно слышал об этом впервые, а сам подумал: «Теперь Вера хочет перевезти его к себе... Подвал, конечно, чуть получше, чем землянка, но все равно...» — Ты что же, хочешь забрать Мишу к себе?

— Мишу — к себе?! — Вера удивленно взглянула на него.

Отнюдь не сентиментальный Ваня Турин сейчас почувствовал какую-то обиду. В подвал он тоже Мишу не отдал бы, поскольку в райкоме все же ему будет несравнимо лучше. Но почему такая реакция? Как будто он спросил Веру черт знает о чем! Как будто Степанов не их давний общий товарищ и друг!

Турин наклонил голову, пригладил волосы и сел за стол. «Все бывает в жизни. В партизанском отряде Вера и Николай Акимов полюбили друг друга... Все бывает... Но зачем эта нарочитая холодность в отношении к Степанову?»

Турин придвинул поближе папку с бумагами, раскрыл ее и, прежде чем заняться делом, сказал:

— Степанова, Вера, мы заберем в райком... Наверное, здесь ему будет лучше, чем где-либо. — Взглянул на нее и взял ручку, как бы показывая, что дело решенное и разговаривать больше не о чем...

— Вот и хорошо... — ответила Вера и стала одеваться. Накинула пальтишко, руки — в рукава, застегнулась, повязала платок... И вдруг в изнеможении опустилась на стул.

Турин даже встал:

— Ты что?..

Она не ответила, и встревоженный Турин подошел к ней.

— Вера!..

Она терла себе виски, словно стараясь избавиться от какой-то мучившей ее боли.

— Тебе плохо, Вера? Дать воды?

— Не надо...

Турин озадаченно вздохнул: «Кто поймет этих женщин?!» Излишняя эмоциональность для него почти всегда означала душевный изъясн, маскируемый под всякого рода «благородные переживания». Но ведь Вера никогда не страдала этой бабской болезнью. Веру он глубоко уважал и ставил очень высоко, неизменно выделяя среди других. Что с ней?.. Случилось что-нибудь?.. Какая-нибудь неприятность с родными?.. Устала жить в своей каменной пещере?.. У любого, даже очень сильного человека могут сдать нервы...

Но Вера поднялась и, протягивая руку, сказала:

— Прости, Ваня... — Пошла было к двери, но остановилась и повернулась к Турину: — Мне сегодня в больнице сказали, будто Алеша Поздняков у них лежит... Из лагеря бежал... Правда?

— Правда...

— Из лагеря... бежал?..

Вера на секунду закрыла глаза: «Бежал... В Дебрянске...» А ведь слухи ходили, будто расстреляли его немцы. Будто кто-то чуть ли не собственными глазами видел. Значит, и Николай еще может, может... Ведь никто не видел его убитым, даже Борис, который в первый же день, как пришел в Дебрянск, разыскал ее и рассказал все, что знал о Николае, не оставив ей, казалось, никакой надежды... Но надежда жила. Без нее Вера сама не смогла бы жить...

На следующий день Степанова перевезли на телеге в райком. Провожая его, главный врач давал наставления сопровождающим: «Больному нужен покой и покой... Будь удар посильнее и прийдись в самый висок — ниже всего только на несколько миллиметров! — не было бы уже Степанова». Рассуждения об этих миллиметрах изрядно

наскучили ему: каждый, кто приходил, считал своим долгом отметить это.

Степанов по фронту знал, что смерть всегда ходит в миллиметре от тебя. Но мы осознаем это, только когда она сделает всем видимую отметку. Мало ли минных осколков, пуль пролетело в сантиметрах от головы, и никто не говорил, что судьба, что старуха с косой прошла рядом, заглянула в лицо, но отвернулась...

В маленькой комнатке райкома Степанова навещали все: Владимир Николаевич и другие учителя, Таня Красницкая, Галкина, мать Коли Акимова — Пелагея Тихоновна, зашел еще раз Цугуриев. Объявились какие-то старые приятельницы матери, которых Степанов уже забыл, как звать. Лишь Вера не приходила...

Степанов нервничал, чувствуя, что из-за него райком теперь действительно стал своего рода частной квартирой или клубом. Однако Ваня Турин ничем и никак не выказывал недовольства, по мере сил стараясь создать для Степанова более или менее спокойную обстановку. Он даже перенес бюро, которое грозило быть шумным: пусть больной окрепнет, не так уж долго осталось...

Лежа в райкоме, Степанов узнавал и некоторые новости. В городе открыли детский сад... Школа, о первом своем уроке в которой с таким волнением и радостью мечтал Степанов, уже работала. Начали очень просто, Степанову показалось, даже буднично, хотя, как нужно было начать, чтобы избежать этой будничности, он и сам не знал. Перед открытием усиленно работали и ученики: доделывали столы, скамейки, сшивали тетради, собирали учебники и книги, даже сделали из свеклы красные чернила: для отметок.

В день открытия Владимир Николаевич произнес перед школьниками небольшую речь. Степанову все же было обидно, что открыли без него и что само открытие не было таким торжественным, как он хотел.

Школа на земле, преданной огню и тлену! Поколение русских, которое, по планам завоевателей, должно было забыть или ничего не знать о подлинной истории своего народа и о своем предназначении в ней, снова — за партами, перед учителями, полпредами многотысячелетней культуры человечества!

Из Раменской дачи под Костерином лес был перевезен и уже пошел в дело. Потихоньку Дебрянск строил самое необходимое...

Среди новостей была и тяжелая. На полянке, в старом лесу с полузаброшенной дорогой, обнаружили еще одно место казни советских людей. Сразу же после вступления частей Красной Армии в Дебрянский район в разных местах были найдены три рва с трупами расстрелянных гитлеровцами. Кто мог подумать, что эти три рва — еще не всё?..

Степанову было невыносимо лежать, томясь от вынужденного бездействия. Однажды вечером, когда у Турина выпала свободная минута, спросил:

— Послушай, Иван... Можешь доверить мне одно дело?

— Могу! — не раздумывая согласился Турин и, улыбаясь, спросил: — Какое?

— Дай мне оставшиеся заявления, что у тебя на столе... Я буду их читать, беседовать с ребятами и сообщать тебе свое мнение... Как я понял, у тебя много времени уходит, чтобы разобраться в сути... «Достоин... Не достоин... Что случилось?..»

— Подмена бюро, подмена коллегиальности единоличным решением! — сразу же сформулировал Турин. Впрочем, он проговорил это не без оттенка иронии, давая понять, что так может быть воспринято предложение Степанова не им, а другими.

— Решение по-прежнему останется за бюро, — возразил Степанов. — Но черновая работа будет проделана мною... Впрочем, как хочешь... — заключил он, берясь за рукопись Владимира Николаевича.

Старый учитель оставил ее Мише, предварительно удостоверившись, что больному разрешено понемногу читать. Это было то, с чем давно хотел познакомить Степанова Владимир Николаевич.

Турин, отлучившись на минуту, вернулся с пачкой заявлений:

— Читай и давай нам мудрые советы...

Он потоптался на месте, словно хотел сказать что-то еще.

— Что ты?.. — спросил Степанов.

— Дубленко арестовали...

Известие это Степанов воспринял совершенно спокойно:

— По-моему, этого можно было ожидать...

— Да. Чайку выпьешь?

Степанов от чая отказался и принялся разбирать заявления.

С этих пор он делил время, когда чувствовал себя сносно, между беседами с подателями заявлений и чтением рукописи Владимира Николаевича.

Перед Степановым обычно к вечеру стали появляться пареньки и девчата. Краснели, стеснялись, увидев перед собою лежащего человека, но в конце разговора расставались хорошими знакомыми. Степанов прежде всего пытался выяснить, чем и как комсомольцы могут помочь семьям фронтовиков: напилить, наколоть дров, сменить сгнившие доски пола в землянке, что-нибудь еще.

Большинство пришедших, с кем пока столкнулся Степанов, потеряли свои комсомольские билеты, зарыв их в землю — перед угоном в Германию — вместе с самыми дорогими для семьи вещами. Прятали фотографии, письма близких, кольца, документы, памятные вещички... Увы! Часть тайников была разграблена, часть и найти было немислимо, до того неузнаваемо изменилось все вокруг.

С такими ясно: хотели комсомольские билеты сохранить, но не удалось не по своей вине. Но выявлялись ситуации и посложнее.

Валя Дементьева поведала о себе такую историю. Ушла в партизанский отряд: кашеварила, но и в боевых операциях участвовала тоже... Потом заболела мать, за которой некому было ухаживать, и пришлось Вале вернуться в город. Хватила комсомольского билета, — его всегда в отряде носила с собой, — нету! Где-то обронила, видно... При передвижении, перебросках партизан всякое могло случиться. Никто из Валиного отряда сейчас в Дебрянске не жил. А самой Вале восемнадцать лет, значит, ушла в партизаны шестнадцатилетней!

— Как фамилия командира отряда? — спросил Степанов.

— Аремьев Иван Филиппович, — тотчас ответила Валя. — Из Хатынца.

Больше задавать вопросы и проверять Валу Степанов не стал. Тут ему одному все равно не разобраться. Нужно срочно передавать на бюро...

Когда ребят не было, Степанов читал рукопись учителя.

Книгу эту, как сказал сам Владимир Николаевич, он не мог не писать. Чтобы выжить под гнетом завоевателей и их доктрин, оправдывавших порабощение русских, он и те, для кого он писал ее,

должны были осознать, кто же они такие, русские, советские, кого эти завоеватели хотели заставить безропотно служить себе. Потомками кого являются, на какой земле родились и выросли. Вспоминая эпизоды многовековой истории народа, вычитывая интересные высказывания в журналах и книгах, Владимир Николаевич заносил их в свою книгу.

На титульном листе стояло:

Заметки к истории России.

Собственноручно сшитая из листов бумаги, в коленкоровой обложке с закругленными углами, она напоминала внешне большую конторскую книгу или скромный альбом. Тщательность и любовь, с которыми был сделан переплет, говорили о большом значении этой рукописи для автора.

Почерк — разборчивый, аккуратный, каким пишут только старые учителя, буквы — крупные, но последующие вставки загромождали листы, затрудняя чтение. Очевидно, рукопись эта была вместилищем интересных сведений, соображений, которые в дальнейшем должны были подвергнуться окончательной обработке и быть приведенными в порядок.

Степанов открыл первую страницу, начал читать:

«Это книга о России, которую не все знают.

Нас не упрекнешь в том, что мы относимся с неуважением к другим народам. Убежден, мы знаем об Америке, Германии больше, чем их жители о нас. Мы знаем и любим Томаса Альву Эдисона, Марка Твена, Джека Лондона, Альберта Эйнштейна. Русский в девятнадцатом веке был не вправе считать себя интеллигентом, если он не увлекался Гете или Гейне, не интересовался Гегелем или Ницше, Шиллером или Бюргером. О Франции и говорить много не надо. Считаая французов самыми близкими себе по духу, мы и до, и после разгрома Наполеона в 1812 году в поисках образцов литературы, манер, мод, искусства ни к кому так часто не обращали свой пытливым и заранее благодарный взор, как именно к великой Франции, колыбели

свободы, неисчерпаемому кладезю культуры, светочу просвещения. По крайней мере, так многие считали.

Не будем никого из народов принижать, не будем никого искусственно приподымать, отдадим должное каждому, но не забудем и Россию — как это делалось не раз сознательно или невольно, своими же людьми или чужими.

Было это, было...»

Степанов перелистывал рукопись. Многие факты были ему хорошо известны, и он бегло просматривал страницы. Неизвестное читал с большим вниманием:

«Есть доля правды в словах Константина Аксакова: «... великое событие, которое не кажется великим, которое совершается без всяких эффектов, без всяких героических прикрас; но в том-то вся и сила. Эта простота, о которой, может быть, ни один народ мира не имеет понятия, и есть свойство русского народа. Все просто, все кажется даже меньше, чем оно есть. Невидность — это тоже свойство русского духа. Великий подвиг совершается невидно. О, кто поймет величие этой простоты, перед тем поблекнут все подвиги света!»

Степанов знал, что Константин Аксаков — один из славянофилов, имя его мало известно так называемому широкому читателю, но не мог не согласиться, что доля правды в его словах есть.

Далее шли сведения о путешественниках, ведомых Степанову и совершенно неведомых, ученых, изобретателях, чьи деяния, если бы их сделать так же хорошо известными миру, как стало известным, к примеру, что радио изобрел Александр Попов, действительно могли бы изменить представления о России.

Степанов хотел читать дальше, но в окно постучали. Был вечер, поздний для Дебрянска час, где условия жизни вынуждали ложиться рано. Кто бы это?

Турин, сидевший за столом, отодвинул штору, никого не увидел и вышел из комнаты.

Открыв дверь из коридора, Турин увидел неясный силуэт женщины и вскоре по каким-то почти забытым приметам узнал мать Бориса Нефеденкова.

Да, пожалуй, ее приход был, как никогда, некстати!

— Скажите, — проговорила женщина, не решаясь переступить порог высокого официального учреждения, — Миша Степанов не здесь живет?

— Здесь...

— А можно его видеть?

— Можно... — Турин отвечал без охоты, сам удивляясь, что так ведет себя с Евдокией Павловной, которая не раз угощала его чаем и обедами, когда он появлялся в доме Нефеденковых.

Через темные коридорчик и кухню он провел гостью в «залу». Когда они вошли и свет десятилинейной лампы пал на лицо Турина, Евдокия Павловна всмотрелась.

— Ваня?.. — неуверенно проговорила она.

— Ваня, — признался Турин.

— Ты кто же здесь, Ваня?..

— Секретарь райкома...

Евдокия Павловна приложила ладонь ко лбу, закрыла глаза, что-то припоминая.

— Ведь мне же, кажется, говорили... Говорили!.. Да, да! Ваня Турин — секретарь...

— Степанов здесь, — вежливо, но не без настойчивости перебил Турин, показывая на дверь в маленькую комнату.

Он словно отстранял себя от пришедшей неизвестно откуда женщины.

Евдокия Павловна, в рваном пальто, стянутом ремнем, в платке, учтиво, но холодно кивнула, как бы принимая к сведению отношение Турина. Это была сдержанная, строгая женщина. Турин знал, что в свое время она училась в Москве на каких-то курсах, хорошо играла на пианино, владела иностранными языками и слыла человеком, который на все имеет свой взгляд.

Евдокия Павловна тихо постучала в перегородку.

— Пожалуйста... — послышался голос Степанова.

Она открыла легкую тесовую дверь и стала перед Степановым. «Поздороваться, назвать Мишей? А не покажется ли и ему ненужным

все, что было тогда, когда еще стоял город и мальчик Миша Степанов бегал с моим Борисом по улицам зеленого Дебрянска, ухаживал за девушками и учился в отличной школе не только наукам, но и доброте, благородству, умению ценить людей...»

— Евдокия Павловна!.. — взволнованно проговорил Степанов. — Простите, я еще не встаю...

— Лежи, лежи...

— Откуда вы?.. Где Василий Андреевич?.. Да вы садитесь, Евдокия Павловна!.. Садитесь!

Гостья молча покачала головой: не будет она садиться.

— Миша, ты веришь, что Борис — предатель? — спросила она, глядя в глаза Степанова.

— Нет, не верю, — твердо ответил Степанов.

— Спасибо, Миша... — Евдокия Павловна обессиленно откинулась на тесовую перегородку и закрыла глаза рукой.

— Нам нужно поговорить... — осторожно сказал Степанов.

— Непременно. — Она отвела руку от лица. — Подымешься — разыщи меня.

— Где, Евдокия Павловна?

Она неопределенно пожала плечами:

— Видимо, на Бережке...

— Хорошо...

— Тебе лучше?

— Значительно... Скоро встану...

— Я пойду... — Евдокия Павловна благодарно пожала руку Степанову и, быстро пройдя большую комнату, едва заметно кивнув Турину, вышла из райкома.

В комнатке, где минуту назад находилась Евдокия Павловна, еще пахло дымом от ее одежды, и Степанов думал, сколько километров прошла эта женщина, ночуя в землянках добрых людей, в сараях, а то и под открытым небом, обогреваясь теплом костра. Возвращалась домой... Вернулась — и узнала о сыне страшную весть.

— Так... — тяжело вздохнул Турин, нарушив неловкое молчание.

— Вот тебе и «так», — недовольно откликнулся Степанов.

Он охватил руками забинтованную голову и тихо простонал.

— Болит?

Степанов не ответил, смотрел в сторону. Не рана мучила его...

— Тебе сейчас нужно думать больше всего о своем здоровье, — заметил Турин.

— Это ты думай о своем здоровье... — резко оборвал его Степанов и вдруг спросил: — Можно завтра разыскать Таню Красницкую?

— Конечно...

— Пусть придет.

Турин вопросительно взглянул на товарища, но Степанов не стал ничего объяснять.

— Хорошо. Я разыщу ее.

6

Член бюро райкома одноногий Игнат Гашкин в свободное время обходил стройки Дебрянска. Немного их еще...

Больно было смотреть, как Игнат с силой и даже яростью выбрасывал костыли вперед и, перескочив добрый аршин, обрушивался на свои подпорки. Казалось, или костыли непременно сломаются, или руки не выдержат — отлетят. Казалось еще, что при такой лихости он обязательно упадет, споткнувшись о кирпичи или проеденные огнем железяки. Но Игнат неутомимо прыгал и прыгал, появляясь то на стройке жилых бараков, то на строительстве детского сада, то на Масловке, где полуразрушенную церковь приспособляли под клуб.

Никому не казалось странным, что в городе, где живут в землянках, тратят и без того скудные рабочие силы и материалы на этот клуб. Когда-то, давным-давно, предки теперешних жителей Дебрянска ютились в курных избах и воздвигали неизъяснимой красоты церкви, башни кремля и палаты. Те, кто видел эти шедевры зодчества, не могут сказать, что они созданы из-под палки. Да, были и дикость, и нищета, и убожество, и купчие крепости на души и тела, и продажа людей, как скота. Но этот «рабочий скот» проявлял немислимые, казалось бы, в тех условиях тягу к прекрасному и стремление выразить себя в нем. И появлялись творения из камня и дерева, которые пленяли человека через столетия и будут пленять впредь.

Явившись на стройку, Гашкин всех торопил, со многими ругался, давал советы, часто невпопад, но, уходя, всех подбадривал и не смешно шутил. Исчезал он со стройки так же быстро и внезапно, как и появлялся, внося в работу дух беспокойства и спешки.

Поздней постройки церковь на Масловке в архитектурном отношении была ничем не примечательна. В ней во время оккупации немцы держали советских военнопленных... Церковь эта видела настоящий, подлинный ад, перед которым бледнели картины библейских сказаний о муках на том свете.

Всякий раз, приближаясь к этой полуразрушенной церкви, Игнат Гашкин не мог не вспомнить, что именно здесь, где раньше попы дурачили народ, а во время гитлеровской оккупации гибли в муках люди, будет клуб. Наш, советский! Какие речи услышат здесь! Какие слова — в осознание подвига народа!

Проскочив в настежь раскрытую дверь, Игнат очутился в полумраке. Окна еще при немцах были заложены кирпичом, и сейчас его выламывали, штуку за штукой, стараясь не повредить, чтобы снова пустить в дело. Еще не все дыры и трещины в стенах были заделаны, из них дуло; заложить их, особенно наверху, было, пожалуй, самым трудным.

— Здравствуйте, товарищи! — бодро приветствовал Гашкин строителей.

Ему ответили, на минуту-другую приостановили работу: с чем это пришел райкомовский актив? И только одна девушка продолжала носить кирпичи. Согнувшись под их тяжестью, она медленно поднималась по закапанной раствором наклонной доске с набитыми на ней планками. Гашкин не сразу распознал в ней Нину Ободову.

— Трудишься? — спросил он.

— Работаю... — глухо отозвалась Нина, даже не обернувшись в сторону Гашкина. В брюках, выменянных на хлеб, в ватнике, туго перетянутом ремнем, она легко сошла бы за смазливую мальчишку, если б не платок.

— Давай, давай! Пора и поработать!

Гашкин считал, что и сейчас Нина все еще не искупила своей вины.

Никто в бригаде не относился к Нине плохо. Никто и никогда не повторил ей того, что с такой резкостью бросил тогда в райкоме

Гашкин!.. Работавшие рядом с ней девчата с Бережка, пожилые мужчины, женщины хватили горя, бед и знали, как нелегко было жить в те долгие страшные месяцы. «Девчонка... Что-то было, а что-то приврали... К красивым всегда грязь прилипает больше...»

И сама Нина считала, что здесь к ней относятся очень-очень хорошо, прямо замечательно! Недаром, идя на работу из сарайчика тети Маши, она так спешила проскочить улицы и поскорее очутиться на стройке. Здесь всех она считала своими. А уж о бригадире и говорить нечего! Как родной...

Однако эта молчаливая с некоторых пор девчонка не могла забыть так легко оброненного Гашкиным словечка. Оно жгло ее душу, преследовало, отравляло жизнь. Теперь она всегда ждала, что кто-нибудь снова, нехорошо хихикнув, бросит ей это страшное слово... Не сегодня, так завтра... А если и не скажет плохого, то уж подумает наверняка!..

Нина накладывала на свои «козы» кирпичей столько же, сколько и мужчины. Один из них как-то заметил ей, что не стоит носить так много. Нина ответила:

— Ничего... Карточка дается всем одинаковая! — и потащила свою ношу.

Как иначе! Другие тоже не железные и не стальные...

Она уже не обращала внимания, как ныла по вечерам спина... Но ведь кто-нибудь должен увидеть, как она работает, увидит и скажет кому следует в райкоме, и там уж как-нибудь постараются сделать так, чтобы не висел на ней этот невидимый, пригибающий к земле ярлык... Что стоит сказать ей два добрых слова?..

Но от Гашкина этого, пожалуй, не дождешься. Он был убежден, что все делает только на благо... Вот и сейчас, как всегда...

— Ну, товарищи, как? — бодро спрашивал Игнат, придирчиво оглядывая фронт работ. — Успехи есть? Есть! Как, Латохин, в срок сдадите или раньше?

— У нас бригадир есть, товарищ Гашкин, — сдержанно отвечал Сергей.

— Знаю...

— Стараемся, — скромно ответил бригадир Дмитрий Иванович, которого все звали дядей Митей.

— Вижу, вижу... Эх, помочь, что ль, вам?.. — неожиданно загорелся Гашкин. — «Козы» лишние у вас есть?

— Нету, Гашкин, — ответил бригадир. — Да и ни к чему это... Занимайся-ка ты лучше своими делами!

Гашкин не обиделся:

— Ну и черт с вами! Пойду дальше... У меня еще два объекта... Да! — вспомнил он. — Вот что, девушки... Вернетесь к себе, скажите товарищу Красницкой, чтоб в райком пришла... Вечером...

Тяготившийся вынужденным из-за болезни бездельем, Степанов вновь взялся за рукопись Владимира Николаевича. Одна глава заинтересовала его особенно, и он прочел ее не отрываясь. Это была «История Федора Алексеевича Семенова и его спор со знаменитым французским астрономом Араго».

Под заголовком нарисованы одноэтажные домики, куры перед ними, облака и птички, как их обычно рисуют дети — галочкой. Под рисунком подпись: «Курск». Рядом набросаны большие дома, Эйфелева башня, парки. Подписано: «Париж».

В главе рассказывалось, как самоучка из Курска, сын купца, вычислил солнечные затмения на 150 лет вперед. Знаменитый французский астроном Араго категорически отверг эти расчеты: в девятнадцатом веке полных солнечных затмений, видимых в Европе, больше не будет! Русский мужик смеет с ним спорить!

Но наступил год, день и час, и предсказанное затмение началось. Секунда в секунду, как вычислил Семенов! Араго печатно извинился перед курянином, признал свою ошибку.

«Если это мог совершить русский самоучка самостоятельно, без чьей-либо помощи, то что мог бы он совершить, пользуясь поддержкой? — подумал Степанов. — Он и многие другие безвестные русские самородки... Вот теперь в школу на Бережке придут их маленькие наследники, которым даны воля и право стать великими... И кто-нибудь из его учеников — кто знает? — может быть, станет им...»

Так высказанное старым учителем и не раз передуманное его учеником замкнулось на их общем деле — школе.

Вошел Турин:

— Миша, Таня пришла...

— Пожалуйста, попроси...

Таня вошла, бочком села на краешек стула.

— Таня, — начал Степанов, — я думаю, что ты меня поймешь правильно... — и увидел, как насторожилась, широко открыла глаза девушка. — Я договорился, что буду жить в школе.

— На Бережке? — радостно вырвалось у Тани.

— Да... С неделю я еще проваляюсь, и мне нужно будет приносить обеды и завтраки... Или хотя бы одни обеды. Ты можешь это взять на себя?

— Конечно... И завтраки буду носить, и ужины, — охотно согласилась девушка. — А когда я на дежурстве буду, девчата помогут. Я договорюсь...

— Спасибо, Таня. Через неделю, даже дней через пять, думаю, я кончу с этой иждивенческой жизнью.

Степанов стал ее расспрашивать, как живут переселенцы, что в городе, что на Бережке?..

Таня рассказала, что в свободное от дежурств и забот по дому время девушки ходят по землянкам, сарайчикам и читают газеты. Но им задают столько вопросов и порой такие сложные, что они подчас не в состоянии все политически верно объяснить. Не поможет ли он им?

— Пожалуйста... — откликнулся Степанов, — вот поправлюсь...

Боясь вызвать недовольство Турина — опять скажет, клуб в райкоме, — Степанов не стал задерживать Таню, постарался отпустить ее поскорее.

Едва девушка ушла, Турин стал в дверях.

— Миша, не нужно тебе так спешно переезжать и не нужно было просить Таню ни о чем.

— Подожди, подожди... — заволновался Степанов. — Я и мои посетители действительно мешаем здесь! Как же быть?

— Получишь койку в общежитии, в бараке.

— Когда?

— Когда закончат его. Через две недели, месяц...

— Ого! А почему не нужно было просить Таню?

— Потому что ты... — Турин затруднялся в выборе слов и сердился.

— Ну, ну! — поторопил его Миша. — Не стесняйся...

— Потому что ты в облаках витаешь, — решился Турин. — Или что-то вроде этого...

— Ты мне лучше уж все объясни...

— Конечно, это чепуха, и не стал бы я никогда говорить, да ты, я вижу, сам об этом никогда не подумаешь...

— О чем?

— Со стороны это может выглядеть не так уж прилично...

— С какой «стороны»? — Степанов начал нервничать, и Турин уже жалел, что затеял разговор, хотя и откладывать его было совершенно, по его мнению, невозможно.

— Я-то знаю, что это вздор. А другие вздором не считают: «Что-то зачастила к нему Таня... Неспроста это...»

— Иван, ты все это всерьез? — Слова Турина казались Степанову чудовищно нелепыми...

— А почему не могут подумать? Что у нас, мужчины перестали быть мужчинами, а женщины — женщинами? — Турин махнул рукой.

— Вот уж какие опасения мне бы не пришли в голову... — раздумывая, проговорил Степанов.

— Тебе многое, Миша, не приходит в голову... — продолжал Турин назидательно.

— Что именно?

— Говорили мы с тобой... Ты — актив, и с местными тебе надо соблюдать дистанцию... Иначе погрязнешь!.. — сказал Турин главное, но, памятуя, что друг все-таки болен, успокоил: — Насчет Тани тебе никто ничего не скажет. Можешь быть совершенно спокоен. Подумать, быть может, подумают, но не скажут...

— Утешил: могу быть подлецом — вслух никто не упрекнет? Давай помолчим, Иван... — Степанов раздраженно схватил голову руками.

Турин хотел что-то ответить, но в окно постучали, и он пошел отпирать дверь.

Степанову сейчас не хотелось ни о чем думать, ни тем более с кем-либо спорить, что-то отстаивать, что-то ниспровергать. Устал...

Отключившись от всего, он не сразу понял, что мужчина, впущенный Туринным, спрашивал его.

— Михаил Николаевич? Здесь...

— Волнуемся мы там... Как он?

Турин сказал, что Степанову лучше, скоро подыметя, но беспокоить его не надо.

— Да, да, конечно... — почтительным шепотом проговорил вошедший. — Привет ему... Пусть поскорей поправляется...

— Востряков! — узнал Степанов и от неожиданной для самого себя радости почти закричал: — Артем!

Востряков, как был в шапке, с узелком и палкой в руках, толкнул дверь и как-то неловко вошел в маленькую комнатку.

— Друг ты мой! — бросился он к Степанову. — Эх, елки-палки! Поехали бы сейчас к нам! — восклицал он. — А ты вон как...

— Куда ж мне ехать, Востряков... Что у вас в Костерине? Как живешь?

Турин, поняв, что поработать уже не удастся, пошел к Прохорову. Все равно собирался завтра побывать у него.

Востряков опустил узелок на пол, снял шапку, шинель и, повесив ее на стул, сел. Причесав рукой лохматые волосы, подался к Степанову:

— Ты знаешь, что я тебе скажу. А народ в Костерине как и везде. Да, да! — подтвердил он поспешно, словно боялся возражений. — Конечно, есть обиженные, но в основном-то народ серьезный и добрый... А я, Степанов, лапоть!.. Ну ладно, — кончил он с этим и спросил, понизив голос: — Скажи, тут пропустить по рюмке можно? Секретарь-то небось свой?

— Эх, Востряков, — с сожалением вздохнул Степанов. — Тут же — райком! Понимаешь?

— Райком, Степанов, там, — Востряков указал большим пальцем на дверь в соседнюю комнату, — а здесь — жилье... А человек, он того... и чай пьет, и еще кое-что... Не возражаешь? — Востряков уже взялся за узелок.

Степанову так не хотелось огорчать товарища!

— Не возражаю... Но мне-то, понимаешь, нельзя ни капли...

Востряков озадаченно посмотрел на Степанова. Об этом он как-то не подумал.

— Ни капли... Понимаю... Ладно, ты мысленно...

Востряков развязал узелок и положил на другой стул кусок ветчины, от запаха которой Степанову сразу захотелось есть, хотя он был, казалось, сыт; положил большие, похожие на поросят, соленые огурцы, хлеб, достал из-за пазухи поллитровку мутной самогонки. Степанов ел, Востряков выпил и закусил, и было видно, что ему очень хочется побыть со Степановым как можно дольше, посидеть в уюте, поговорить.

— Скажи мне, Степанов, вот что... Война через год кончится, лет через десяток все восстановим, кроме поломанных судеб, еще через десяток — построим полный социализм... Может, к тому времени мы, побитые и дырявые, семь раз помрем... Так вот: вспомнят нас или нет? Ну, не то что там особо как, парадно, а просто, по-человечески? Выйдут, допустим, на Волгу, глотнут свежего воздуха, посмотрят на ширь и сообразят: Волга-то осталась Волгой! Русской матерью-рекой. А почему? Да потому, что были в том строю на переднем крае миллионы, а среди них — Степанов Михаил и Востряков Артем... А?

Простецкое, круглое лицо Вострякова в оспинках сейчас было красиво своей одухотворенностью. Так пахари, как бы ни был тяжек труд, плотники, как бы ни выматывали их топор и пила, в какой-то момент оглядывались на дело рук своих и, если оставались довольны сделанным, прояснялись в лице...

— Или вот, Степанов, — продолжал Востряков, — живешь и знаешь: есть Москва! В голове не укладывается: могло ведь и не быть! А есть. Стоит! А почему? Были на переднем крае миллионы, и среди них — мы с тобой. Неужели не вспомнят, а? Скажи, Степанов!

— По-моему, ты сам ответил на свой вопрос...

— Как это?

— «Были в том строю миллионы...» Так и запомнят все, а поименно нас с тобой — лишь наши дети. Может, внуки еще... А с чего это ты в философию ударился, Артем?

Востряков выдержал солидную паузу и не без важности ответил:

— День рождения у меня.

— Вот как! Сколько же?

— Сорок пять Артему Степановичу Вострякову!

Степанов приподнялся, крепко пожал руку товарищу:

— Поздравляю, Артем! От всего сердца — самые лучшие пожелания!

— Спасибо! А в том, что желаешь мне добра, как никто, не сомневаюсь. Хороший ты человек, Степанов!

— Отличный! — пошутил тот. — Почему же ты в такой день домой не спешишь?

— Дом-то остался, а что в нем? Клава от меня ушла...

Степанов и удивился, и, пожалуй, порадовался этому. Клавдия с ее «красивыми» идеями вряд ли могла принести счастье Вострякову. Но удивило его то, что такая ухватистая по части мужиков и вообще, видимо, оборотистая девица решила остаться без мужа в деревне, где девок и баб — пруд пруди, а мужиков — раз-два и обчелся.

— Что тебе, Артем, сказать... — раздумывал Степанов. — Жалеть, наверное, не стоит.

Востряков коротко махнул рукой:

— Считает, что я уронил себя... Раньше, когда на людей косился, был, мол, выше всех, а сейчас слился с серой массой. Обезличился и упал! Перестал быть героем!

«Глупа, да еще с претензиями... — решил Степанов. — Ей нужен диктатор. То-то бы она тешила свое самолюбие...»

Как только Сергей Латохин утвердился в Дебрянске — устроился с жильем, работой, получил комсомольский билет, — для него наступил кризисный момент. До тех пор пока нужно было чего-то добиваться, с кем-то спорить, куда-то ходить, все, казалось, шло как надо. Но вот хлопоты позади, каждый день с утра до вечера он на стройке... Так сегодня, завтра, послезавтра. Сергей заскучал...

На первых порах и знакомых не было. Те немногие, кого знал до войны, рассеялись по свету, а некоторых просто позабыл. Новыми знакомыми оказались бережанские девчата, с ними он работал на строительстве клуба. Сначала девчата относились к Латохину почтительно-сдержанно: хотя и невзрачный на вид, но фронтовик... Однако Сергей держался скромно, старался помочь девчатам, чем только мог, и постепенно подружился с ними.

По вечерам девать себя было некуда. Раз поговорили с Аней Ситниковой, два поговорили, а дальше? Латохин выходил из сарайчика, прогуливался и, не зная, что делать, возвращался к себе.

Он стал чаще писать своим на фронт, Леночке — каждый день, но ответные письма только разжигали чувство неудовлетворенности собой. Как-то Коля Максимов написал:

«То, что другой раз видишь, описать невозможно. В Жлобине гитлеровцы убили 3000 евреев. Всех без разбора. Это и есть — «новый порядок»!»

Хотелось немедленно в бой, хотелось грохнуть по фашистам из тысячи «катюш», а на деле можно было только таскать кирпичи, месить глину...

Как-то, одним из таких безысходных вечеров, Латохин столкнулся у колодца с Ниной Ободовой: Латохин доставал воду, Нина подошла с ведрами. Сергей взглянул на девушку, и ему показалось странным, неестественным ни о чем не спросить, повернуться и уйти.

— Давай я покручу, — предложил он.

Нина безучастно повела головой: ну покрути.

Он достал одно ведро, другое. Пошли рядом. Тропку проложили по серым пепелищам уже давно, и десятки ног как следует вогнали кирпичи в землю.

— Тяжело? — участливо спросил Латохин, стараясь не расплескать воду из своих ведер: на тропке были ухабы.

Нина усмехнулась:

— Кирпичи на строительстве носить не легче...

— Да, конечно... А почему все таскают ведра руками?

— Где ж теперь найдешь коромысло?

— И то верно... Тепло в вашем сарае?

— Когда протопят, да.

— Кем она тебе доводится, хозяйка?

— Знакомой.

— Чем платишь?

— Платить не плачу...

— А как же?

— Делюсь хлебом. Я получаю больше.

Быть может, только теперь Латохин, много раз выдавший Нину и кое-что слышавший о ней, смог представить себе реальнее ее жизнь. Но и сейчас не все ему было ясно.

— Так, так... — проговорил Латохин и продолжал одобрительно: — Смотрю я на тебя — работаешь ты хорошо, стараешься, ведешь себя скромно...

— Ну?.. — насторожилась Нина.

— Здорово работаешь!.. И девчата о тебе хорошо говорят. Что же ты при немцах-то... растерялась? Не сообразила, как и что? Ведь были и партизаны, и подпольщики... Ну, не могла в подпольщики — просто вела бы себя потише. А?

— Рассказали... — проговорила Нина безучастно, отстраняя снисходительно-товарищеское и все же коробившее ее участие Латохина.

— Рассказали, — подтвердил он. — А ты хочешь сказать, что врут?

— Ничего я не хочу сказать, — резко ответила девушка. В тоне ее не было обиды, чувствовалось только желание держаться на известном расстоянии.

Латохин с недоумением смотрел на девушку: его участливость она явно не оценила, он же предлагает, так сказать, руку помощи, но не встречает поддержки...

— Да-а... — протянул он с некоторой несвойственной ему назидательностью. — Жизнь нужно прожить так, чтобы потом ни о чем не жалеть, сказал писатель-комсомолец Николай Островский.

— Проходили, — спокойно отозвалась Нина. — Сочинение даже писали...

— Вот видишь! — заметил Латохин.

— Вижу... — Нина почувствовала, как у нее в носу и глазах защипало, она испугалась, что расплачется при Латохине, и пошла быстрее, быстрее, расплескивая воду.

Сергей хотел окликнуть ее, но Нина сама вдруг остановилась и заметила с вызовом:

— Если вспоминаешь Островского, то хоть не перевирай его слов!

— А я что, перевираю?! — удивился Латохин, простодушно веруя в свою непогрешимость: уж кого-кого, а Николая Островского он знает!

— И еще как перевираешь!

Нина давно уже заметила, что, как только ее сочли виноватой перед другими, она ни в чем, ни в каком споре, не оказывалась права. Ее противники были просто убеждены, что такая и не может быть правой. Не может, и все! Вот и сейчас...

— Так как же тогда сказал Островский? — улыбнувшись, спросил Латохин, задетый за живое. Еще не хватало, чтобы эта девица учила его! И чувство симпатии к Нине сменилось вдруг почти враждебностью. — Как же все-таки сказал Островский, если быть ближе к делу? А?

Нина всмотрелась куда-то в даль, вспоминая.

— Сейчас...

— Жду, жду...

— Вот как он сказал. — Голос Нины не стал сильнее, не зазвенел, не изменился, только, пожалуй, стал более проникновенным: — «Самое дорогое у человека — это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое, и чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному — борьбе за освобождение человечества». Вот что сказал Николай Островский...

По мере того как Нина вспоминала слова писателя, Латохину все очевиднее становилось, что, выходит, она права, а он нет. Она в споре победитель, а он — побежденный... Он не воспринимал ничего другого, кроме внезапной обиды, казалось ему, совершенно незаслуженной и тем более острой, что исходила от человека, который бы, думалось, и не имел права замахиваться на него. И Латохин бросил:

— Что же ты, так хорошо помнишь слова Островского, а сама — в постель к немецкому офицеру! Так?..

Нина остановилась, поставила ведра и закрыла глаза рукой, словно увидела что-то нестерпимо постыдное.

Латохин сразу же понял: сказал лишнее и, что еще хуже, совершил непоправимое, однако чувство ложного самолюбия не дало ему отступить. Молча прошагал мимо Нины.

Когда он доставал для нее воду, желая хоть немного помочь ей, он и помыслить не мог, что всего через несколько минут после этого

оскорбит ее так жестоко.

У Нины безвольно дрожали губы, она делала все, чтобы не закричать, не застонать... Когда Латохин скрылся в темноте, у нее сорвался вопль отчаяния:

— О-ой!..

Не помня как, дотащила ведра до сарайчика и, увидев котелок и несколько картофелин, приготовленных тетей Машей, все-таки смогла осознать, что должна сесть и почистить их для ужина. Быстро поставила ведра, накрыла фанерками и взялась за нож с деревянной ручкой.

Тетя Маша перебирала гречневую крупу.

— О-хо-хо... Хлеб наш насущный, — проговорила тетя Маша и взглянула на девушку. — Тебя как будто трясет, Нин?

— Холодно мне.

Нину действительно всю трясло, и она ничего не могла поделать с собой. Нож стал срываться, очистки пошли толще и короче.

Тетя Маша поднялась, приложила руку ко лбу Нины:

— Жара нет?

— Вроде нет.

— Сегодня Федосову отнесли... Могила не глубже метра... — Тетя Маша сняла ладонь со лба Нины. — Да, не похоже на температуру... Нин, ну что же ты так толсто! Смотри, какая шкура поползла!

— Сейчас, тетя Маша... Сейчас я прилажусь...

Но как Нина ни старалась, как ни замирала, напрягаясь, думая тем самым овладеть собой, ничего не помогало.

— Нин, да что с тобой? Что случилось-то?

Девушка вдруг вскочила и, рухнув на постель, затряслась от беззвучных, без слез, рыданий.

— Девочка моя!.. Да что с тобой?..

Нина рывком отвернулась к стенке, и слезы, которые она до тех пор сдерживала, вдруг прорвались.

— Господи! Да что же это с тобой? Случилось что? Обидел кто?

Нина продолжала рыдать.

Тетя Маша, вздохнув, пристально посмотрела на Нину и спросила:

— Скажи-ка, девочка моя, ты, случаем, не в положении?

— Что?.. — еле слышно прошептала Нина, краснея от стыда.

— Говорю, не забеременела ли?

— Тетя Маша!.. — вскрикнула Нина.

— Ну ладно, ладно... — ласково сказала тетя Маша. — Не обижайся, пожалуйста. Только с мужиками этого не может быть, а с девчатами и бабами, как ни верти, случается.

В эту бессонную ночь Нина Ободова думала о том, что ей, пожалуй, теперь уж не выкарабкаться из той глубокой пропасти, в которую бросили ее обстоятельства. Нет, не выкарабкаться... Если б она могла смотреть на жизнь проще!

Сергей Латохин был хорошим человеком. Он был доброжелателен ко всем, старался помочь девушкам в их тяжелой работе. Никто столько не шутил с ними, никто столько не подбадривал их, сколько он. А ведь эти помощь и внимание исходили не от богатыря — от щупленького, битого-перебитого на войне парнишки. Вроде как добрый, внимательный человек, знающий, что такое беда, участливое слово товарища, кружка кипятку, когда озяб...

Тетя Маша тоже была добрым человеком. Сколько Нина у нее живет, не попрекнула ничем и даже белье ее стирала жидким, с неприятным запахом мылом сама, не считая это за какой-либо труд, да, собственно, и не считая маленькие Нинины кофточки и трусики за настоящее белье. По воскресеньям вставала так, чтобы не разбудить Нину, старалась, чтобы девушка отоспалась. Сама ходила в очереди за пайком. Хорошо относилась, и все же могла вот так больно ранить, даже не заметив, что ранила...

Могла добрая тетя Маша, мог добрый Латохин, и если они могли, то дело, решила Нина, очень плохо...

На следующее утро Латохин предложил организовать на стройке фронтовую бригаду.

Конечно, девчатам надо было немедленно откликнуться на это предложение. Да и как иначе?! В газетах иногда писали о них с тем пафосом, который не мог оставлять сомнений, что «фронтовая» это почти что гвардейское соединение на переднем крае. Сделает рывок вперед, увлечет за собою остальных — и победа, о которой все мечтали, еще ближе!.. Думать тут было не о чем. Однако Оля-солдат,

получившая такое прозвище потому, что ходила в обмотках и шинели, спросила:

— Станем мы фронтовой, а что изменится? Ведь мы и так работаем по совести...

— Верно, — согласился Латохин.

— Что ж тогда?

— Как тебе объяснить... — До сих пор идея фронтовой бригады казалась Латохину настолько ясной, что он не дал себе труда подумать, что кроме общих слов может сказать о ней другим. — Понимаешь ли, Оля, не буду тебе повторять того, что пишут в газетах... Думаю, что, взяв высокое имя фронтовой, будем чаще думать о тех, кто сейчас заботится не о себе, своей жизни, а только о том, чтобы победить.

— Будем думать... — согласилась Оля-солдат. — И тогда процентов будет больше?

— Постараемся, — просто ответил Латохин.

На том и кончили. Дядя Митя решение одобрил.

Нина Ободова не принимала никакого участия в разговоре, стояла в сторонке, полуотвернувшись от Латохина. Выбрав момент, Сергей подошел к девушке.

— Я, может, вчера слишком... — произнес он, как вполне искупающее вину, извинение.

Нина повернулась к Латохину:

— «Может»! — неожиданно громко повторила она. — Уй-ди!

Яростный по своей силе, но сдержанный крик этот вызвал у Латохина не возмущение — его вдруг пронзила жалость к ожесточившейся так девушке. Какую боль нужно носить в себе, чтобы она остро отозвалась и в других!.. Вчера он погорячился совсем некстати. Переборщил... Надо будет поговорить с Ниной в другой обстановке, постараться найти общий язык, помочь, если нужно...

Шли дни.

Латохин нет-нет да посматривал на Ободову. Как она работает! Не щадя себя, стараясь не только не отстать от девчат физически крепче ее, но и явно обогнать.

С Латохиным Нина не разговаривала, хотя тот не раз пробовал вовлечь ее в беседу. Стала молчаливей, сдержанней и с другими:

спросят — ответит, редко когда задаст вопрос сама или вступит в разговор подруг.

— Нина, ты что? — спросила ее как-то неунывающая Оля-солдат.

— А что? Работаю... Претензии есть?

По работе претензий быть не могло. Что же касается настроения... Слишком много было причин для огорчений, и разве могли догадаться об истинной эти простодушные девчата. Ведь у каждого могло быть свое. Похоронка с фронта... Смерть близкого... Слух о том, что без вести пропавшая мать, брат или сестра, которых немцы гнали в Германию, погибли... Пропажа хлебной карточки, которая ни по какому случаю не возобновлялась... Тоска, вдруг нападавшая ночью в землянке, когда вдруг мерещилось, что ты лежишь в сырой могиле... Первые признаки заболевания кипящим вокруг тифом... Горькая обида на человека, который подвел. А таких могло быть много: пообещал привезти дровишек — и не привез, день просидели в нетопленной землянке или сарае... Пообещали выдать два листа фанеры — и не выдали, а крыша течет... Родственники, которым когда-то столько сделали хорошего, сейчас не внимают просьбам о помощи... Одна из вещей, которую закопали перед угоном в самом потайном месте и которая потом исчезла, вдруг обнаружена на человеке, считавшемся хорошим знакомым... День рождения, который, как выяснилось, был вчера и о котором забыла сама и некому было напомнить... Случайно приобретенные сапоги или ботинки, которые так натирают ноги, что не вмоготу ходить, а другой обуви нет...

Подруги могли долго перебирать напасти из этого нескончаемого списка, и все же им было не угадать подлинной, вогнавшей Нину Ободову в такую тоску, почти отчаяние.

Бригадир послал Нину к Троицыну поторопить с доставкой кирпича. В стройтрест она могла пройти и по Первомайской, и по Дзержинской улицам. Нина пошла по Дзержинской, где находился райком...

Отослали ее нарочно. Латохин, уловив удобный момент, успел перемолвиться с дядей Митей: надо поговорить с девушками без Нины, и дядя Митя согласился.

Когда она ушла, Латохин позвал:

— На минутку, девушки.

Те скинули с плеч «кóзы», обступили Латохина.

— С Ниной происходит неладное...

Все и сами видели это. Но разве можно угадать из ста возможных причин одну подлинную? Девчата гадали-гадали и решили, что, скорей всего, кто-нибудь обидел Нину, напомнив о сплетне...

И тогда Латохин признался:

— Я напомнил.

Девчата молча, в недоумении смотрели на Латохина: «Почему?.. Отчего?.. Кто бы мог подумать!..»

— А не шутишь? — спросила Оля-солдат.

Латохин отрицательно покачал головой и криво усмехнулся: разве этим шутят?

— Как же это ты? — опять спросила Оля-солдат.

— Вот так... — И Латохин рассказал, как было дело. В разговор вступил до сих пор молчавший дядя Митя:

— Извинился?

— Извинился... — неохотно отозвался Латохин. — Но Нина не простила.

— Быть с Ниной внимательными, как никогда, — подвел черту дядя Митя. — С теми, кто оскорбит Нину, расправляться по-свойски, не стесняясь, не жалея кулаков. В случае чего можете ссылаться на меня. Мол, бригадир велел.

Латохин нарочито круто сгорбился, как бы подставляя спину под кулаки, которых не надо жалеть.

— Ты, Сергей, на первый раз — прощенный. Бить не будем. Когда у Нины день рождения? Кто-нибудь знает?

— Конечно! — откликнулась Оля-солдат. — Восьмого ноября, легко запомнить. Седьмого годовщина Октября, а восьмого у Нины день рождения...

— Вот и отметим всей артелью... В отряде, когда кругом были фашисты, и то отмечали... Да еще как! Ну а теперь-то!.. Вот здесь собьем стол из досок. — Дядя Митя показал руками, каким он будет

длинным. — Сложимся талонами, накупим белого хлеба, сахара, масла, чтобы всем вволю... Восьмое не за горами... Сергей, поручаем это тебе, и начинай, пожалуй, сразу.

— Есть, начинать! — Латохин был рад, что таким образом он как бы загладит свою вину перед Ниной. — Но что начинать-то, дядя Митя?

— Денег нужно будет немало, а, говорю, восьмое ноября не за горами...

— А-а! — понял Латохин. Он достал бумажник, из бумажника — три десятки и талоны, положил в карман гимнастерки. — Вот сюда и будем откладывать.

И потянулись девичьи руки с десятками и талонами к карману застиранной гимнастерки Латохина...

— Вот еще что... — раздумывая, сказал дядя Митя. — Надо, чтобы Нину в комсомол обратно приняли. Примут — значит, вину сняли! А то ходит сторбившись, и каждый самодовольный болван может в нее камнем бросить! Не обижайся, Латохин, не про тебя...

— Камнем-то что!.. — заметила Оля-солдат. — А вот словом ударить по сердцу... А в райкоме, дядя Митя, там не очень-то к Нине...

— «Не очень!»! — подхватил дядя Митя. — А почему? Потому что, какая она по-настоящему, не знают. А вот когда придем к Турину всей бригадой и расскажем, как Нина живет и работает, то примут.

— Да, — авторитетно подтвердил Латохин. — Придем, расскажем — и примут!

— Я заходила на днях... — призналась Оля-солдат. — Хотела сказать о Нине... Да Турина в райкоме не было. Вечно он в разъездах.

— Надо, стало быть, сначала узнать, когда будет, а потом уж и заявляться, — сказал дядя Митя. — Поручается тебе, Оля.

— Хорошо.

У здания райкома Нина остановилась и подумала о том, что давно уже, не отдавая себе отчета, не признаваясь самой себе, хотела зайти в райком. Не случайно она и пошла по этой улице...

«Есть правда на земле или нет?»

Не зная еще, как трудно подчас бывает искать эту правду, она все же открыла калитку и робко прошла во двор.

На кухне никого не было, в большой комнате шло не то совещание, не то заседание. Оттуда доносился голос Турина:

— На бумаге организация есть! А в каком деле она показала себя? Да ни в каком! Одна формальность ваша организация! Миф!

Нине сразу же захотелось уйти. До нее ли этим людям, по горло занятым важными государственными вопросами? Она решила сходить в стройтрест, а на обратном пути, если хватит смелости, еще раз заглянуть в райком.

Уже у двери Нина услышала, как Турин, видимо закончивший свое выступление, сказал:

— Слово имеет первый секретарь Дебрянского райкома партии товарищ Захаров. Прошу вас, Николай Николаевич.

Стало слышно, как Захаров встал — скрипнул отодвинутый стул.

— Ну что ж, товарищи... Наш многоуважаемый Иван Петрович кое-кого подверг здесь довольно резкой критике. Конечно, критика — вещь неприятная, а что делать?..

Нина застыла у двери, держась рукой за скобу. Она отвыкла от собраний, речей, неизбежных суматохи и забот, связанных с проведением походов, вечеров самодеятельности, в которых она оказывалась самой активной. Как давно это было!.. Это обычное из обычных выступлений Захарова она сейчас воспринимала почти как музыку. Нина уже не могла уйти, не послушав.

— Иначе поступать нельзя, — продолжал Захаров. — И я, как секретарь райкома партии, разделяю мнение нашего товарища Турина. В самом деле, товарищи, посмотрите на линию фронта, вдумайтесь, в какие исторические дни мы живем и работаем. Красная Армия гонит врага с нашей земли. Уверен, мы услышим на днях о новых замечательных победах наших воинов. Нам, коммунистам и комсомольцам, есть на кого равняться. Больше участия в восстановлении! Больше хлеба для фронта! А для этого нам нужны жизнедеятельные организации, о которых здесь так подробно говорил товарищ Турин. Работайте не с массой, а с отдельными людьми. Не стесняйтесь лишний раз зайти в дом или землянку...

— Извините, Николай Николаевич, — послышался вдруг чей-то уверенный голос, — но Иван Петрович предупредил, что это совещание секретарей сельских комсомольских организаций он хотел бы провести в форме, что ли, беседы...

— Да, — подтвердил Турин, — но перебивать все-таки не следовало бы, Михеев!

— Нет уж, Иван Петрович, — вмешался Захаров, — сказал «а» — говори и «б». У тебя, видимо, вопрос? Спрашивай, товарищ Михеев.

— Может, действительно не стоит отвлекать... — замялся Михеев.

— Спрашивай, спрашивай! — настаивал Захаров...

Дальнейшего Нина уже не слышала. Помешала Козырева, которая вошла в кухню поворошить в печке дрова.

— Здравствуй, Ободова. Что скажешь?

Козырева носила сапоги, гимнастерку и юбку защитного цвета. Всячески подчеркивала свою приверженность к людям военным. Взглядом опытного, как ей казалось, человека она оглядела Нину.

— С чем пришла, Ободова? Говори... Работаешь?

— Работаю.

Козырева оглядела Нину более внимательно: ватник, перетянутый ремнем... потрепанные брюки... сухая кожа лица... красные ладони...

— Да-а... — многозначительно протянула она, и по выражению ее полного лица Нина догадалась, о чем она подумала: носить кирпичи труднее, чем танцевать или любезничать с немцами...

Нина была откровенно красива, притягательна для мужчин, в ней была изюминка. Варя Козырева ничем этим не обладала. И не была она человеком столь высокой духовной культуры, чтобы это обстоятельство помимо воли не могло не сказаться на ее отношении к Ободовой.

И все же Варя решила быть с Ободовой как можно более мягкой, не поступаясь, конечно, большевистской принципиальностью. Сам товарищ Турин Иван Петрович с некоторых пор не столь бескомпромиссен в подобных делах.

— Это хорошо, что работаешь на стройке, — продолжала Козырева самым благожелательным тоном. — Именно на стройке тебе и надо работать... Не в канцелярии, не в парикмахерской...

Нина поняла: подразумевается, что всякая стройка, в отличие от десятков других мест приложения труда, быстрее и надежнее перевоспитает такую девушку.

Какую?! Это, пожалуй, теперь известно воем: четко и ясно определил Гашкин, перестаравшись — Латохин, совершенно

невольно — тетя Маша, любившая ее, Нину.

А ведь все могло быть иначе.

«Мы знаем, как тебе трудно, — сказали бы ей. — В тяжелое положение ты, Нина, попала потому, что отчасти виновата сама, отчасти потому, что в такой ситуации легче оступиться».

«Ой, как вы правы! — ответила бы Нина, поражаясь пронизательности людской и справедливости. — Я конечно же виновата, только не в том, о чем думают некоторые...»

«Мы знаем, как тебе трудно, Нина. Но мы видим, как ты стараешься загладить свою вину...»

И Нина ответила бы с радостью и энтузиазмом:

«Давайте любую работу. Я ничего не боюсь, никакой работы! Даже самой тяжелой! Я буду так работать!.. Только не нужно обо мне плохо думать. Хуже, чем я есть... Нельзя этого!.. Непереносимо!.. Нельзя выдержать!..»

«Ну, а как же насчет газет? Не читаешь ведь ничего...»

«Что вы?! Читаю, — сказала бы она. — Все, что только можно достать, все читаю. «Правду», «Комсомольскую...».

«А книги?»

«Конечно же. Без них нельзя...»

«Как ты живешь, Нина Ободова? — спросили бы ее. — Есть у тебя кто-нибудь из родных?»

«Одна. И могу навсегда остаться одной, если все обо мне будут думать так, как некоторые... Кому же я нужна такая?..»

Поговорили бы о житье-бытье, а потом бы ей сказали:

«Нет, Нина, так плохо о тебе не думают. Но работы этой тебе мало. Ты можешь сделать гораздо больше».

«Правда. Я больше могу сделать. И я хочу больше!»

А на прощание ей сказали бы:

«Желаем успехов, Ниночка... Товарищ Ободова! До свидания, Ниночка Ободова!»

Ей крепко бы пожали руку, и тот, кто так поговорил бы с ней, непременно почувствовал бы, как дороги ей понимание, человеческое участие и тепло.

Но ничего этого не случилось.

Нина Ободова постояла, не отвечая Варе Козыревой, и, почувствовав, как гулко стало колотиться сердце, пошла, еле

передвигая ноги, вдруг ставшие такими тяжелыми. Она не слышала, как на улице остановилась машина, как рокотал ее мотор...

— Хозяюшка!

Распахнув калитку, к Нине легко шла девушка — лейтенант медицинской службы.

— Хозяюшка, это ведь улица Дзержинского?

— Да...

— Значит, здесь. — Девушка-лейтенант обернулась и крикнула в открытую калитку людям на машине: — Здесь!

К ней подошли двое пожилых солдат, а девушка-лейтенант все оглядывала двор и огород, выискивая что-то и не находя.

— Федоренков, ведь здесь же вот, правда? — обратилась она к одному из солдат.

— По-моему, здесь, товарищ лейтенант. — Внимательно вглядываясь из-под седых мохнатых бровей, солдат метр за метром словно прощупывал двор. — Вот здесь где-то. — Солдат кивнул на тополь в углу двора.

— И мне кажется, здесь, — подтвердила девушка-лейтенант. — Хозяюшка, — снова обратилась она к Нине, — тут могила с дощечкой была... Не припомните?

— Я не хозяйка...

Нина рассматривала эту беленькую, года на три-четыре старше себя девушку. В длинную шинель, сапоги было упрятано такое же хрупкое тело, как и у нее... И в лице, фигуре ничего мужественного, что так любят изображать на плакатах. И быть может, впервые Нина вдруг подумала, что вот в эту самую шинель и сапоги могла быть упрятана не эта неизвестная ей девушка, а она сама, Нина Ободова. Годков не хватает? Не только годков, но чего-то, наверное, и еще...

Между тем, заметив во дворе военных, Турин, Козырева и два паренька — секретари первичных организаций — вышли из дома.

У Нины уже не было желания встречаться ни с Туринным, ни с кем-нибудь еще из райкома. Встретилась бы она, пожалуй, только с Мишей Степановым, он не похож на всех остальных и может понять ее... Нина шагнула и в нерешительности остановилась за воротами.

Она слышала, как Турин представился девушке-лейтенанту и, узнав, по какому они делу, спросил:

— А кто похоронен?

— Командир наш... Константин Петрович Евлампиев... — Девушка прошла к тополю: — Вот здесь должна быть. Когда опускали, я держалась за дерево, помню...

— Тополь и в соседней усадьбе был, спилили недавно...

Много могил разбросано по Дебрянску...

Армия шла дальше на запад, наспех хороня павших. Могилы рыли на Советской, в парке, в садах неизвестно чьих домов...

Нина видела, как все вышли со двора и зашагали к соседнему дому. Ей очень хотелось пойти вместе с ними, вместе со всеми склонить голову перед размытым дождями холмиком, постоять в молчании минуту-другую, по стародавнему обычаю отдавая дань уважения погибшему. Но какое отношение она имеет к делу, за которое отдал свою жизнь Евлампиев? Нет, она не причастна к этому делу. Не причастна...

10

Степанов остался в райкоме до выздоровления. Однако трех дней из предписанных врачом не долежал: вставал, ходил и, наконец, отправился в школу.

Момент, о котором он столько думал, наступил.

Совсем иначе представлялся ему когда-то этот день. Более торжественным, каким-то особым...

Трех человек встретил Степанов на пути от райкома до школы. Все еще пустынный, безлюдный Дебрянск! Да и не мог он быть сейчас иным. Но Степанову казалось, что за время, которое он бездарно провалялся в больнице и в райкоме, за это разуплотнившееся, медленно тянувшееся время, что-то должно было измениться во внешнем облике города...

Степанов явился в школу за добрых полчаса до начала уроков. В маленькой учительской комнате — собственно не комнате, а отгороженной тесом половине коридора, делившего дом, — Вера проверяла тетради.

Увидев Степанова, она лишь подняла голову в очевидном намерении посвятить ему минуту-другую и вернуться к главному — работе. Ответила на приветствие, спросила, как здоровье.

— Ты знаешь, совсем неплохо. Я думал, будет хуже... Что у тебя?
— Говорят, Акимова видели в Девяти Дубах...
— В Девяти Дубах? Почему же там?..
— Опять слухи, — устало махнула рукой Вера.
— А может, не только слухи? — раздумывая, проговорил Степанов. — Чего только не бывает!..

Но Вера уже склонилась над тетрадами.

Отсутствующим взглядом Степанов посмотрел на нее, потом в окно, снова на Веру: «Поговорили о пропавшем без вести или погибшем ее муже и должны заняться каждый своим делом... Неужели вот так и нужно, вот так и будет?»

Подошли Владимир Николаевич, Паня, однако и разговор с ними не рассеял какого-то недоуменного состояния Степанова. Но он заставил себя отрешиться от него: прочь ненужные раздумья! Он пришел в школу на свой первый урок!

Когда прозвенел звонок, стали стихать ребячий топот и шум, Степанову, который остался один в коридоре, почудилось пение. Откуда?! Радио? Но ведь радио в городе еще не было. С улицы? Может быть. Но вот он различил слова песни «Широка страна моя родная...» и ускорил шаги.

Он шел, а голос, вот теперь можно было сказать — девичий голосок, тихонько и осторожно выводил:

Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек...

И вдруг пение оборвалось. Его заметили.

В дальнем закутке коридора на куче поленьев, наверное напиленных из подгнивших поваленных деревьев, сидела девочка. Степанов всмотрелся. Ира!

— Извини, Ира. Я, наверное, тебе помешал.

— Нет, Михаил Николаевич, нет... — Девочка встала.

«Вот же с чего надо начинать!» — подумал Степанов.

— Ну, пойдем на урок.

Он потянул на себя высокую и тяжелую дверь и, поздоровавшись, вошел в класс. Полтора десятка мальчиков и девочек встали со скамеек перед некрашеными столами, приветствуя нового учителя.

Степанов осторожно рассматривал ребят. Леня Калошин с широко раскрытыми глазами... Мальчик с пепельно-серым лицом, в отцовском пиджаке с широкими полосками и подвернутыми внутрь рукавами, кажется — Толик Корнеев... Девочка без ботинок, в одних чулках...

— Как же ты пришла? — спросил ее встревоженный Степанов.

Смущенная девочка встала:

— Я... Меня мама провожала... Я ботинки ей вернула: сестре на работу идти... А потом мама принесет... Я не босиком, нет...

Степанов кивнул, разрешая ей сесть, и обратился к детям:

— Дорогие ребята! Как я рад видеть вас в школе... — Голос Степанова пресекся.

Как несравнимо мало он может дать этим изголодавшимся, измученным человечкам! Они сидели притихшие, ожидая от него умного и проникновенного родного слова.

— Почти два долгих и тяжелых года, — продолжил Степанов, — вы жили, как чужаки, в своей собственной стране. Враги пытались навязать вам дикие мысли и чувства, отбивая память о родном и привычном. Не вышло! И не могло выйти! — Он помолчал. — Я хотел бы начать свой первый урок с вами с песни «Широка страна моя родная...»

От неожиданности ребята стали переглядываться: петь на уроке литературы? Потом почувствовали, что это не просто урок и не просто песня, а начало новой жизни, ее ознаменование, и, когда Степанов затянул:

Широка страна моя родная, —

ребята, вспоминая слова песни, недружно подхватили:

Много в ней лесов, полей и рек.
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек!

Вскоре пели уже более слаженно:

От Москвы до самых до окраин,
С южных гор до северных морей
Человек проходит как хозяин
Необъятной родины своей.

Кто-то приоткрыл дверь, заглянул в класс, и через мгновение песню подхватили в соседнем классе:

Всюду жизнь и вольно и широко,
Точно Волга полная, течет...

Когда песня кончилась, Степанов помедлил, стараясь справиться с волнением, но, поняв, что ничего из этого не выйдет, дрогнувшим голосом продолжал:

— Дорогие ребята! Мы с вами будем изучать родной язык и литературу. Познание творчества Радищева и Пушкина, Толстого и Чехова поможет вам понять, как велик, могуч и красив наш народ. Войну, эту страшную войну, нельзя выиграть без танков, пушек, самолетов и «катюш», однако и без силы, таящейся в великом прошлом Родины, — тоже нельзя. В поименных списках фронтовиков нет ни Пушкина, ни Толстого, ни Кутузова, ни Суворова, ни революционеров. Но они всегда с нами, и без них мы эту войну не выдержим... — Степанов помолчал и неожиданно сказал: — Однако давайте сначала познакомимся...

Он взял классный журнал, сделанный из тетради, и, по стародавнему обычаю, стал выкликать учеников. Когда ученик вставал, Степанов, если не знал, расспрашивал, где живет, из кого состоит семья и кто на фронте, что прочел или прочла из произведений русской литературы за эти почти что два года немецкой оккупации...

Надо было бы все пометить, но Степанов прекрасно знал: увидев, что он записывает, ребята смутятся и это сразу нарушит атмосферу доверительной и дружеской беседы...

— Ну и что же ты, Паша, еще читал из Гоголя?

— Из Гоголя еще читал «Полтаву»...

— А разве «Полтаву» Николай Васильевич Гоголь написал?

В классе стало еще тише, и по этой настороженной тишине, желанию многих из ребят никак и ничем не обратить на себя внимание, Степанов понял, что большинство не может ответить на его вопрос. И это пятый класс — тринадцати-четырнадцатилетние подростки, а есть один и пятнадцатилетний! Понял Степанов и другое: нельзя отпугивать вопросами, подчеркивать, что они так угнетающе мало знают. Степанов хотел было ответить сам на свой вопрос, но девочка в углу подняла руку.

— Что ты, Вера Масленникова?

— «Полтаву» написал Александр Сергеевич Пушкин, — встав, ответила Вера.

— Пушкин, — подтвердил и мальчик в отцовском пиджаке с подвернутыми рукавами.

Но остальные, выходит, не знали или сомневались в своих зыбких догадках.

Ответив, Вера Масленникова не спешила сесть, и Степанов спросил:

— Ты что, Вера?

— Михаил Николаевич, а верно, что Пушкин — не русский?

Не успел Степанов ответить на этот вопрос, рассказав о Пушкине, как спросили о Петре Первом: правда ли, что он прославился и стал «передовым» царем потому, что делал все на немецкий манер? Степанов почувствовал, что есть и еще подобные, на первый взгляд, казалось бы, неожиданные вопросы, которые боялись задавать в первый день, но которые обязательно зададут... Ничто не проходит бесследно, и он, Степанов, здесь для того, чтобы дать этим детям истинные знания!

После обеда Степанов снова вернулся на Бережок: хотел быстрее войти в школьную жизнь. Большинство учителей собиралось здесь по вечерам: можно спокойно проверить тетради, подготовиться к завтрашнему уроку... Кроме того, были и дела, требовавшие частых и общих усилий.

Самыми последними вышли из школы Владимир Николаевич и Степанов. Старый учитель, почувствовав себя в родной стихии, среди тех, ради кого он жил, за последнее время заметно окреп, приободрился.

— Михаил Николаевич, я переживаю счастливые дни... — взволнованно говорил он Степанову. — Ведь я уж думал — конец! Уже под самым Почепом, помню, сел я на дорогу, свесив ноги в канаву, — не мог больше идти! Откуда-то вырос немецкий бандит с пистолетом. Запомнил я его физиономию: узкая, с глазами навывкате... Поднимает свой пистолет, и я чувствую, как он сейчас выстрелит и влепит мне в грудь кусок свинца... Поверь, в этот миг вспомнил школу: ребята ко мне лицом, я к ним... Вот так всю жизнь — лицом к лицу с теми, кто пойдет дальше нас, будет лучше нас, счастливее нас...

— Но все же не выстрелил, гад?..

— Не выстрелил, как видишь... Может, потому что я сказал ему что-то по-немецки... Случайность, в общем...

На спуске к мосткам через Снежадь учителя повстречали Евдокию Павловну Нефеденкову. Поздоровавшись, она спросила:

— Ты не забыл про меня, Миша?

С палкой в руке, в пальто, перепоясанном ремнем, в платке, повязанном по-старушечьи, она была очень похожа на странницу. Но что-то было в ее фигуре и от той прежней Евдокии Павловны, которую хорошо знал Степанов до войны. «Боря, — почему-то звенел в ушах голос той, далекой Евдокии Павловны, — Боря, Конан Дойл, конечно, очень интересно, но почитай, пожалуйста, и Гете, и Гейне... Они стоят вот на этой полке... И хорошо бы знать язык настолько, чтобы обходиться без переводчика... Воспитанный человек, Боря, — это, прежде всего, человек сильный духом. Лишь слабый прощает себе то, что делает его в глазах других дурным...»

— Я не забыл обещания, Евдокия Павловна, не забыл... — сказал Степанов. — Сегодня первый день на работе и сейчас, как говорится, к вашим услугам...

— А не поздно? — спросила Нефеденкова.

— Почему же поздно?

Владимир Николаевич почел за необходимое оставить их вдвоем.

— Где бы нам спокойно посидеть, Миша? — озабоченно спросила Евдокия Павловна. — Живешь все там же?

— Там же... Не знаю даже, что и предложить, — нерешительно сказал Степанов.

— Тогда пойдем ко мне... Только пусть уж тебя не смущает обстановка.

Оговорка показалась Мише несколько странной: не знает он, что ли, как живут в городе, не бывал в землянках?

— Как себя чувствуешь? — мягко спросила Евдокия Павловна.

Разговаривая, они обогнули темный и тяжелый массив церкви, стали подниматься в гору.

— Разве вы не в самом Дебрянске живете? — спросил Степанов.

— Нет, Миша... — В голосе Евдокии Павловны был оттенок обиды, но Степанов не уловил его.

— Впрочем, сейчас живут где придется и где удастся обосноваться...

— Пойдем, пойдем, Миша. Ничего, что я тебя по-прежнему?..

— А как же еще, Евдокия Павловна?!

Из-за дальнего леса стал выдвигаться диск красноватой луны и, бледнея, полез на темное небо, различимое только там, где он спокойно плыл. Его слабенькому, умиротворяющему свету открылись луга за Снежадью, в одном месте, но ярко засверкала разбитым зеркалом сама древняя река, открылась по дороге на Ружное чья-то усадьба с четким углом, который образовали не то липы, не то березы...

Пригорок все поднимался, но стежка вдруг свернула вправо и пошла вдоль довольно крутого холма. Они прошагали еще с минуту — холм стал почти отвесным — и остановились.

Степанов увидел черный проем входа. Нефеденкова постучала и, не дожидаясь ответа, распахнула перед гостем слепленную из кусков фанеры и дощечек невысокую дверь. За дверью оказалась занавеска о двух половинах. Евдокия Павловна оттянула одну из них в сторону, и Миша увидел землянку. Один угол занимала большая черная доска, перед которой мерцала лампадка, в другом углу сидела женщина в черном, с черным платком на голове.

Степанов, недоумевая, поздоровался.

Женщина в углу поднялась и молча низко поклонилась.

Сейчас, когда женщина встала, можно было разглядеть, что черное на ней не что иное, как подобие монашеской рясы, и платок

повязан не как у простых женщин, а очень строго.

«Монашенка!»

— Раздевайся и садись, Миша, — просто, будто Степанов бывал здесь не раз, сказала Нефеденкова, указывая на табуретку перед некрашеным столом, сделанным из какого-то ящика. На столе лежали небольшие пестрые картинки.

Степанов разделся и сел, все еще не понимая, где он очутился.

— Сестра Мария, — обратилась Нефеденкова к женщине в углу, — это Миша Степанов, сын Александры Артемовны, они жили на Орловской... Сама она из Ружного...

— Помню... Помню... — милостиво ответила женщина в черном, подчеркивая свою приязнь к Степанову.

— Скажи мне, Миша, ты и сейчас не веришь, что мой сын виновен? — спросила Евдокия Павловна, садясь на табурет против гостя.

— Нет, — ответил Степанов.

— А Ваня Турин верит?

— Говорит, что там разберутся...

— Ну, а он сам? Сам? — Голос Евдокии Павловны зазвенел.

Сестра Мария подняла глаза на Нефеденкову. В них было осуждение, и Евдокия Павловна великолепно это поняла.

— Ну, а он сам? — тише повторила она.

— Допускает возможность...

— Допускает! Боже мой!.. Допускает! У него словно нет своей головы, своей совести, своих суждений. Допускает! — Евдокия Павловна охватила голову руками и закрыла глаза. — Если люди перестанут думать, проверять свои поступки совестью, торжества правды не будет никогда!

Степанов понимал, что, стараясь как можно точнее передать отношение Турина к аресту Нефеденкова, он выступает как бы в роли холодного наблюдателя, всего лишь информатора или кого-то еще в том же духе. Не мог же он рассказать, как спорил с Туринным, как отстаивал свою позицию, как чуть не поругался с ним, как ходил к Цугуриеву... Евдокия Павловна горестно качала головой, а Степанов вынужден был молчать, хотя прекрасно понимал, что мать Бориса права.

Пестрые картинки на столе, которые раньше не заинтересовали Степанова, сейчас как-то незаметно очутились у него в руках.

«Что это?.. Святые?»

Степанов взглянул в угол. Лампадка висела перед большой и, видимо, древней иконой, кажется, Николы угодника. «Картинки» были маленькими иконками с изображением все того же святого Николая. Одни были закончены раскраской, другие расписаны наполовину. В самом конце стола заметил он и ученические акварельные краски: разноцветные кружочки на овальной картонке...

Собрав рисунки в стопочку, он машинально хотел подровнять края и постучал ею по столу.

Сестра Мария протянула желтую руку к иконкам:

— Не надо так...

— Да, да... — спохватился Степанов и оставил иконки в покое. — Кто же их раскрашивает? — спросил он.

— Сестра Мария и я... — ответила Нефеденкова.

Степанов от неловкости опустил голову. Евдокия Павловна раскрашивает иконки! Уж не чудится ли ему все это? Не чудится ли все, что видят его глаза, слышат его уши? Раскрашивает иконки!

— Зачем вам это?.. — неуверенно спросил Степанов.

Он спрашивал Евдокию Павловну, но ответила ему сестра Мария:

— Михаил... А как по бабушке?

— Николаевич... Простите, а ваше отчество?

— Ни к чему оно. Я — сестра Мария. — Она выдержала паузу и спросила: — Михаил Николаевич, вы веруете во что-нибудь?

Вопрос застал Степанова врасплох. Не потому, что не было у него твердых убеждений, а потому, что не любил споров на эти темы. «Что есть бог?», «Истина в каждом из нас», «Правда в нашей душе» — невольно вспомнил он случайно попавшиеся когда-то на глаза не то названия журнальных статей, не то тем диспутов...

— Я верю в разум человека и его победу. Я верю в наше дело, в его справедливость.

— А мы верим в бога, — ответила сестра Мария. — И теперь, в войну, не только мы поняли, какая это сила, и в трудный час призвали ее на помощь, вспомнили о верующих. Сам товарищ Сталин вспомнил! В церквах служат молебны о даровании победы русскому воинству, собирают пожертвования в помощь фронту.

— Уж не думаете ли вы, что наша армия бьет врага благодаря вашим молебнам? Что же касается денег, то в дни войны лозунг, даже, можно сказать, заповедь, для всех одна: «Все для фронта! Все для победы!» И...

— Это вы хорошо заметили: заповедь! — Сестра Мария наставительно подняла палец: — Именно! Именно! Но извините, что перебила.

— И одно устремление: победить! Спасти Родину! Во имя победы не шадят своих жизней солдаты на фронте, во имя победы рабочие иногда сутками не выходят из цехов, где делают танки, самолеты, орудия... Женщины, старики, подростки — каждый вносит свой вклад...

— Верующие тоже работают, как все...

— И правильно, ведь война — Отечественная! Отстаиваем Отечество, а оно для всех — и верующих и неверующих — одно!

— Святая правда! Именно так...

Степанов снова вернулся к иконкам:

— Ну и что вы с ними дальше будете делать?

— Наклеим на картонки, батюшка освятит, и займут они положенное место в убогих жилищах, как бог занимает место в душах. Церкви пока нет, а молиться надо. Можно, конечно, и на пустой угол, но след ли так? Мы не язычники какие-нибудь... Вот вы говорите «отстаиваем Отечество»... А ведь Александр Невский именно за это и был причислен к лику святых...

— Святые не могли бы спасти мир от фашистской чумы, — твердо ответил Степанов. — Спасают его простые и подчас грешные люди. А Александр Невский прежде всего был великим полководцем, и именно в этом его заслуга перед историей и русским народом!

Наступило молчание, и сейчас стал слышен тонкий, протяжный вой. Все напрягли слух. Волк или собака тянула звук на одной ноте, пока хватало дыхания.

Сестра Мария поднялась и вышла.

Степанов, словно ждал, когда их оставят вдвоем, повернулся к Нефеденковой недовольный:

— Зачем вам эти иконки, Евдокия Павловна? Эта монашенка?.. Этот скит или пещера?

Женщина молчала, раздумывая о чем-то. Черты лица стали тверже, остановившийся взгляд — напряженнее. Слышала ли она, что говорил ей Степанов?

— Я знаю, вы многое пережили... Много перенесли... Не просто это, понимаю!.. — горячо заговорил Степанов. — Но — иконки! Никогда бы не поверил!..

— Я не иду против своей совести, Миша. Хотят молиться — пусть молятся. А поверить — я бы тоже никогда не поверила, что моего сына, который честно сражался за Родину, в чем-то заподозрят, а его мать лишат прописки и хлебной карточки!

У Степанова даже в ушах зазвенело. На мгновение голос Евдокии Павловны куда-то исчез, и его окутала неприятная тишина.

— Евдокия Павловна, вы... без карточки?.. Вас не прописывают?.. — тихо, как ему казалось, спросил Степанов.

— Миша, почему ты так кричишь? — остановила его Евдокия Павловна. — Да, я без карточки, меня не прописывают... Некоторые знакомые не узнают меня... И если бы не эта пещера, не сестра Мария, мне пришлось бы просить подаяния тем же Христовым именем, ночевать где придется...

Степанов встал, забыв, что в этой землянке и шагу не сделаешь.

— Что же вы раньше-то?..

— А если бы раньше сказала, то что?

— Сходил бы к Захарову и все уладил.

— Никуда не ходи, Миша...

— Черт возьми! Почему?

— Ты опять кричишь... — Евдокия Павловна с горечью добавила: — Не ходи... Опять скажут что-нибудь такое, отчего еще горше станет...

Он торкнулся в одну сторону, в другую и сел, скованный давящими стенами, низким потолком.

— Вы уже ни во что не верите...

Степанов приподнялся, достал из кармана деньги:

— У меня есть немного... Возьмите, пожалуйста, Евдокия Павловна... Мне они совершенно ни к чему. Возьмите!

Нефеденкова внимательно посмотрела в глаза Степанова и без колебаний взяла полторы сотни — полторы буханки черного хлеба на «черном» рынке.

— Спасибо, Миша...

Когда он уже одевался, вошла сестра Мария.

— Все же это волки... — сказала она. — Обнаглели до того, что подходят к самому городу...

12

В райкоме Степанов, едва раздевшись, повалился на постель. Первый рабочий день — и столько всего!

— Где же ты допоздна ходил? — спросил Турин. — Есть хочешь? Или чаю?

— Если можно, чаю...

— Что с тобой?

Что он мог ответить Ване Турину? Только начать бесконечный и бесполезный спор...

— Устал...

— Извини, Миша... Я понимаю, как тебе бывает трудно, но нужно трудности раскидывать, что ли, а не собирать.

— «Не собирать»... — повторил Степанов. — Как это сделать, мудрый человек? Вот, допустим, матери Бориса не дают карточки и не прописывают... Пройти мимо?

Турин встал.

— Ну, это перегиб! Дадут.

— Конечно... Но само собой все сделается или нужно что-то предпринимать?

— Предпринимать...

— В том-то и дело!.. Ты мне чаю-то дашь? — спросил Степанов, меняя тему разговора.

— А-а!.. — спохватился Ваня Турин и пошел ставить чайник.

На следующее утро, когда в райкоме никого не было, Степанов взял фибровый свой чемодан и понес его на новое место жительства. По пути заглянул к секретарю райкома партии и рассказал ему о Нефеденковой.

Захаров возмутился:

— Это кто же так распорядился, Мамин? Пропишем, дадим карточку. И не только ее. Мамину тоже пропишем! — зло добавил он и взял карандаш. — Как ее фамилия? Нефеденкова? Евдокия Павловна? Так... Хорошо, я этим сам займусь. Заодно проверю, может, еще с кем дров наломали...

Степанов ушел, а Захаров опустил руки на стол и тяжело задумался. К трудностям, которых и так было невпроворот, то и дело добавлялись новые. Из-за чьей-нибудь глупости или чрезмерной осторожности вот такие неожиданные накладки! Вроде бы пустяк, а на деле — дискредитация Советской власти! На днях Троицын в сердцах бросил одной просительнице, пришедшей к нему за стройматериалами, что вы, мол, тут при немцах прохлаждались, а теперь вам сразу все подай. И хотя баба эта на весь город славилась как спекулянтка и где-то в глубине души Захаров понимал, что довела она Троицына своим наигранным нытьем, пришлось дать ему нагоняй. Пусть не забывает, что он не просто Троицын, а представитель Советской власти!.. Сколько говоришь, разъясняешь, инструктируешь — все равно чуть не каждый день какой-нибудь «сюрприз».

В дверь заглянули Мамин и Соловейчик:

— Можно?

— Заходите, заходите, — ответил Захаров и добавил, глядя на Мамину: — Вот кто мне нужен! На ловца и зверь бежит...

Степанов предполагал, что жить в школе будет труднее, чем в райкоме, но чтоб настолько! До самого вечера некуда приткнуться — ни поработать, ни отдохнуть. И потом, в райкоме, у Турина с Власовым, плохо ли хорошо ли, было налажено какое-то хозяйство. А здесь... Из хозяйственных вещей у него была только эмалированная, коричневая с белыми крапинками, кружка. С этой кружкой он еще в общежитии института бегал на первый этаж за кипятком. Она же верой-правдой служила ему и на фронте, и в госпитале. Были у него еще бритва, перочинный нож, небольшое зеркальце. Тоже неизменные его спутники. Но для того чтобы побриться, необходима вода, а в чем ее держать? Чем достать из Снежади или колодца? В школе еще не стоял обязательный бачок с водой и кружкой, прикованной к нему цепью. О бачке только хлопотали...

Где же все-таки найти посудину для воды? Спросить у кого-нибудь из знакомых? Но откуда сейчас у людей может быть лишнее ведро или хотя бы большая жестяная банка? Сам видел: воду носят кто в чем... Пройтись по пожарищам и покопаться в золе? Да разве найдешь! Все давно копано-перекопано...

Безуспешно побродив по городу, он уже хотел бросить свое занятие, но, представив, как завтра утром нужно будет вставать и неумытым идти на уроки, не мог вернуться в школу с пустыми руками. Хватит с него, что он сегодня, стыдно сказать, не умывался и целый день чувствовал себя из-за этого не в своей тарелке.

Наконец он решил попросить ведро в столовой: может, найдется какое-нибудь на неделю-две, а там он что-нибудь придумает. Туда он и направился.

Проходя мимо развалин городского театра, Степанов невольно остановился. До войны в уютном сквере, примыкавшем к театру, стоял памятник Ленину. Фашисты снесли его, у сам сквер превратили в кладбище для своих солдат и офицеров.

И театр, и памятник, и сквер возникли в Дебрянске на глазах Мишиного поколения. Правая сторона Советской улицы с белыми плитами тротуара и этот сквер вошли в жизнь каждого довоенного школьника старших классов. Прогулки... Свидания... Радости и огорчения... Не раз Степанов встречался здесь с Верой...

Но сейчас он думал не об этом. Он смотрел на ровные ряды холмиков без крестов. Здесь немцы хоронили своих! Ведь фашисты считали, что Дебрянск уже вошел в состав земель третьего рейха, так зачем отправлять тела убитых в Германию? Фотографии могил посылались родным и близким, и они, ежели располагают средствами и есть желание, могут приехать в бывший русский город Дебрянск и поплакать над землей, навсегда приютившей сына, мужа, брата...

Не вышло! Дебрянск всегда был и навеки останется русским городом!..

Уже стемнело, и Степанов понял, что надо поторопиться. Проходя мимо стройтреста, он заметил, что там светится окно — правила светомаскировки давно уже соблюдали кое-как, окна закрывали небрежно: не до налетов теперь немцу, нужен ему сейчас этот Дебрянск! — и, сам не зная зачем, зашел. Троицына не было, какая-то

женщина раскатывала в углу матрас. Услышав шаги, обернулась и спросила:

— Федора Ивановича? Ушел недавно... Теперь завтра, товарищ Степанов...

Молодой учитель еще раз с удовольствием отметил про себя, что в городе его знают и обращаются к нему весьма уважительно.

— Садитесь, если есть охота...

Степанов сел на табуретку и поднял голову. Над столом начальника стройтреста Федора Ивановича Троицына по-прежнему висела олеография с ангелочками.

— А картинка-то висит! — сказал Степанов.

И хотя в голосе посетителя не было осуждения, женщина, прежде чем ответить, долго вглядывалась в его лицо, разгадывая, с какой целью сделано это замечание.

— Висит...

— А Федор Иванович не ругается?

Не кончив стелить постель, женщина села рядом со Степановым. Поправила платочек, сложила на коленях руки.

— Я утром, товарищ Степанов, снимаю. Федор Иванович приходит — картины нет. А уходит — снова на стенку.

Кто знает, осталось бы от прежней жизни что-либо другое, более верно воплощавшее ее, не приобрела бы эта дешевенькая поделка такой ценности. Но другого не осталось... Только эта картонка с яркими красками, не потерявшими глянца, в коричневой рамочке с завитушками.

— Разве ж не красиво?! — спросила женщина, не понимая, как можно не ценить такую несусветную красоту.

— Да... — неопределенно проговорил Степанов. — Муж на фронте? Никого больше не осталось? — спросил он.

— И мужа не осталось... — ответила женщина. Она поднялась, достала с печки узелок, из узелка — газетный сверток, из свертка — две карточки.

— Вот так порознь и будем... — она подала Степанову фотографии.

На одной была изображена молодая женщина, на другой — мужчина. В женщине Степанов без труда узнал свою собеседницу. Все лишнее и ненужное, как казалось фотографу, на карточках было

убрано ретушью, недостающее — добавлено... Вот, например, густота бровей или блеск глаз...

Степанов подержал карточки в руках, посмотрел на изображение неведомого ему молодого здоровяка, на фотографию цветущей девушки и положил на стол.

— Сколько раз говорила, — вздохнула женщина, — «Митя, пойдем сходим к фотографу Мендюку... Сходим к Мендюку...» А он: «Успеется...» Завтра да послезавтра... А в жизни не все на завтра отложишь...

— Да, верно, — посочувствовал Степанов.

— Прослышала я от одной знакомой, — продолжала женщина, — что будто в области есть человек, который вот такие карточки, что порознь, соединяет... И становятся муж с женой рядом, невеста с женихом... Может это быть, товарищ Степанов? Как вы думаете?

— Может. — Степанов посмотрел на женщину, и ему захотелось приободрить ее. — Конечно, может. Это называется «фотомонтаж».

— Выберусь как-нибудь в область, непременно его найду... А вы, случаем, не поедете, товарищ Степанов?

— Пока не предвидится.

— Соберетесь — скажете, а? Не забудете?

— Соберусь — не забуду, — вздохнул Степанов.

Ни слез, ни жалоб на судьбу, одно желание — хоть после смерти мужа быть на фотографии с ним рядом.

— А Федора Ивановича вы завтра утром пораньше придете и застанете... — давала добрый совет женщина. — Приходите...

— Спасибо... — Степанов встал и только сейчас за толстым шкафом увидел кадку с невысоким фикусом. — А за фикус Федор Иванович не ругает?

— Не ругает. Вот за это ругает. — Женщина кивнула на олеографию. — Забудешь снять — и попадет...

— Скажите, пожалуйста, — спросил Степанов неожиданно для себя, — можно где-нибудь раздобыть ведро?

— Ведро? — переспросила женщина.

— Да.

— Где ж вы его найдете?.. А у вас нету?

— В том-то и дело...

Женщина пошла на кухню, повторяя про себя: «Как же без ведра-то?.. Как же без ведра?..»

На кухне что-то звякнуло, что-то прогремело, и через минуту-другую она вернулась с оцинкованным ведром в руке:

— Возьмите Степанов оторопел:

— Мне? А как же вы-то будете?

— У меня есть! Есть! — стала уверять Степанова женщина. — А в городе вы нигде не найдете.

Степанов все еще не отваживался взять словно с неба свалившееся ведро.

— Да берите же, берите! — настаивала женщина.

— Ну, спасибо вам, — принял он драгоценный подарок.

Это ведро, наверное, стоило не меньше буханки хлеба, если не целых две. Но Степанов понимал, что ни хлеба, ни тем более денег женщина ни за что не возьмет...

13

В школе свет не горел, видно, учителя давно уже разошлись. Но в аллейке, ведущей ко входу в школу, Степанов заметил чью-то фигуру. Почти сразу угадал в ней Таню Красницкую.

— А я вас жду, Михаил Николаевич... — Таня быстро пошла ему навстречу. — Соломенный матрас принесла...

— Какой матрас? — Степанов даже остановился.

— На чем спать... Девочки рассказали, что учитель спит на голом столе, а наши сразу всполошились: «Как же так? Разве это порядок?»

— Кто «наши»?

— Наши, Михаил Николаевич, это те, кто здесь жил. — Таня кивнула на здание школы.

Когда подошли к широкому крыльцу, Степанов увидел свернутый матрас, прислоненный к двери.

— Спасибо...

— Где же вы тут обосновались?

Степанов, взяв Таню за руку, ввел в один из классов и, опустив светомаскировочную штору, зажег лампу:

— Вот здесь, — и показал рукой в угол.

Там стоял один из шести столов и скамейка, такая же, как и остальные в классе. Под столом — чемодан... На подоконнике одиноко красовалась коричневая в белую крапинку кружка...

— Вот здесь?

— Да, Таня. Тепло, сухо, просторно, — похвалил свое неудобное пристанище Степанов.

Девушка, соглашаясь, покивала головой, добро улыбнулась: «Конечно... Конечно...»

— Теперь можно и железную койку притащить, — заметила она.

— Да?.. — спросил Степанов. — О койке как-то не подумал: можно ведь и на столе раскладывать матрас. На днях займусь...

— Зачем «на днях»? Давайте сейчас! — предложила Таня.

— Сейчас?..

— Да, да... Пойдемте!

Мысль устроить неприкаянному учителю мало-мальски сносный быт захватила Таню, и Степанов невольно поддался: пошел за девушкой. Но на крыльце остановился: темень!

— Ничего, Михаил Николаевич!.. Я койку уже присмотрела... Недалеко отсюда... Пойдемте!..

Здесь же, на Бережке, неподалеку от школы, на одном из пожарищ Таня и Степанов выдрали койку, ножки которой увязли в золе.

— Почти новенькая, — шутя уверяла Таня. — А если покрасить — как из магазина!..

Перед крыльцом койку поставили, обтерли тряпкой и наконец внесли в класс.

— Ну?! — торжествуя победу, спросила Таня, когда койку водрузили в углу и накрыли матрасом. — Как у людей... Михаил Николаевич, если что нужно, не стесняйтесь попросить, мы вам всегда поможем: мужчине ведь одному хозяйничать трудно, — просто, с искренней убежденностью сказала Таня и заспешила домой — топить печурку на ночь.

Этот день Степанов будет потом долго вспоминать, пытаясь восстановить в памяти все подробности... Утром, перед уроками, к

нему подошел Леня.

— Михаил Николаевич... — В руках у него была записка.
Степанов взял ее, развернул:

Миша!

*Ждем тебя в шесть. Пожалуйста, не опаздывай. Явка
обязательна.*

И. Турин

Ну вот, опять какое-нибудь срочное заседание... Совещание... Тоже срочное, важное, политически необходимое... Опять новое поручение дадут, а у него и так дел по горло. От одних тетрадей можно с ума сойти, а тут еще статья в газету... Но опаздывать и тем более не являться было не в правилах Степанова, и в половине шестого, едва окончился педсовет, он отправился в райком. Подходя, заметил, что свет горит не в «зале», где проводили все заседания и совещания, а в маленькой комнате, служившей спальней.

«Странно!»

Он вошел в дом, распахнул дверь в «залу» и в недоумении остановился. Конечно же, как он уже догадался, никакого заседания нет. Из маленькой спальни навстречу Степанову вышла Тоня Агина:

— Раздевайтесь, Михаил Николаевич... Проходите...

Она была нарядной, праздничной и еще более красивой. И двигалась Тоня еще более плавно и уверенно.

— Я вам помогу... — Не успел Степанов снять шинель, как она очутилась в руках Тони.

— А Турин?.. — спросил Степанов.

Чем-то занятый, Иван просунул в дверь голову:

— Проходи, проходи...

Маленький стол, за которым иногда они делили скромный свой ужин и пили чай, был накрыт белой, свежей скатертью. На ней стояли бутылка вина, водка, капуста в миске, хлеб и конфеты. Турин что-то доставал из мешка, привезенного Тоней.

— Помоги, Миша. Боюсь опрокинуть...

— Ну что ты, что ты, Ваня! Беспокоить гостя!.. — Тоня уже ловко подхватила глиняную миску с жареной свининой, от запаха которой у

Степанова потекли слюнки.

— Та-ак... — протянул Степанов. — Судя по некоторым данным, я должен вас с чем-то поздравлять?

— Тоня выходит за меня замуж, — пояснил Турин, и эта форма объяснения очень понравилась Степанову: Тоня выходит!.. Могла и не выйти, не оказать такой чести.

Степанов обнял Ивана. Потом, легонько оттолкнув от себя товарища, подошел к Тоне и поцеловал в щеку.

— Садитесь, други. Садитесь, — предложил Турин.

— Здóрово!.. Здóрово!.. Когда же вы это?.. — удивился Степанов, когда все расселись. — Ты, Иван, казалось бы, о себе и не думал...

Турин увлеченно разливал по стаканам вино и водку. Ответила Тоня:

— Он ко мне часто заезжал... Едет в Снопы — завернет. В Верхнюю Троицу — завернет.

— Нищему деревня не крюк, — отозвался Турин.

— Нет, Ваня, нищим тебя никак не назовешь, — запротестовал Степанов.

— Конечно, конечно! — согласился Турин.

— Ну что же... — Степанов встал со стаканом в руке. — За ваше, милая Тоня и старый мой товарищ, счастье!

Они с силой чокнулись, не боясь разбить толстые стаканы из зеленого стекла, выпили.

— Михаил Николаевич, — предупредила Тоня, — это мы так... Предварительно. Хоть и война, а настоящую свадьбу устроим. У нас ведь родственников душ двадцать, если не больше. У Вани с десятков друзей. Всех созовем. И вы, пожалуйста, приезжайте.

— С удовольствием! — подчеркнул Степанов. — С великим, величайшим, Тоня, удовольствием! — И взмахнул рукой: — Я совсем забыл, что надо кричать «Горько!» Горько! Горько!

Тоня улыбнулась. В улыбке — и смущение, и счастье одарить другого, чем может: лаской. И еще — это в особенности нравилось Степанову в Тоне — радостное сознание, что может многое дать от доброты и любви своей. Что-то похожее было и в Вере, той, далекой, почти уже никогда не существовавшей...

— Где будете жить? У вас все так продумано, что не удивлюсь, если где-нибудь на примете окажется квартира из пяти комнат?..

— Пока все остается по-прежнему, — сказал Турин. — А через неделю, другую, третью обещают комнату дать в бараке.

Степанов не заметил, как Турин отлучился. Вернулся он с Верой. Веру наперебой стали угощать, она для порядка тоже прокричала неизбежное «Горько!», и вечер, отведенный Ваней Туриным для помолвки, потек своим чередом... Часов в восемь решили расходиться. Быть может, посидели бы и дольше, но в единственной лампе выгорел керосин, фитиль начал коптить. Лампу пришлось погасить. Кромешная тьма вдруг напомнила, что действительно поздно и пора уходить.

Вера и Степанов вышли вместе. По Дзержинской молча дошли до Советской. Ей — в подвал, где давно уже спят полтора десятка человек, ему — в школу, где — ни одного.

— До свидания, Миша...

— До свидания, Вера...

Он — налево.

Она — направо.

Вернувшись к себе и оглядев нестерпимо скучные казенные стены, Степанов расслабленно опустился на скамью. И не только потому, что устал. Просто очень муторно было на душе. Невольно сравнивал он свое положение с положением Турина, и сам собою возникал вопрос — правильно ли живет? Ведь говорил ему Турин не раз: нельзя так! Теперь Иван, считай, женат и, значит, он, Степанов, станет еще более одиноким. Есть, правда, рядом с ним Таня Красницкая, но кто она ему? Верный, преданный друг, не больше. Хотя и это уже много, очень много...

Посмотреть со стороны, так все идет прекрасно. Он стал заметной фигурой в городе. Его утвердили членом бюро райкома ВЛКСМ. Он выполняет поручения райкома партии, недавно провел в школе для жителей города беседу об успехах нашей армии на фронте, провел, кажется, удачно. Захаров сказал: «Вы умеете подобрать ключ к душам людей...» Недели две назад его разыскала работница областной газеты и попросила дать материал о восстановлении города, о жизни в освобожденном Дебрянске. Кандидатуру его как автора поддержал, по ее выражению, «сам Захаров».

На педсоветах Галкина очень прислушивается к его замечаниям и рекомендациям, похоже, считает их самыми авторитетными. Как-то

даже сказала ему, что, мол, жалеет, что с первых дней не «взяла курс на Степанова»; к роли директора школы он, как бывший фронтовик, подошел бы, как она теперь считает, больше, чем Вера Леонидовна, хотя и Вера Леонидовна неплохо справляется со своими обязанностями...

Однако вся его напряженная и небезуспешная работа не могла полностью заполнить душу, заглушить боль разрыва с Верой. Известно: человек жив не одной работой, тем более в его-то возрасте... Степанову иногда казалось, что и напрягается он в своих трудах и заботах, чтобы забыться, отвлечься... Как только он оставался в школе один, тут-то все и начиналось. Он и не подозревал, что может так тосковать, так страдать. Все это, казалось ему, было и навсегда осталось в девятнадцатом веке: в произведениях классиков герои постоянно мучаются от неразделенной любви, тоскуют, страдают... Ну а он-то? Он?!

«К черту!»

Степанов рывком поднялся. Надо заниматься делом! Делом!

Он сел за стол, придвинул к себе стопку тетрадей, сшитых в основном из старых газет. Лишь редкие были собраны из разного формата листков бумаги. Нельзя было брать эти тетрадки в руки без чувства благодарности к плохо одетым, полуголодным мальчишкам и девочкам... Как они старались — не всегда, правда, успешно — вспомнить, чему до войны учили их в школе, наверстать упущенное за месяцы немецкой оккупации! Как аккуратно сшивали свои тетрадки, как усердно писали крупными буквами по газетному тексту! Как слушали его, своего учителя! Как на переменах расспрашивали о Москве, о фронтовой жизни, о будущем!.. Ради этих детей, так трогательно относящихся к нему и к своим занятиям, можно было отдать все.

Да, дети стараются. А вот пишут еще плохо: «советский»... «дикабристы»... Ведь объяснял же, что эти знаменательные и трагические события произошли в декабре, откуда и название!.. Впрочем, они, верно, забыли, как пишется слово «декабрь». Много забыли...

На дорожке в парке, куда выходило окно, слышались шаги, негромкий разговор. Через полминуты кто-то осторожно постучал в дверь.

Степанов кишел открыть.

На пороге стояли две женщины. В темноте трудно было рассмотреть кто, но, пожалуй, незнакомые.

— Можно к тебе, Михаил?

— Пожалуйста... — пригласил Степанов, гадая, кто это пожаловал к нему.

Когда вошли в класс, увидел: одна — сестра Мария, другая, маленькая, с пухлыми щечками и острым носиком, тоже показалась знакомой... Степанов вспомнил, что это одна из приятельниц его матери, правда, не из самых близких. Лукьяновна... Лукинишна... Что-то вроде этого.

— Садитесь, пожалуйста... Располагайтесь... — Обескураженный этим визитом, он не знал, что им и сказать.

Лукинишна обернулась к сестре Марии и предложила:

— Сядемте, Мария Александровна... — Но в тоне был и вопрос: «Будем садиться или нет?»

Сестра Мария кивнула и первой опустилась на скамью.

— Послушай, Михаил, что мы тебе скажем... — начала она. — Извини, конечно, что от дел отрываем...

— Пожалуйста, пожалуйста... — ответил Степанов.

— Вот о чем мы с тобой хотели поговорить... О церкви.

— О церкви?.. — переспросил Степанов.

— Да. Сам ты, может, и неверующий, но должен верующих хорошо понимать.

«Почему ж это? — подумал он. — Почему они обращаются именно ко мне?»

— Посоветуй ты нам, с кем лучше поговорить насчет церкви — с Маминым или Захаровым? Ведь ты, Михаил, хорошо их знаешь, не раз встречался... Конечно, открыть скоро не откроют, не до того теперь. Но пока собор пусть хоть затвердят за нами...

— Простите, за кем? — спросил Степанов.

— За верующими...

— А много вас?

— Наберется. Думаем переписать...

— А почему нужно «затверждать», как вы говорите, сейчас? — спросил Степанов. — Собору что-нибудь угрожает?

Мария Александровна сурово посмотрела на Степанова и сказала с ноткой наставления:

— Молодой человек... Или уж лучше по имени-отчеству... Михаил Николаевич... — Она, очевидно, привыкла и любила наставлять и даже сейчас, понимая, что говорит с учителем, не считала нужным поступиться чем-либо. — Не ради куска хлеба хлопочем, не ради серебра и злата для себя... Для того сообщества людей, которое именуется «миром»: «Миром господу помолимся!» Нам обязаны отдать собор. Уж коли учредили комитет по делам православной церкви, то и церкви должны быть. Собор нам отдать обязаны!

Очевидно, сестра Мария говорила только «основополагающие» и высокие слова, а на долю Лукинишны приходились разъяснения и житейская проза:

— Сам знаешь, Михаил, могут под склад занять, на кирпич разобрать...

— Ваши заботы понятны, — сказал Степанов. — Поговорите с Маминым. По крайней мере, начать надо с него.

— А если, не дай бог, станут чинить препятствия, тогда к Захарову? — уточнила Лукинишна.

— Выходит, так...

Лукинишна подробно расспросила Степанова о Мамине и Захарове: кто такие, откуда, каковы характером?.. Прощаясь, с уважением сказала:

— Спасибо, Михаил. Не ошиблись в тебе... Спасибо.

Мария Александровна поклонилась:

— Рука дающего да не оскудеет... Спасибо.

Они ушли, дверь захлопнулась, шаги затихли. Степанов в раздумье постоял у окна, потом снова сел за тетради. Их осталось всего две. Закончив, решил наконец взяться за статью. Из редакции уже звонили Захарову: торопили, спрашивали, чего там Степанов тянет... Кое-что он уже обдумал на ходу, надо хотя бы записать...

Только начал — опять шаги на крыльце, опять хлопнула входная дверь.

«Ну вот, еще кого-то несет...» — с раздражением подумал Степанов.

В класс вошла Паня.

— Михаил Николаевич, я тут задержалась на Бережке, так решила к вам забежать, может, чем помочь надо...

Степанов понимал: и помочь она готова, и в сырую землянку неохота идти, лучше скоротать вечер в теплом доме. В другое время он предложил бы ей посидеть с ним, поговорили бы... Но сейчас сухо ответил:

— Спасибо, Паня... Мне ничего не нужно...

Паня ушла, а он стал ходить по классу, чувствуя, как в нем еще больше нарастает раздражение. Дел по горло! Послезавтра — бюро райкома, где он должен выступить с сообщением о работе школы и ближайших задачах учителей. Малышев из Верхней Троицы прислал письмо, вроде бы ни словом не обмолвился о трудностях, а между строк читалось, как ему непросто в новой роли. Надо было бы поехать, поговорить с ним, помочь... Десятки практических, неотложных дел по восстановлению жизни! А он сидит и беседует о церкви. Нина, Нефеденкова, богомолки — все тянутся почему-то к нему. Степанову казалось, что теперь может прийти и жена какого-нибудь полицая или старосты и поплакать ему в жилетку: он годится и для этого... Выходит, прав Ваня Турин — так нельзя!..

Он постарался взять себя в руки, сел за стол. Минут пятнадцать спокойно работал, набросал страницу... И вдруг снова чьи-то шаги! К нему?

В ожидании неотвратимой помехи Степанов в досаде оторвался от статьи... Уж не насчет ли церкви опять?.. А то и самого батюшки?.. Не поможет ли он, Михаил, найти им попа? Его охватила злость. Как же! Он, Степанов, самая подходящая кандидатура для этого!.. И почему все идут именно к нему, все?! Не к Турину, не к Вере, даже не к Владимиру Николаевичу... Но что общего может быть у него, допустим, с этими несчастными богомолками?.. Неужели в нем есть нечто близкое им?

За дверью стало тихо, но никто и не вошел. Однако Степанов чувствовал, что на крыльце кто-то есть.

«Ну и пусть! Невозможно же так!» — мысленно отмахнулся он и постарался углубиться в статью.

«Древний город Дебрянск будет восстановлен и станет еще краше...» Он перечитал всю страницу и подумал, что надо подчеркнуть: таких городов, как Дебрянск, сотни... И еще — отметить

роль армии в восстановлении Дебрянска. Рассказать, как помогли им стройматериалами, как солдаты добровольно приходили на строительство больницы, как командование присылало машины... Но сознание того, что на крыльце кто-то стоит, мешало сосредоточиться. Накинув на плечи шинель, он вышел из класса и распахнул входную дверь.

Луны не было. Со всех сторон школу и старые липы окружала сырая и зябкая темнота. Степанов поежился, глубоко вдохнул уже стылый по вечерам воздух.

На аллейке никого.

— Кто тут? — проверяя себя, окликнул он.

Никто не отозвался.

Степанов уже хотел повернуться, но что-то удержало его. Он чувствовал присутствие человека.

На ступеньках, в самом низу, он увидел чью-то сгорбленную фигурку.

«Таня?» — подумал Степанов. Она единственная, кто приходил к нему всегда помочь, а не просить... Вот и сейчас пришла.

— Что ты, Таня? — Он нагнулся, помог девушке встать и тут увидел, что обознался: это была Нина Ободова.

— Здравствуй... Ты ко мне?

— К тебе... Но ты, видно, занят... Таню ждешь...

— Я действительно занят, но Таню не жду, — ответил Степанов. — Проходи.

В классе Нина осмотрелась и тяжело опустилась на скамью. «Ну, вот! — неприязненно подумал Степанов. — Сейчас и Нина будет плакаться!»

— Ну, говори, с чем пришла... — не очень любезно обратился он к Нине, поглядывая на начатую статью.

Нина вздохнула и тоже остановила взгляд на лежащем на столе листке бумаги. От нее пахло духами «Ландыш». Нижняя губа разбита или порезана. Ранку Нина пыталась закрасить помадой...

«Хороша!» — с осуждением подумал Степанов, предположив, что ссадина на губе — следствие попойки, кончившейся скандалом.

— Ну что же ты? — снова обратился он к ней, невольно заглядывая в исписанный, изрядно уже помятый листок. В глаза

бросилось три раза повторенное слово «город», и он переправил одно на «Дебрянск», затем еще раз начал перечитывать абзац...

Нина подняла голову. Глаза ее широко открылись, она глубоко вздохнула, будто хотела оторвать от себя какое-то слово или фразу, и вдруг заметила, что Степанов и не смотрит на нее. Она застыла на мгновение и сразу обмякла, словно сломалось что-то последнее, что поддерживало ее.

— Ты опять насчет комсомольского билета? — Степанов теперь внимательно взглянул на Ободову. — Или что другое?.. С работой?..

— Да, насчет билета... — тихо проговорила Нина.

— Все ясно. — Степанов порадовался собственной проницательности. Но, черт побери, неужели об этом обязательно ночью надо говорить, да еще когда человек работает?! И почему обязательно с ним?! — Ты должна знать, что такие дела решают в райкоме, коллективно. Начинай с райкома, с Турина...

— С райкома... с Турина... — машинально повторила Нина, словно стараясь запомнить его совет.

— Я, в конце концов, всего лишь учитель, а ты уже вышла из школьного возраста...

— Да, да... вышла... — эхом отозвалась девушка. — Да... Я пойду...

И все же она не вставала, ждала, что Степанов удержит ее. Но Степанов не удерживал.

И Нина Ободова ушла.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ



1

Малолюдный Дебрянск, наполовину ушедший в суглинок, спал. И хотя забот был непочатый край, больших и малых, причем десятки мелочей вырастали в проблемы, порой, казалось, неразрешимые, спал крепко. Лишь метались в бреду больные тифом. Не одному из них представали в горячечном воображении пугающие картины недавнего прошлого: и объявление на стене дома или заборе о том, куда жителям этой улицы явиться для отправки на запад, и горящий город, которому ты не можешь помочь, и само ощущение неизвестности, полной зависимости и бесправия...

Малолюдный Дебрянск спал.

Было уже за полночь, когда Нина Ободова вошла под свод церкви, которую их бригада переделывала под клуб...

Совершеннейшая темнота!

Веревка, вспомнила она, была привязана к ведру, которым подымали наверх раствор. Само ведро могло быть и внизу, и на лесах.

Натыкаясь на стояки, штабеля кирпичей, бочки, Нина шарила руками в поисках ведра. Руки нашупывали песок... глину... обрезок шершавой, закапанной раствором доски...

Бог мой! Как же ее не унесли? Обрезки, стружки, всякую щепку — все, что могло служить каким-никаким топливом, строители уносили домой. Нина подняла доску, взяла под мышку... Хоть небольшая, а все же помощь тете Маше. В воскресенье можно лишний раз подогреть чай, на ночь протопить посильнее — не так противно будет вставать утром... Хотя о чем это она? Ведь она же не вернется домой... Не вернется! Зачем же доска? Нина положила ее на штабель кирпича: чтобы не затерялась. Увидят и возьмут. Та же Оля-солдат...

А карточки?!

Господи, как же она чуть не забыла о карточках! Пусть останутся товарищам и они. Нина достала два сложенных вчетверо листка и аккуратно положила их под обрезок доски, оставив снаружи лишь уголок, так чтобы не смахнул кто-нибудь нечаянно и в то же время чтобы бросились в глаза.

Вот теперь все!

Нина снова принялась искать ведро. Оно обнаружилось под лесами. Присев на корточки, Нина нащупала дужку, стала отвязывать веревку. Заляпанный раствором узел не поддавался. Нет, не отвязать...

Ладно! Сгодится и так... Она взобралась на леса и принялась прилаживать веревку... И тут в тишине послышался протяжный гудок паровоза. Нина вздрогнула, прислушалась. Паровоз призывно гудел, словно звал ее куда-то. Уехать! Уехать далеко, где ее никто не знает. Никто! Нина спрыгнула с лесов.

Она выбежала из глухой, давившей ее темноты под небо, с которого жидко светила луна.

На станцию!

Утром, как всегда, пришли строители и сразу же заметили придавленные куском доски карточки.

Никакого сомнения быть не могло: с Ниной что-то случилось — карточки просто так не оставляют. На всякий случай, правда,

толкнулись к тете Маше, к знакомым Нины, в больницу — не попала ли туда? Нины не было нигде.

В этот день бригаде не работалось, все валилось из рук. Хмурый дядя Митя нет-нет да бросал внимательный взгляд то на одного, то на другого, пытаясь понять, нет ли в исчезновении Нины их вины. Девочки хлюпали носами, Оля-солдат украдкой вытирала слезы.

Латохин тоже был мрачен. Невольно вспомнилось, как он тогда обидел Нину. Правда, извинился потом... Нина вроде простила. Но простить можно все, а вот забыть... Случилось еще что-нибудь?.. Нины нигде нет. Карточки остались... Неужели и правда покончила с собой? Но где? Может, на кладбище?! Помнится, он читал, что женщина, любившая Сергея Есенина, застрелилась на его могиле ночью...

Ничего никому не сказав, Латохин в обеденный перерыв отправился на кладбище, хотя был почти уверен, что Нины там нет. Пошел убедиться именно в этом — нет...

Кладбище на бывшей окраине города давно уже вышло из каменной ограды, напозало на картофельное поле. Подходя, Латохин увидел женщину, склонившуюся над землей.

«Что она там делает?»

Он приблизился. Крышкой от чемодана — чемодан лежал рядом — она выгребала из ямки землю. «Роет могилу?!» В двух шагах от нее, на меже, лежало что-то продолговатое, завернутое в широкое полотенце. «Ребенок! Мертвый!» — мелькнула у Латохина страшная догадка.

Никакого внимания на Латохина женщина не обратила. Она тяжело дышала и беззвучно плакала, смахивая слезы испачканной в земле рукой.

— Дайте помогу, — сказал Латохин.

Женщина незрячими глазами взглянула на незнакомца и молча продолжала свое занятие.

Латохин отобрал у нее крышку и попробовал копать. Зряшная работа! Верхний мягкий слой земли кончился...

— Лопата нужна! — сказал он. — Погодите, я сейчас вернусь. — И, бросив крышку, побежал обратно.

Вернулся он с дядей Митей, в руках у обоих — лопаты.

Женщина так же упорно и безуспешно продолжала свое занятие.

Дядя Митя внимательно посмотрел на женщину, на завернутого в полотенце ребенка, спросил:

— Сынок?.. — Он повернул голову в сторону мертвого ребенка.

— Дочка... Валечка... — с трудом проговорила женщина.

— Ну погоди уж... Посиди. Мы сами. — Он отвел женщину в сторону.

Вдвоем с Латохиным они быстро вырыли могилку, но, когда дядя Митя взял ребенка, чтобы опустить его туда, женщина вдруг встрепенулась, запричитала в голос:

— Валечка моя!.. Валечка!.. — и, схватив девочку, прижала к груди.

— Ну, будет, будет тебе. Что поделаешь — кругом беда. — Дядя Митя погладил женщину по голове и мягко, но решительно взял у нее девочку и осторожно опустил на дно могилки.

Несколько мгновений они постояли молча. Потом дядя Митя тронул женщину за плечо:

— Пора!

Женщина нагнулась, взяла горсть земли и, закрыв глаза, кинула ее вниз. Бросили по горсти и Латохин с дядей Митей.

Когда над могилой вырос маленький холмик, они наломали хвои и обложили могилку зелеными ветвями. Потом Латохин взял женщину под руку:

— Пойдем к нам...

Подавленная горем, женщина безучастно дала себя увести.

Когда они проходили неподалеку от сарайчика, где жил дядя Митя, тот сказал Латохину:

— Обождите, я сейчас...

Вернулся он с авоськой, в которой виднелась бутылка и что-то завернутое в газету.

Женщина отрешенно сидела в углу на досках, ничего и никого не видя. Никто не подходил к ней, не докучал расспросами, утешениями. Понимали: в таком горе не утетишь, пусть немножко посидит одна, отойдет. Все работали, теперь — даже с каким-то ожесточением. Ну и денек сегодня!

Когда кончился рабочий день, дядя Митя поставил на самодельный стол бутылку с мутной жидкостью, положил на газету

несколько вареных «в мундирах» картофелин, порезал на дольки два соленых огурца. Девушки выложили на стол кто кусок хлеба, кто сахару. У Оли-солдата оказалась даже большая луковица.

Дядя Митя подошел к женщине и повел ее к столу:

— Пойдемте... Помянуть девочку надо...

Женщина сидела, все еще не понимая, где она, как здесь очутилась и кто они, эти совсем незнакомые ей, вроде бы чужие и такие добрые люди.

Только выпив несколько глотков водки, она наконец заговорила, рассказала о себе. Сама из Людинова. Вторую неделю она шла домой, кормясь нещедрым подаванием. Всю дорогу несла Валечку, и были ее ручки, которыми она обхватила шею матери, горячими-горячими, а уж у самого Дебрянска стали холодеть и сделались совсем холодными... Вот теперь придет домой, если есть еще у нее дом, а Валечки — нет...

...О Нине вечером не говорили, хотя помнили о ней все.

2

Вокзал в довоенном Дебрянске был небольшим, но красивым, уютным и основательным. В буфете — огромная пальма, всегда чай, вина, коньяки. В зале ожидания — прочные дубовые скамьи-диваны, на спинках которых вырезаны — на века — четыре буквы: РОЖД. Только маленькие дети не знали, что означают эти буквы, и им объясняли: Риго-Орловская железная дорога. О ней говорили как о чем-то величественном, знаменательном, к чему, на радость и гордость жителей, имеет отношение и их маленький Дебрянск. «Риго-Орловская железная дорога!»

А перрон!

Жителю столицы ни за что не понять, что значил он для маленького городка! К приходу вечернего поезда каждый вечер на перроне собирались любители, как говорится, на людей посмотреть и себя показать. Одетые в самые лучшие платья и костюмы, десять — пятнадцать пар торжественно прохаживались по ровному полотну перрона, где до недавнего времени висели огромные серьги керосинокалильных фонарей. В ярко освещенном окне виден был

телеграфист Андрей Павлович Козловский. Он стучал на аппарате! Весь мир был под его рукой...

Но вот выходил дежурный в красной фуражке...

Торжественные минуты!

Звякал колокол, шум поезда приближался, с грохотом проносился масляный паровоз, мелькали и останавливались вагоны. На перрон, где становилось еще светлее, высыпали пассажиры: одни, чтобы зайти в ресторан, другие размять ноги.

И дебрянские модницы внимательно изучали проезжих: как одеты... какие прически... на кого больше обратят внимание...

Было что-то патриархальное в этих вечерних гуляньях по хорошо освещенному перрону!..

До революции все города, даже совсем маленькие, выпускали открытки с видами своих достопримечательностей. Среди дебрянских открыток вокзал всегда был на одном из первых мест. Большая Дворянская улица... Собор... Вокзал...

Сейчас он лежал высокой грудой камня, из которой торчали во все стороны погнутые железные прутья. В первое время строители землянок попробовали было добывать здесь кирпич, но ушли ни с чем. От мощного взрыва толстенные стены не распались на кирпичи, а рухнули огромными, цементированными глыбами. Из этих глыб-монолитов, как ни били их лопатами и топорами, нельзя было высечь ни одной кирпичины. Лишь тупился, портился и без того дефицитный инструмент.

Пожарный сарайчик справа каким-то образом уцелел. В нем сейчас и оборудовали вокзал. Раз в сутки — поезд в одну сторону, раз — в другую. И бессчетное количество воинских эшелонов, товарняка...

В сарайчике пахло овчинами и погребом — деревенские бабы в полушубках везли картошку: кто своим в город — подкормить, кто на рынок — продать или поменять. Хлеб и картошка — самая ходовая меновая ценность, единицы намерения. Ботинки — мешок или два картошки... Рубашка — полмешка... Буханка хлеба — сто рублей, за две, если повезет, можно выменять штаны... Но для этого надо ехать в областной город.

Возвращались заплутавшиеся на дорогах войны, чуть было не оказавшиеся в неволе... Или те, кто потерял кров, имущество,

переезжали к родственникам...

Сергей Латохин то сидел на скамейке в «зале», то выходил на площадь, где когда-то ожидали пассажиров извозчики.

В приезд Леночки он верил и не верил, боялся думать о том, что через какие-то минуты обнимет ее: подумает — и вдруг спугнет этим и без того призрачное счастье.

После длительного ожидания он наконец получил от Леночки сначала одно, потом другое письмо. В первом она писала, что ранена и поправляется, во втором, что приедет. Выходит, не зря он волновался: случилось-таки! Солдатский нюх его не подвел. Но что значит «ранена»? Пишет, что теперь все хорошо, но как понимать это «хорошо»? Оба письма размашисто набросаны карандашом прежним круглым почерком: руки или рука, выходит, в целости и сохранности... «А ноги?.. — подумал Латохин. — Лицо?..»

Как это ни существенно, главным было другое: Леночка едет в Дебрянск! Фразу о приезде Латохин прочел несколько раз: нет ли ошибки? В самом деле приедет?! В Дебрянск?! Убедившись, что все действительно так, Латохин забеспокоился: где Леночка будет жить? На чем спать? Удастся ли раздобыть хотя бы соломенный матрас?.. Он мог бы отдать ей свой топчан, но захочет ли пустить еще одного человека в сарайчик Аня Ситникова?

Однако все его опасения и суэта оказались совершенно напрасными: едва Аня Ситникова узнала, что Лена приедет в Дебрянск, всплеснула руками.

— Приедет? — обрадовалась она. — Жива? Господи!.. — И бросилась к своей постели, как будто Леночка была уже в сарайчике, и стала взбивать подушку. — На твоём топчане бока обломаешь, а у меня — перина! Здесь и уложим...

— Тетя Аня, а вы где?..

Аня Ситникова махнула рукой:

— Где я? Пойдем с Раей к Беликовым и проживем неделю! Такое дело!

— Тетя Аня, куда же вы пойдете? Зачем? — всполошился Латохин.

Аня Ситникова склонила голову на плечо, посмотрела на Латохина с печалью и сочувствием:

— Неужели же я ничего не понимаю? Круглая дура и пенёк пнем и та на моем месте сделала бы то же самое... Господи, господи! Столько на людей напастей и бед! Ведь в каком аду была! Так почему же эту неделю не пожить? Не знаю, кто она тебе: невеста, жена. Да и не мое это дело... Оставайтесь здесь и живите... Живите, живите...

Последние слова были произнесены совсем незнакомым Латохину голосом. Аня Ситникова опустила на стул и молча сидела, сгорбившись. Потом быстро смахнула пальцами слезы. Латохин подошел к ней:

— Тетя Аня... Тетя Аня... — Он неумело погладил ее по плечу, успокаивая.

Аня Ситникова встала:

— Ладно, Сереженька... У меня уж, видно, ничего не будет, так хоть вы поживите...

Муж Ситниковой, столяр мебельной фабрики, был убит в первые месяцы войны. С тех пор тридцатидевятилетняя женщина не то что постарела или осунулась, а стала какой-то бесцветной на вид, неопределенных лет. Ей можно было дать и пятьдесят, и меньше, и еще больше...

«Поживите...» Латохин как-то не сразу сообразил, что в разговоре совершенно не учитывалась другая сторона — Леночка. Только он, Латохин! Как будто законная жена возвращается к своему законному мужу... Сначала он поддался обаянию и заманчивости, что ли, слов умудренной житейским опытом, как казалось Сергею, Ани Ситниковой. Но прошло время и «обстановка на фронтах» представилась Латохину в более реальном виде: какая же Леночка ему жена? Да и, поселив ее у себя в сарайчике, где, кроме него и ее, никого не будет, не склоняет ли он ее к тому, о чем Леночка, быть может, и думать не думала, и гадать не гадала? По крайней мере, не поступает ли он бестактно, не торопит ли он события?

Но все его сомнения застилала радость: «Едет! Едет! Едет!»

Поезд опаздывал, и пассажиры, заслышав далекий гудок или стук колес, похватав мешки и свертки, корзины и чемоданы, узлы и ящики, выбегали из сарайчика и, обходя развалины вокзала, устремлялись на перрон. Но это все грохотали воинские транзитные: на запад, на запад. Кто оставался на перроне, кто, а таких было большинство, уходил опять в сарайчик до следующего гудка.

Латохин, хотя и решил не суетиться, как это подобает опытным солдатам, однако тоже поддался атмосфере нервного ожидания и тоже не мог не бегать на перрон и обратно. А если все-таки пассажирский? Леночка лихо соскочит с подножки, глазами будет жадно искать его, а он в сарайчике сидит... Уж лучше лишний раз сбегать...

И вот, когда уже казалось, что пассажирский и не придет сегодня, из-за мылинского невысокого леска показался паровоз, потянулись вагоны с окнами и невысокими трубами: пассажирский! Паровоз, обдав стоявших на перроне паром, с шумом проскочил мимо, уже тормозя... Еще минута, и поезд совсем замедлил ход, остановился.

Пассажиры с вещами сгрудились у вагона, пихали свой скарб на подножки, пытались просунуть или закинуть его в тамбур... На них кричали, не пускали: мест не было... Вдруг толпа ринулась к вагону в конце поезда: там пускали...

Вот уже пассажиров на перроне почти не стало: каким-то непонятным образом они рассосались по вагонам; вот уже паровоз дает гудок, вот уже отчаяннее кричат те, кто не сумел втиснуться хотя бы в тамбур... Леночки нет...

— По местам, ребята! — слышится чья-то команда. Группа солдат и два лейтенанта, стоявшие почти что посередине перрона, с кем-то прощаются, спешат к своему вагону...

И когда они разошлись, Латохин увидел Леночку: стоит, машет рукой вслед поезду. Он подбежал к ней, обнял, а она все еще никак не могла переключиться с прощания на встречу... И только через минуту-другую уткнулась лицом ему в шею и тихонько всхлипнула... Сергей почувствовал ее горячие, обжигающие слезы. Он крепче прижал ее к себе. Потом Леночка рывком отстранилась от него и, улыбаясь ему сквозь слезы, прерывисто выдохнула:

— Ну ладно... Здравствуй, Сереженька... Ну, покажись, какой ты теперь стал! — Она внимательно оглядела его и тихо прошептала: — Ой, Сережа, Сережа!.. Мне даже не верится... И ты... И наш Дебрянск...

Она повернулась, чтобы взглянуть на город, но тополя мешали ей увидеть его. Однако она догадывалась, что предстанет ее глазам, Сережа писал...

— Пойдем... — попросила она. — Ночевать-то есть где? Где ты меня устроишь?

— Есть... Есть... — Латохин взял Леночкин чемоданчик, снял с нее заплечный мешок.

— Я в любой землянке, лишь бы не на улице...

— Ты знаешь, тетя Аня Ситникова предлагает нам свой сарайчик...

— А сама?

— Сама к знакомым пойдет с дочкой. Поверь, я ни о чем таком ее не просил. Даже не заикнулся. Муж ее убит, и она как-то по-особенному относится и ко мне, и к тебе. К нам обоим...

Они вышли на вокзальную площадь, и Леночка невольно остановилась. То, что предстало ее глазам, конечно, трудно вообразить, если и опишут словами не один раз...

Латохин стоял рядом молча: пусть впитает в себя горечь свидания с родным городом. С городом, которого нет... Эту картину не загородишь, не утаишь, не прикроешь...

— Так куда мы, Сережа? — тихо спрашивает Леночка. — Говоришь, сарайчик... — И совершенно неожиданно для Латохина: — Ой, Сережа!.. Если хочешь, пусть это и будет нашей свадьбой... Пока живы!

Весть о том, что, оставив карточки, исчезла Нина Ободова, быстро разнеслась по городу.

Захаров срочно вызвал Турина.

Встретил его он, стоя за столом, держа руки в карманах брюк, что было верным признаком недовольства.

— Что там у тебя происходит, Иван Петрович? — спросил сдержанно и холодно. — Что с Ободовой?

— Ни товарищи по работе, ни милиция, ни Цугуриев, к сожалению, ничего о ней не знают.

— Не будем, товарищ Турин, прятаться за других: милиция, друзья, Цугуриев... Что известно райкому комсомола, товарищ Турин?! Райкому.

— Райком тоже ничего не знает, Николай Николаевич.

Захаров помолчал, напряженно раздумывая, потом спросил:

— Карточки, говорят, оставила?

— Да.

— Мы ничего толком не знаем, а в городе молва, что комсомолки руки на себя накладывают...

— Ходят такие слухи... Только она, Николай Николаевич, не комсомолка, — уточнил Турин, — и одна.

— А тебе нужен десяток, сотня? Так?

— Нет, Николай Николаевич...

— Почему же в городе говорят, что Ободова — комсомолка?

— Она действительно была членом ВЛКСМ, и, пожалуй, даже активным, до войны. Но запятнала себя во время оккупации, и мы ее в комсомоле не восстановили.

— Почему же Ободова осталась в памяти людей не как «запятнавшая себя», а как комсомолка?

— Не знаю, Николай Николаевич. Для этого достаточных оснований нет. Многим известно, что она путалась с немцами, с офицерами...

— Те, кто путался с немцами, переживать, считать себя замаранными не будут. Утрутся — и все! А Ободова, выходит, очень переживала. Страдала! Что-то здесь не так! Где же она?

Такой постановки вопроса Турин не ожидал.

Что здесь непонятного? Наверное, покончила с собой. Не в бывшей церкви, так в реке, не в реке, так в пруду... Турин твердо знал, что самоубийством кончали люди, запутавшиеся в личных отношениях, люди изломанные и духовно опустошенные, у которых нет в жизни большой цели... Под одну из таких категорий и подходила Ободова. О чем тут раздумывать? Конечно, жаль человека, но причина гибели ясна.

— Николай Николаевич, по-моему, конец ее закономерен...

— Что же тут закономерного? Как она относилась к работе? К тяжелой работе на стройке?

— Говорят, добросовестно. Хорошо работала... Замаливала грехи...

— Непонятно... На работе ее не обижали? Никаких осложнений не было?

— Да вроде нет, Николай Николаевич. Товарищи к ней относились неплохо.

— Что же, крах личной жизни — у такой еще девочки? Неудачная любовь?

— Не думаю... Какая там, Николай Николаевич, любовь! — Турин махнул рукой. — Смазливая... Ступила не на тот путь и запуталась, — тянул Ваня Турин свою линию. — Пьяной ее видели. Ночью встречали...

— Опустившиеся пьяницы не оставляют карточек друзьям, Иван Петрович! Не о себе, стало быть, думала... Садись-ка... — Секретарь райкома партии как бы приглашал Турина к обстоятельному разговору. Его интересовала и политико-воспитательная работа, и то, как райком комсомола помогает трудоустраивать молодежь — ведь рабочих рук городу не хватает: требуются грузчики, строители и еще раз строители, землекопы, печники... А что предлагают тем, кто почему-либо не может работать на стройках? Как трудоустраивают их? Как привлечь к восстановлению города тех, кто работает на почте, в пекарне, в магазине и других подобных местах?

Работа райкома комсомола и жизнь молодежи проходила на виду у Захарова, и Николай Николаевич хотел не столько узнать, что именно делается, сколько услышать, как оценивает работу своего райкома сам Турин.

Турин отвечал, ничего не скрывая:

— Дел невпроворот... Слишком много времени отнимают (да он, Турин, понимает, что это необходимо и неизбежно!) поручения райкома партии, особенно хлебозакуп... Трудоустройством молодежи занимаются, направляют в основном на стройки. Да все и сами стремятся туда — там ведь рабочая карточка. Кто послабее — работают в больнице. Там не легче, но хоть в тепле. Политико-воспитательная работа по-настоящему развернулась лишь в последнее время, когда райком смог сколотить актив и направить его в землянки и сарайчики... До этого работники райкома пытались почти всю работу вести сами... Дельные предложения внес Степанов. Собственно, с него и наступил перелом... Комсомольцы, привлеченные райкомом, ходят с газетами по землянкам и проводят беседы — форма, пока не заменимая никакой другой...

— Где живет Степанов? — прервал Турина Николай Николаевич. — В школе?

— Да.

— Надо будет ему помочь... — И перешел на другую тему: — Читал? Американская торговая делегация приезжает в СССР.

— Читал, Николай Николаевич.

— Пусть приедут — увидят... — Николай Николаевич как бы размышлял вслух. — Ведь войны они, по сути, не знают, лишь нюхали... Пока мы одни... Иван Петрович, ты чаю хочешь? — Он нагнулся и поднял откуда-то из-за стола термос. — Вот, кажется, только он и остался от дома...

— Спасибо, Николай Николаевич, выпью.

Захаров достал из ящика стола стакан зеленого стекла. Его предложил Турину, себе налил в крышку термоса.

— Бери... — придвинул он Турину сахар на листке бумаги. — Так как думаешь, Иван Петрович? Может, теперь сдвинется дело? Откроют второй фронт?

Хотя приезд торговой делегации был не бог весть каким важным событием, но он, однако, в какой-то степени знаменовал давно ожидаемые сдвиги в отношениях союзников, вселял надежду на еще большие контакты.

— Хотелось бы верить, Николай Николаевич...

— Эх, если бы!.. Подсобили бы нам немного... А то ведь фашизм угрожает всему миру, а отдуваемся мы одни. Сколько наших жизней загублено этой войной...

Они молча пили еще горячий чай, и Турин считал, что думают они сейчас об одном и том же — о втором фронте, когда Захаров неожиданно сказал:

— И все-таки что же случилось с Ободовой? Не дает мне эта мысль покоя! У многих сложных явлений или событий частенько бывают простые причины. Так в чем же они?.. Мы с тобой этого не знаем, а должны бы знать! Говоришь, никто ее не обижал?

— Да нет, Николай Николаевич, никто вроде не обижал... — начал Турин и осекся. Из вороха событий, больших и малых, в памяти вдруг всплыла сцена: Гашкин в гневе стучит костылями и произносит грязное слово... А если мог Гашкин, могли и другие. И сколько их, в общем-то порядочных людей, которые и не думали подталкивать Нину к беде, но так или иначе способствовали этому? Никто не хотел ей худого, но никто и не проявил к ней чуткости, заботы...

— Что, Иван Петрович? О чем задумался?

Турин, напряженно смотревший куда-то в угол, ответил не сразу:
— Думаю, — проговорил он, — думаю...
— Правильно делаешь, Иван Петрович, подумать никогда не вредно...

Вера не была подругой Нины, но и она, конечно, как все, гадала, что с ней произошло. В самоубийство не верила, не хотела верить. Уехала?.. Бежала?.. Но почему? И почему она, Вера, думает о Нине теперь, когда ее нет в городе, а не думала тогда, когда Нина была рядом, хотя бы в тот день, когда бюро решало ее судьбу? Почему?

Из райкома Вера шла в свой подвал, и рассеянные мысли о Нине перемежались с другими: съесть ли за ужином весь хлеб или оставить немного на завтра?.. Удастся ли, наконец, сегодня выспаться?..

Она и сама удивлялась, что такие мысли могли соседствовать с мыслями о судьбе человека. А что делать? Иной раз ночью просыпалась от холода и не могла заснуть до утра... Сегодня печурку должна топить Полина Андреевна, которая обычно спала не раздеваясь. Протопит — ей самой кажется, что тепла хватит надолго, а ночью многие просыпались от озноба... Нет, сегодня выспаться вряд ли удастся... Скорее прошла бы эта ночь, чтобы снова очутиться в школе!..

— Вера Леонидовна! — окликнул ее Турин.

Вера оглянулась. Иван догонял ее, неся в одной руке стул, а в другой — небольшую стопку книг, перевязанную шпагатом.

— Что случилось? Переезжаешь, что ль?

— Переезжаю, в смысле перехожу пешим порядком... Тащи! — Ваня Турин передал Вере стопку книг. — Знаешь, зачем я тебе их даю?

— Ты известный эксплуататор, прикрывающийся именем организатора.

— Не то, не то! Есть другие суждения?

— Не имеется.

— Плохо, Вера Леонидовна! Плохо! Дал я тебе эту стопку затем, чтобы ты могла с чистой совестью сказать: «Я помогала Турину перебираться на новую квартиру!» — Иван не выдержал серьезного тона и заулыбался.

— О-о! Большая у вас комната?

— Семь с половиной метров!

— Житье! — с нескрываемой завистью воскликнула Вера. — Можно только мечтать. Наверное, и печь есть?

— А как же?

— Черт возьми!

Новый дом барачного типа, со сквозным коридором и комнатами по обеим его сторонам, был построен на зеленой и уютной когда-то Тургеневской улице.

В длинном и совсем бы темном коридоре, если бы Турин предусмотрительно не оставил входную дверь открытой, было удивительно тихо.

— Вот я и дома! — сказал Турин. — Представляешь, Вера, у меня есть дом!

4

Краткосрочный отпуск кончался, и Леночка должна была возвращаться в часть. На вечер перед отъездом Лена и Сергей позвали гостей — дядю Митю, Степанова, Аню Ситникову с дочкой. Выпили самогона, закусили картошкой с капустой, а потом долго пели и танцевали. Дядя Митя тихонько напевал «На сопках Маньчжурии» и отстукивал такт рукой по доске стола. Две пары осторожно кружились между двух коек.

— Мам, а что это они делают? — спросила Рая у матери.

Аня Ситникова грустно улыбнулась:

— Танцуют, глупенькая...

— Тан-цуют?

Степанов тоже невесело улыбнулся и подумал, что из всех сидящих здесь завтра утром отправится на фронт самый молоденький и самый маленький, если не считать Раи, человек — Леночка Цветаева.

Дома на Степанова вновь навалились мысли о Нине. Раздумывая над ее судьбой, он допускал возможность самоубийства... Что ж, если так, то гибель ее не случайна... Нина сама виновата в своей судьбе! Она сама свернула с той верной дороги, по которой шли все и вместе со всеми он, Михаил Степанов...

И в то же время ему было бесконечно жаль Нину. Скольких товарищей он похоронил на фронте! Но там их убивали враги. А Нина?.. Рано или поздно вернутся ее мать, даст бог — брат с фронта. Каково будет им?

Степанов зажег лампу, нервно походил по классу, сел было работать, но не смог. Взял книгу, это был случайно попавший к нему том «Войны и мира» без начала и конца, и тут же отложил — не читалось.

Накинув шинель, он вышел на крыльцо, сел на приступке...

Ночь становилась все темней, от Снежади, с бережанских полей тянуло холодной сыростью, болотным запахом и чуть-чуть дымом.

По дороге кто-то шел мимо школы. Степанов взгляделся и узнал Владимира Николаевича с мешком за спиной.

— Владимир Николаевич! Заходите! — окликнул он.

— Да. Передохнуть надо.

Степанов снял с плеч старого учителя мешок — в нем не было и полпуда, — повел к себе.

Воскресенский сразу устало повалился на стул у стены, облегченно вздохнул.

— Самое прекрасное на земле, Михаил Николаевич, — сказал он, — осуществление мечты. Шел и думал: «Еще часик, еще полчаса, двадцать минут, и я смогу присесть и передохнуть». Вот присел и наслаждаюсь... Великолепно! Превосходно! — С некоторых пор старый учитель все чаще стал называть Степанова по имени-отчеству.

— Вы бы разделись, Владимир Николаевич...

— Сейчас, сейчас... — Старый учитель посидел еще немного и снял пальто. — Великолепно!

— Откуда вы?

— На хутора ходил. За хлебом, то бишь зерном.

— Сколько же это километров?

— Немного... Верст пять туда да верст пять обратно, а устал, Михаил Николаевич...

— Ваши женщины, — заметил Степанов, — насколько я помню, моложе вас, и намного.

— Не намного! Да и должен же я свой вклад вносить... Дрова, стирка, уборка, приготовление пищи — им достается! — оправдывал

Владимир Николаевич своих компаньонов. — Правда, можно было бы и завтра сходить. А если упустишь?..

Владимир Николаевич не закончил, за него это мысленно сделал Степанов: «Упустишь — попреков не оберешься!»

Зашел неизбежный разговор о Нине Ободовой. Владимир Николаевич отзывался о ней с большой теплотой, вспоминал какие-то давние истории, но во всем, что бы он ни говорил, Степанову слышался упрек: не уберегли!

Степанов долго слушал молча и наконец не выдержал!

— Безусловно, жаль, что все так получилось. Очень жаль! Но почему вы словно упрекаете всех нас?

— Да-а... — неопределенно протянул Владимир Николаевич, искоса взглянул на Степанова и встал. — Поздно, надо идти...

— Я провожу вас, — предложил Степанов.

— Не надо, Михаил Николаевич. Впрочем, как хочешь... Проводи. — Владимир Николаевич помедлил, достал из кармана пиджака сложенное треугольником письмо и неуверенно протянул Степанову: — Вот, прочти.

Степанов взял треугольник, взглянул. Адресовано Владимиру Николаевичу, на «квартиру». Обратного адреса нет. Степанов развернул письмо, и в глаза сразу бросилась подпись: «Нина». Жива! Он быстро начал читать:

Милый Владимир Николаевич!

Не думайте обо мне хуже, чем я есть. Мне было так плохо, так плохо! Жалею, что не догадалась уехать раньше. Я устроилась грузчицей на станции. К Вам большая просьба: если вернется кто-нибудь из моих, сообщите им, где я. Адреса пока нет, ночью где придется. Спасибо Вам за все.

Нина.

Степанов долго молчал, все еще держа треугольник в руке. Взглянул на штемпель: соседний город.

— Владимир Николаевич, когда вы видели Нину в последний раз?

— Очень давно не видел...

— А когда вы получили письмо?

— Сегодня, когда за зерном шел.

— Кому-нибудь сказали о нем?

— Да не стойте вы того! — воскликнул Воскресенский с ожесточением, которого Степанов даже не мог подозревать в нем. — Впрочем, и я хорош! Очень даже хорош, старый болван!

С этими словами Владимир Николаевич подхватил мешок и направился к двери. Степанов хотел взять мешок, старик не отдавал, но, понимая, что сам не донесет, покорился.

Шли молча. Но Владимир Николаевич, не терпевший натянутости в отношениях, свеликодушничал:

— Ты извини, Миша, может, я несколько резко... Но ведь речь идет о живом человеке. Тысячи лет твердят, что человек неповторим, однако усвоить этого мы так и не можем. Конечно, Нина оступилась, виновата... Но травить!.. — Он не договорил.

— Ладно, Владимир Николаевич... Чего уж там... — невнятно отозвался Степанов.

Не рассказывать же Владимиру Николаевичу о своих спорах с Иваном, о том, в каком нелегком положении оказался он в городе, где его все знают, о том незадачливом вечере, когда его одолели незваные гости. Именно потому, показалось ему тогда, что он не сумел сразу оградить себя, как Турин, незримой чертой от знакомых и знакомых знакомых, к нему потянулись всякие сестры Марии. Нина как бы поставила последнюю точку в его долгих размышлениях о том, правильно ли он живет.

— Ты меня не слушаешь, Миша? — вдруг долетело до него словно издалека.

— Я спрашиваю, Миша, — повторил Владимир Николаевич, — ты не знаешь, у Нины есть друзья? Не может же не быть! Пусть поедут, разыщут ее. Я слышал, она даже карточки оставила, надо ж отвезти.

— Да, конечно, — быстро согласился Степанов, — у Нины есть друзья. Я скажу им... — И что-то защемило у него внутри: «Он скажет друзьям! А сам он?»

— Передай, Миша, только поскорее...

Степанов долго не мог уснуть, все думал: «Почему Нина написала именно Владимиру Николаевичу? Почему?»

Насколько он помнит, Владимир Николаевич прописей никогда и никому не читал, докладов не делал, с речами не выступал, никогда никого ни к чему не призывал. Все доброе и хорошее умещалось в его делах. Они ведь, кажется, и не виделись в последнее время — Нина и Владимир Николаевич. Выходит, он еще на школьных уроках сумел заронить в душу девочки то, чего никто другой не смог... Наверное, так.

Утром, едва выдалась свободная минута, Степанов отправился на стройку, где работала бригада дяди Мити. Первой его заметила Оля-солдат и крикнула тем, кто был на лесах и в сумраке не мог разглядеть оттуда, кто к ним пожаловал:

— К нам товарищ Степанов пришел!

Степанов попросил дядю Митю собрать бригаду. Когда все сели вокруг стола, он рассказал о Нинином письме учителю и предложении Владимира Николаевича.

— Я поеду! — сразу же откликнулся Латохин и даже поднял руку — как в школе.

— Ехать должен женский пол, — отвел предложение Латохина бригадир.

— Можно мне, дядя Митя? — спросила Оля-солдат.

— И я бы поехала!

— И я! И я! — посыпалось со всех сторон.

Дядя Митя постучал пальцами по столу и сказал:

— Ну вот, все согласны... А раз так, то, я думаю, не карточки нужно везти Нине, а Нину сюда.

— Правильно, дядя Митя! — первым воскликнул Латохин.

— Конечно, нужно ее вернуть, — согласилась Оля-солдат и добавила в сомнениях: — Только поедет ли?

— Что ж, может и не поехать... Гордая она. Но наше дело — постараться. Даже если не вернется, для нее важно будет, что мы ее помним... — Дядя Митя помолчал и заключил: — Поедет Оля...

Вечером вся бригада провожала Олю-солдата. В руке Оля бережно держала узелок с хлебом для Нины и письмо от бригады.

Через два дня Оля вернулась. Одна... Нина прислала письмо, благодарила всех, но вернуться отказалась наотрез.

Степанова срочно вызвали в райком партии. Кроме Захарова он застал там Соловейчика, который записывал что-то карандашом в блокнотике, скорее всего, поручения.

— Николай Николаевич, я не мог раньше: у меня уроки, — независимо сказал Степанов.

— Да уж что с вами делать! У всех дела, только у секретаря райкома их нет.

Соловейчик улыбнулся и посмотрел на Степанова, как бы призывая и его отозваться на шутку. С тех пор как Соловейчик понял, что этот учитель — приметная в городском активе фигура, он стал относиться к нему так, как будто между ними ничего никогда не происходило и вообще никогда ничего не может произойти дурного.

Но Степанов не улыбнулся: был озабочен.

— Так зачем я вам, Николай Николаевич?

— Подожди минутку, Михаил Николаевич! Потерпи!.. Впрочем, ладно. — И обратился к Соловейчику, спеша закончить с ним разговор: — Пусть все это Мамин учтет... Когда он сегодня вернется?

— Часов в восемь, Николай Николаевич...

— Пусть зайдет. Все!..

Соловейчик ушел, Захаров повернулся к Степанову:

— К Октябрьской годовщине клуб открываем. Мамин будет делать доклад, надо все продумать, согласовать... Ведь мы впервые получаем возможность обратиться к людям. Подумать только — впервые!.. Сколько раз приходилось выступать, а никогда так не волновался... — Захаров сделал паузу. — А тут прямо чертовщина какая-то: на станцию в адрес райкома комсомола груз пришел. Говорят, немедленно забирайте... Турина нет, Козырева и Власов в районе, а железнодорожники меня за горло берут. Пришлось вас вызывать. Зачем райкому комсомола динамо-машина?

— Что?! Динамо-машина? — Степанов подумал, что не понял Захарова.

— Да, динамо.

Степанов задумался: что могло произойти в этой невероятной жизни такое, что райкому понадобилась динамо-машина? Однако вспомнить ничего не мог.

— Понятия не имею, Николай Николаевич. Просто не могу себе представить...

— Странно! На станцию прибыла динамо-машина в адрес райкома комсомола. Приходил служащий к вам, в райком, никого не застал, потом — ко мне. А что я ему мог ответить?

— А не ошибка? Может, в адрес стройтреста? Троицыну?

— Нет, в адрес райкома ВЛКСМ. А если и стройтреста? Мы что, можем сейчас поднять электростанцию? Хотелось бы, конечно, но наша мечта — больше лесоматериалов, гвоздей, кирпича, стекла! Не до пирогов, лишь бы хлеб был.

— Совершенно не понимаю... — повторил Степанов. — Может, железнодорожники что-нибудь напутали?

— «Адрес назначения — Дебрянск. Получатель — райком комсомола», — повторил Захаров. — Второго Дебрянска в стране, насколько я знаю, нет. Значит, нам. И второго райкома комсомола в Дебрянске нет. Значит, Турина... Ну, ладно, Степанов, раз вы не в курсе, придется ждать Турина. Отыщется — разберемся.

Степанов только вышел из райкома, как увидел шедшего навстречу уверенного в себе и спокойного Турина.

— Ну что? — опередил он вопросом Степанова. — Новое партийное задание или все тот же хлебозакуп?

Степанов объяснил, надеясь услышать разгадку странной истории, но Турин только повторил с иронией и удивлением:

— Динамо-машина? А силовую подстанцию нам не прислали? Жаль, жаль... — И добавил сердито: — Да напутал кто-то, и все! Пойдем, — повернул он назад. — Бюрократы несчастные!

Захаров, узнав, что и Турин понятия не имеет, почему динамо-машина прислана в его адрес, сказал с упреком:

— Руководители называется! То ли ты, Иван Петрович, в секретари не годишься, то ли я.

«Перехлестывает Захаров!» — промелькнуло у Степанова, но он, желая смягчить резкость Захарова, шутливо спросил:

— А может, оба? Зачем гадать?

Захаров вдруг рассмеялся с аппетитом давно изголодавшегося по шуткам человека и хлопнул Степанова по плечу, тем самым признавая в нем своего человека.

— Правильно! Оба! Но будем формалистами, — сейчас Захаров обращался уже к Турину, — динамо адресовано тебе, забирай ее со станции и вези неизвестно на чем, неизвестно куда и неизвестно зачем! Делать-то нам нечего, силы девать некуда! — Немного помолчал и закончил неожиданно: — А все-таки что за чертовщина?

Вдруг Турин встрепнулся, произнес непонятное, еле слышное «Ага!» и быстро направился к двери.

— Иван Петрович! — крикнул вслед Захаров, пытаясь остановить его. Но Турин был уже в коридоре.

— Обиделся?.. — спросил вслух сам себя Захаров, прекрасно зная, что на него не обижались, по крайней мере так демонстративно. — Наверное, все же что-то вспомнил...

— Это скорее... — согласился Степанов.

Кто-то гулко протопал по коридору. Так шагать мог, пожалуй, только один майор Цугуриев. Он приносил Захарову, как правило, новости не из веселых. Да и что приятного: арестован еще один бывший староста, скрывавшийся в соседнем районе; обнаружено еще одно место казни советских людей, которое тщательно скрывали немцы. Неизвестно, что делать с женой репрессированного полицая: ходит по избам, просит подаяния, говорит, что дети пухнут с голода. А ведь ей была оказана помощь...

Вот с чем обычно приходил к нему майор.

Вошел действительно Цугуриев, небрежно приложил пальцы к фуражке, покосился на Степанова.

— Что, майор? — спросил Захаров.

Цугуриев сел, предложил папиросу Степанову, закурил сам. Небрежно рассказал два анекдота, услышанных в области, и как бы невзначай сказал:

— Следствие по делу Дубленко закончено. Положение-то в общем всем давно ясное, но есть и неожиданные детали, — Цугуриев искоса посмотрел на Степанова.

Тот встал:

— Я, пожалуй, пойду...

— Сидите, Михаил Николаевич. Дубленко вам ведь тоже небезынтересен, — сказал Захаров и спросил Цугуриева: — Надеюсь, ты государственных тайн не будешь касаться?

— Сегодня — нет, — без тени юмора ответил Цугуриев и затаился папиросой, крепко держа ее тремя пальцами.

— Так какие детали, говоришь? — напомнил Захаров.

— Этот Дубленко — мелкая, трусливая тварь, и такое дерьмо, что не знаешь, где границы подлости...

И Цугуриев стал рассказывать.

В Нижнем Осколе действительно существовала банда мародеров. Дубленко по домам не ходил, ни вещей, ни денег обманным путем не выманивал. Никто из жителей Нижнего Оскола, покажи им фотографию Дубленко или даже его самого, не признает в нем человека, спекулировавшего на святом чувстве. Дубленко сбывал на «черном рынке» лекарства, теплую одежду, ценные вещи, пожертвованные патриотами. Только сбывал. Всегда можно сказать, что в пользу подполья или партизан...

Когда город освободили, Дубленко счел за лучшее исчезнуть. Перед отъездом запасся справкой. Сначала ему сфабриковали такую, что даже сам испугался: «Активный член подпольной организации... Выполнял специальные, ответственные поручения... Заслуга товарища Дубленко в помощи армии...» Он прекрасно понимал, что такая аттестация может привлечь к нему особое внимание, а этого он боялся... Справку заменил: «Помогал подпольной организации... Выполнял отдельные поручения...» Это еще туда-сюда. Справка скреплена самодельной печатью: «Штаб помощи Красной Армии. Нижний Оскол». А внизу — неразборчивые подписи начальника штаба и секретаря.

С тех пор как Дубленко выехал из Нижнего Оскола, тревога не покидала его. Ему нужен был какой-то щит, чтобы укрыться... Так иной раз во время обстрела прячутся за штору или фанерную перегородку, хотя ни от снарядов, ни даже от пули они не спасут. Дубленко придумал заикание: он простак-заика, вызывающий к себе сочувствие. И правда, в Дебрянске его жалели...

Ни в какие начальники — ни в большие, ни в малые — Дубленко не лез и думал, что в тени скромной работы и под прикрытием придуманного им щита проживет в Дебрянске до поры до времени, а

там видно будет. Весть о том, что в городе Нефеденков, которого он видел с Котовым, спутала карты Дубленко, и он совсем потерял покой. Недолго думая написал на Нефеденкова донос. И многое в нем выглядело достоверно: клевета была хитроумно переплетена с истиной. Он считал, что запятнать и утопить легче всего тех, на ком уже лежит, пусть совершенно незначительная, тень подозрения. Расспросив, как бы между прочим, о Нефеденкове кое-кого из местных жителей, Дубленко выудил нужные ему сведения.

Борис Нефеденков, последним появившийся в отряде (!), виделся перед этим со Штайном?

Многие знали — действительно виделся! Факт? Факт! Ага! Что-то уже есть!

А известно ли вам, дорогие товарищи из органов, что дед Нефеденкова был крупным земским деятелем? Крупным! Это тоже факт: дед Нефеденкова действительно был членом земской управы. Старожилы Дебрянска помнили об этом.

Свои обвинения Дубленко начинал с правды, только правды.

Ни один из читавших его заявление не мог сомневаться, что Штайн — предатель. Сам Дубленко толком не знал точно, что такое земство и земский деятель, но полагал, раз это было при царе, то, стало быть, хорошим считаться не может. А тут еще к р у п н ы й деятель!

На прочном и верном фундаменте Дубленко возводил уже клеветнические обвинения: Нефеденков был заслан в отряд немцами; действуя осторожно, выдавал своих; расстрелянные немцами Фетисов, Цыганков — жертвы его провокации; Нефеденков выдал последнюю стоянку отряда... И Акимова...

Заявление такого рода было сострепано не одно, и все подписаны, конечно, именами реально существовавших людей, разыскать которых либо трудно, либо и совсем невозможно: один уехал, другой заболел тифом и умер, но действительно жил в Дебрянске и считался сознательным, активным товарищем...

И все равно Дубленко каждый день ждал беды. Любой пустяк: чей-нибудь взгляд, самое обычное слово — казался неслучайным, таившим смысл, который он разгадывал однозначно: подозревают! Приход Степанова в сарайчик, а потом совершенно незначительный случай в Костерине, когда он, разговаривая с Соней, забыл, что должен

заикаться, совсем вывели Дубленко из равновесия. Попытка «убрать» Степанова не удалась, как не удалась и, казалось бы, так ловко задуманная «явка с повинной». Он не знал, что Цугуриев уже занимается им с тех самых пор, как Нефеденков рассказал на допросе о своей встрече с Котовым. Выяснить прошлое Дубленко удалось не сразу и только после того, как соединились усилия Котова, одного из пострадавших из Нижнего Оскола и запрос Цугуриева.

— Следствие полностью изобличило Дубленко, установив одновременно невиновность Нефеденкова, — закончил Цугуриев.

— Значит, — спросил Степанов, с трудом сдерживая волнение, — Нефеденков скоро вернется?

— Да, — подтвердил Цугуриев. — Конечно.

— Мать знает?

— Наверное, еще нет. Можете ей сказать. Хотя я тоже приглашу ее к себе, известим, так сказать, официально.

— Возьмем его в школу, — решил Степанов. — И у нас, и в районе не хватает учителей, особенно толковых...

— А в армию кто пойдет? — спросил Цугуриев.

— Он же сердечник.

— Сердечник? — удивился Цугуриев. — Вот уж не подумал бы!..

— Даже от физкультуры был все годы освобожден, — подтвердил Степанов. Ему сейчас не терпелось пойти к Турину и рассказать о Нефеденкове. Интересно, что скажет Иван теперь?

Но Турин не замедлил явиться сам, и не один, а с Гашкиным. Игнат шел впереди, Турин — сзади, словно вел его под конвоем. Вид у Гашкина был понурый, наверное, как следует влетело от Турина.

Цугуриев молча откозырял и ушел, дел у него, видно, было немало.

— Николай Николаевич, — сердито начал с порога Турин, — я с себя ответственности не снимаю. Я — секретарь райкома и полностью отвечаю за своих работников и членов бюро. Отвечаю. Но динамо просил прислать не я, а Гашкин.

Турин закончил и сел. Остался стоять один Игнат.

— Ну, рассказывай, товарищ Гашкин, какой дворец ты задумал построить в Дебрянске. Дворец с хрустальными люстрами и конечно же с электрическим освещением? — съязвил Захаров. — И сядь, пожалуйста.

Гашкин опустил на стул. Сидел согнувшись, уверенный, что его не поймут и лишь обругают, как уже обругал Турин.

— Что говорить... Что скажешь... — вяло начал он. Потом вдруг воодушевился: — Вот бывают военные сводки в газетах, а бывают стихи. Сводки Совинформбюро нужны всем, ясное дело. А стихи? — Взглянул на Захарова и Турина, махнул рукой и погас: не поймут его, не простят!

— Ну что же ты? Говори! — поддержал Захаров.

Но Гашкин молчал. Тогда заговорил Турин:

— Воспользовался тем, что у него знакомый оказался каким-то начальником на бежицком заводе, и попросил его прислать городу динамо-машину. Никому ничего не сказал, ни с кем вопроса не согласовал.

— Это ж почему так, товарищ Гашкин? — спросил Захаров. — Хотя бы Турина поставил в известность.

— Уж больно легко и быстро согласился тот начальник. Я думал, пообещает и забудет.

Захаров рассмеялся:

— Выходит, если быстро соглашается, то так только, для видимости. Хорошо! Учтем!.. А зачем тебе динамо-то? Какие у тебя планы были? — допытывался он.

— Вот я и говорю: бывают сводки, а бывают стихи...

— Заладил одно и то же! — оборвал Гашкина Турин. — Тебя секретарь райкома партии спрашивает: зачем тебе динамо?

— Иван Петрович, — остановил его Захаров, — погоди, не горячись. Говори, Игнат.

— ...бывают, значит, стихи, — продолжил Гашкин. — А зачем они? Что, в самом деле, в них? Какой город взяли, в них не сообщается. Кто живой объявился после похоронки, тоже не сообщается. Кто кого ищет, опять же не сообщается. Тогда, может, долой стихи? Нет, без поэзии нельзя, хотя и практической пользы от нее, казалось бы, ноль. Вот и динамо — как стихи. Что мы все время возим со станции? Кирпич, доски, бревна, стекло... Нужно! Необходимо! И вот, представьте, повезут со станции динамо-машину. Только представьте себе! Динамо-машину! Зачем? Свет давать! Значит, и радио будет, и над столом светло. Сколько размышлений! Сколько разговоров! Значит, под силу не только землянки! И электростанция

будет! Будет! Ведь невозможно это: погреба, сарайчики, землянки — и вчера, и сегодня, и завтра! — Последнюю фразу Игнат закончил чуть ли не в отчаянии. — Невозможно!

— Да-а... — только и выдохнул Захаров, вставая. Он прошелся по комнате, с интересом поглядывая на Гашкина. Все ждали, что скажет, но Захаров не торопился.

— Ты вроде поэта, Игнат... Да просто — поэт!

Но от этого похвального для других определения Гашкин стал яростно отбиваться:

— Нет, нет!.. Стихи-то я не очень люблю и не все понимаю... Это я о стихах так — для примера... Ни одного не знаю наизусть, даже те, которые в школе проходили... Нет! — продолжал он по-прежнему упорно, чтобы его не заподозрили, не дай бог, в любви к поэзии, не породнили с теми мальчиками и девочками, которые как очумелые бредят стихами, а дай им в руки молоток, так не сообразят, как за него взяться.

Захаров улыбнулся, быть может впервые по-настоящему поняв все всегда наперед знавшего, безапелляционного и шумного фронтовика.

В кабинет, приоткрыв дверь, заглянули. Уже во второй или третий раз. Захаров посмотрел на часы и сказал:

— Сейчас!

Его уже ждали другие дела. Гашкин, Турин, Степанов поднялись.

— Значит, Николай Николаевич, — неуверенно начал Турин, — динамо-машину со станции забрать?

— Конечно... Только сначала надо было бы о помещении для нее позаботиться... Уж и не знаю, куда ее пока деть... Впрочем, вы кашу заварили, вы и расхлебывайте! — неожиданно хитро подмигнув им, сказал Захаров. И добавил: — Ну а динамо-то нам сгодится, и может, очень даже скоро!

Едва они вышли из райкома, Степанов радостно сообщил Турину:

— Ты знаешь, Иван, Цугуриев к Захарову заходил, сказал, что Бориса скоро освободят! Я же говорил — невиновен он!

— И я говорил — разберутся! — невозмутимо ответил Турин. — А ты суетился!

Из райкома Степанов сразу же заторопился на Бережок, хотел поскорее сообщить радостную весть Евдокии Павловне. Шел он, может быть, не намного быстрее обычного — для бега его нога еще не годилась, — но ему казалось, что он летит. Так окрыляла его радость. Он представлял себе, как войдет в землянку с лампадкой, как скажет многострадальной матери долгожданные слова, а она... Вот этого он никак не мог представить: как поведет себя Евдокия Павловна. Заплачет от радости? Или засмеется? Или молча прижмет к груди руки и замрет?..

Но в землянке Степанов застал только сестру Марию. Передавать новость через нее ему не хотелось, он почти наверняка знал, что она тут же не преминет сказать: «Бог услышал наши молитвы!» — и произнесет еще много слов во славу господя... Однако выхода иного не было: Евдокия Павловна ушла в деревню за продуктами и неизвестно, когда вернется, и он попросил передать Нефеденковой, что Борис оправдан и скоро будет дома.

Все произошло почти так, как он предполагал: сестра Мария повернулась к черному лику в углу, неподвижно постояла с полминуты, потом решительно вскинула голову и перекрестилась:

— Слава тебе, господи! Услышал нас!

В столовую Степанов пришел в самый разгар обеда. К нему тут же подсел Соловейчик и, многозначительно подняв палец, сказал:

— Вас в военкомат просят зайти, товарищ Степанов.

— Что, фронтовик, проштрафился? — улыбаясь, спросил Троицын.

— Наверное, — отозвался Степанов. — Не добил какого-нибудь важного фрица...

В это время в столовой появился военком Бердяев. Все на него посмотрели, ожидая, что скажет, но он, однако, не спешил. Снял шинель, повесил на вешалку, не забыв разгладить складки, поправил волосы и только потом подошел к Степанову:

— Так мы ждем тебя, товарищ Степанов. — И солидный, всячески поддерживающий, эту солидность, Бердяев степенно опустился на лавку в углу.

— А в чем дело, товарищ майор? И в котором часу прикажете?

— В каком будет угодно. С девяти до пяти я всегда на месте. А в чем дело — узнаешь.

К Бердяеву подошел Соловейчик и что-то прошептал. Военком хмыкнул, и довольно громко, так, что услышали почти все, одобрительно воскликнул:

— А ты голова, Соловейчик... Голова! Тебя бы в Генеральный штаб!..

— Не гожусь, товарищ майор. Не знаю, где право, где лево.

— Ну, это беда поправимая! Отдадим тебя сначала на выучку к хорошему старшине, — сказал Бердяев и окликнул Степанова: — Слушай, Степанов... Тут возникли кое-какие обстоятельства, давай лучше перенесем нашу встречу на несколько дней. Ты не против?

— Пожалуйста, товарищ майор... — пожал плечами Степанов. А сам подумал: «Вот и хорошо! Наверняка опять какую-нибудь беседу проводить: или с призывниками, или в части с молодыми солдатами. Так сказать, встреча с фронтовиком! А сейчас и без того дел по горло. Лучше через несколько деньков, тогда — с удовольствием...»

Почти за час до начала вечера, посвященного годовщине Октября, клуб был полон ребятишек всех возрастов и калибров, в отцовских пиджаках и шинелях, волочившихся по полу, в старых, сохранившихся чудом одежонках, в шапках, кепках и платках.

Высокие столбы с напутанной между ними колючей проволокой, как и прежде, еще окружали бывшую церковь. В суматохе, предшествовавшей открытию клуба, никому не пришло в голову снести эти столбы, срезать проволоку, за которой еще недавно люди томились, умирали и все-таки надеялись на свободу. Зато были раскрыты настежь — что редко случалось при немцах — ворота. Около них стояло несколько новеньких трехтонок. Машины через город проезжали часто, но не такие новенькие. Эти — из воинской части.

Степанов наблюдал, как оживленные жители стягивались к клубу. Из погребов, из землянок, из сарайчиков — в просторное помещение, где не будут тебя сжимать сырые стены, не будет давить низкий потолок, где окажешься среди своих людей, услышишь родное слово, обращенное ко всем и к каждому в отдельности...

Здесь же, около клуба, прохаживались солдаты и кое-кто из офицеров гвардейской части. У них свободен только вечер. В двадцать четыре ровно они должны быть у себя в части. За эти часы нужно

найти девушку, познакомиться с ней, представить во всем блеске самого себя, забавляя партнершу остроумным разговором, потанцевать с ней, а потом, что не всегда возможно, проводить до дома.

Сроки сжатые, и действие начинается сразу же у ворот. Заговаривают, знакомятся и к дверям клуба подходят, называя друг друга уже по имени.

Прошли Владимир Николаевич, Галкина, Козырева. Пропрыгал Гашкин, громко говоривший что-то Власову. Показалась Таня. Степанов увидел ее и подошел.

— Таня... Какая ты сегодня красивая!..

— Здесь же ничего не видно... — прошептала Таня не без укора.

— Видно, красоту всегда видно, Таня, и я сегодня вызову всеобщую зависть оттого, что буду сидеть рядом с тобой...

— Вы все шутите, Михаил Николаевич.

— Нет, Таня, не шучу...

Хотя до начала торжественного вечера оставалось полчаса, они с трудом отыскивали в зале два свободных места рядом. А люди все шли, вливались в двери клуба и неизвестным образом рассредоточивались среди сидевших на скамьях и толпившихся в проходе.

Стоял ровный гул, когда кажется, что никто вокруг тебя ничего не говорит, а шум рождается где-то там, дальше. В сплюснутые на концах гильзы был налит керосин, вставлена пакля. От движения воздуха пламя примитивных светильников, прикрепленных к стенам, металось в стороны, иногда гасло.

На сцене, невидные из зала, топились две круглые, блестящие новенькой черной краской печи. Сам Николай Николаевич Захаров попросил топить как можно жарче. Он не рассчитывал, что они смогут нагреть высокий зал, но полагал, что дадут возможность членам президиума сидеть за торжественно украшенным столом не в шинелях и пальто, а в костюмах и гимнастерках, на которых будут гордо поблескивать ордена и медали...

Таня восторженно оглядывала клуб: какие высокие потолки, какой простор! Правда, в свете коптилок трудно было разглядеть все как следует: взнесенные над грешной землей своды тонули в полумраке и копоти, но то, что они только угадывались, делало высоту клуба еще большей.

Постепенно гул в зале стихал — все отчетливее и отчетливее становилось ожидание. В прочно установившейся тишине лишь слышно было, как кто-то осторожно кашляет да как нечаянно скрипнет скамья без спинки: сидевшие теснее прижимались друг к другу, чтобы освободить место для пожилой женщины или старика, примеченных добрым взглядом.

Не было обязательных для всех мероприятий опаздывающих — рассеянно-озабоченных или беспечно-небрежных. Все, кто мог и хотел, давно пришли и ждали.

Члены президиума занимали места за столом, покрытым красной скатертью, взятой все в той же воинской части. Захаров, Прохоров, Галкина, Ваня Турин, Мамин, бригадир Дмитрий Иванович, другие ударники восстановления города...

Машинально или от волнения Мамин взял карандаш, чтобы привычно постучать по графину, призывая к порядку, и вдруг понял, что стучать не надо: все давно ждали этой минуты и сидели в полной тишине. Рука, в которой Мамин держал синий ученический карандаш, остановилась на полпути к графину...

— Товарищи! — Голос Мамина на мгновение пресекся. Председатель райисполкома оглядел зал, словно вбирая в себя эти внимательные и добрые взгляды, ожидающие совсем-совсем малого: человеческого слова и участия, и продолжил: — Друзья мои! Разрешите от всей души поздравить вас с двадцать шестой годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции! Мы отмечаем этот праздник, когда Красная Армия, ведя наступление на фронте протяженностью в 2000 километров, менее чем за четыре месяца наступления возвратила Родине обширную территорию. Освобождены Донбасс, Харьков, Орел, Таганрог, Брянск, Смоленск, Днепропетровск, Днепродзержинск, Запорожье и другие крупные промышленные центры. Товарищи! — Мамин глубоко вздохнул и как можно торжественнее и четче произнес: — На рассвете 6 ноября войска 1-го Украинского фронта штурмом овладели столицей Советской Украины — городом Киевом!

И вот уже, впервые после двадцати двух месяцев оккупации, аплодисменты, нарастая и нарастая, гремели в Дебрянске, заполнив зал и, казалось, стремясь вырваться наружу.

Когда аплодисменты стихли, Мамин предоставил слово Николаю Николаевичу Захарову. Он стоял у самой кромки помоста, как можно ближе к собравшимся. Сознывая, что наконец-то видит большинство тех, к кому давно хотел обратиться, вдруг ощутил нехватку нужных, достойных этих людей слов. И «неслыханные жертвы, понесенные народом», и «невиданный героизм, проявленный им ради жизни на земле» — все это хорошо, все — правда, но Захарову хотелось сказать как-то иначе — сильнее и проще.

— Товарищи мои... Пройдут годы, и подвиг народа и армии, великий сам по себе, не только не померкнет, но станет еще величественней. Внуки и правнуки будут гордиться нами и вспоминать о нас как о людях из легенды. Вы действительно люди из легенды, но вам самим — и тем, кто сейчас на передовой, и тем, кто здесь, в Дебрянске, — не дано этого ощутить. Вы дарите эту возможность другим — вашим потомкам.

Захарову долго аплодировали стоя.

После его выступления Мамин прочел Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении группы солдат и офицеров за самоотверженность и героизм, проявленные в боях с немецкими захватчиками.

Среди названных фамилий зал услышал и фамилию «Степанов», но отреагировал не сразу. По мере того как люди, спрашивая друг у друга, тот ли это Степанов — их, дебрянский, учитель, и убеждались, что тот, аплодисменты все нарастали.

Степанов сам не заметил, как встал и двинулся к сцене вдоль рядов, стараясь никого не задеть. Он не слышал ни аплодисментов, ни стука собственного сердца.

...С угрожающим шумом надвигались немецкие танки, покачиваясь, палили из пушек, а за танками, в небольшом отдалении, — фрицевские молодчики с закатанными по локоть рукавами. В руках — автоматы. Один танк, второй... Вот из ложбины выползает третий... Разнесут! Втопчут в землю! Наши орудия молчат. Кажется — нестерпимо долго. Когда же начнут стрелять? Когда?..

Всегда в таких случаях мгновения растягивались, и привыкнуть к этой напряженной тишине было невозможно. Но вот танки чуть развернулись, и грохот ударившей по ним артиллерийской батареи сделал неслышными выстрелы вражеских пушек. Подбит один танк,

остановился и крутится на одной гусенице второй... Ряды гитлеровских молодчиков дрогнули, растеклись в стороны... Вот тогда и показали себя минометчики...

Сколько это длилось?.. Где это было?.. Кажется, под Воронежем. Да, точно — под Воронежем! Били так, что вражеское наступление захлебнулось, наши рванулись вперед.

Может, награда за этот бой?.. А может, за деревеньку, название которой так и осталось Степанову неизвестным. Деревенька была неприметной. Мало ли таких!

А может, за горячий бой у переправы?..

Степанов шагал уже по сцене, а майор Бердяев, в парадном мундире, при орденах и медалях, шел ему навстречу, торжественно неся в вытянутой руке раскрытую красную коробочку.

— Мне выпала почетная обязанность вручить вам от имени Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик орден Красной Звезды. — Майор протянул Степанову коробочку: — Поздравляю!

— Спасибо!

После Степанов жалел, что не ответил по-армейски: «Служу Советскому Союзу!»

В перерыве, перед художественной частью, Таня сдержанно поздравила Степанова: кругом были люди. К нему подходили многие пожать руку, посмотреть орден.

На концерте Таня была оживлена, от души смеялась шуткам конферансье. Один номер сменялся другим, и концерт окончился как-то неожиданно. А она б еще смотрела и смотрела!

Жалко было покидать клуб и идти в землянку... Но что поделаешь!

Трехтонки с гвардейцами одна за другой выезжали из ворот, а горожане не спеша, оживленными группами растекались по тропкам, кучками стояли у выхода, все еще под впечатлением зрелища. Одни молча улыбались, другие шумно обсуждали виденное:

— Этот-то! Этот!.. А?!

И как вновь не рассмеяться, вспомнив бойкого конферансье, который так и сыплет шутками; комическую пару: маленького росточком лейтенанта и огромного бойца... А гимнаст? Ставит две

ножки стула на трапецию, подвешенную к потолку, усаживается на него, находит равновесие, а потом, освободив руки, берет газету и как ни в чем не бывало читает. Вдруг зал в испуге ахает, стул соскальзывает, все летит: гимнаст, газета, стул, но вот ноги гимнаста цепляются за перекладину, стул оказывается у него в одной руке, газета — в другой... А пляска! Живой клубок веселья, радости... А этот из «Свадьбы в Малиновке»!.. Босой, в растерзанной рубашке без пояса, ходит, прыгает по холодному полу... А хор? Какие голоса!..

— А этот-то! Этот!..

Все зрелища, которые видели горожане за последние двадцать два месяца оккупации, — это фильмы вроде «Только ты» (арийцы красиво любят и красиво живут), «Песнь о Нибелунгах» (арийцы самые смелые и опять же самые красивые люди), рекламные ролики о том, какую счастливую и сытую жизнь обеспечили в Германии русским их новые благодетели... Как-то приезжал в Дебрянск «Ансамбль русской народной песни и пляски под управлением г-на Боголюбского А. П.». Кое-кто из жителей побывал на этом концерте и не столько слушал и смотрел, сколько тяжело раздумывал: «Кто же это пляшет, кто поет? Что это за русские? Где их взяли? Зарабатывают на хлеб или поют — чудовищно представить! — от души? И что делал этот господин Боголюбский до прихода немцев?»

Степанов с Таней вышли за ограду клуба. Народ уже рассеялся. Несколько десятков шагов — и они остались вдвоем.

Небо было темным, вечер — холодным, впереди — длинная дорога, проложенная по усыпанной кирпичом Первомайской улице, то идущая прямо, то вдруг кидающаяся в сторону...

— Посмеялась немножко? Отошла? — спросил Степанов.

— Еще как!.. Вот только гимнаст меня напугал. Вдруг бы разбился!

— У него все десять раз выверено, Таня.

— Страшно подумать, а ведь все могло быть иначе, Миша, — сказала она неожиданно. — Все! Все!

— О чем ты?

Таня стала рассказывать о жизни при немцах. Объявления на стенах с четким указанием, кому когда явиться... Биржа труда... Вагоны, при одном взгляде на которые пробирала дрожь: сядешь в него здесь, в России, а выйдешь там, в Германии, вечной рабой... Там тебя

и закопают или сожгут, а пеплом удобряют поля под брюкву или картошку... Всё, не было никакой Тани Красницкой!..

Степанов не сразу осознал, что Таня перешла с ним на «ты» и стала называть его просто Мишей, и понял, что рубеж, разделявший их, перейден, и перейден, наверное, для нее незаметно и произвольно.

7

Что-то постоянно давило на совесть Степанова и заставляло задумываться. То ли неожиданный, а потому особенно чувствительный, упрек старого учителя? То ли отказ Нины вернуться?

Где бы он ни был, что бы ни делал, нет-нет да возникала мысль: «Может, старик Воскресенский прав в своем упреке?..»

Жизнь в школе шла, казалось, уже заведенным порядком. Но однажды утром, как только Степанов вошел в класс, он сразу почувствовал неладное. Внешне все выглядело как всегда: ученики дружно встали, ответили на его приветствие и ждали разрешения сесть.

Степанов бегло оглядел ребят и сказал:

— Садитесь...

На минутку поднялся шум и стих. Все как всегда.

Однако Степанов успел заметить, что Ира чем-то возбуждена: лицо покрыто красными пятнами, глаза блестят... Наташа Белкина, некрасивая, остроносая девочка, стояла напряженная, с каменным лицом... Леня Калошин почему-то закусил губу...

Драка? Но это была та удивительная школа, в которой дети не дрались ни на переменках, ни расходясь домой, где не опаздывали на уроки, не отлынивали от учения... Это была та школа, куда шли с радостью и откуда с неохотой расходились... Где по вечерам порою собирались вместе учить уроки, приходили, притянутые сюда светом лампы, теплом, стремлением побыть вместе...

Так что же произошло?

Шутка, невольно ставшая грубостью и причинившая кому-то боль?.. Но эти девочки и мальчики, объединенные общей бедой, были внимательны друг к другу, знали цену товарищескому участию.

— Что случилось? — спросил Степанов, садясь за стол.

Никто не ответил. Пожалуй, только стало еще тише.

— Ничего не случилось? — Степанов еще раз осмотрел учеников. — Ну что же, тогда пойдем дальше...

Он начал урок.

Собственно, с первого и до сегодняшнего это был цельный и единый урок, назначение которого Степанов представлял совершенно отчетливо. И стихи Пушкина, и поэмы Лермонтова, правильное звучание и написание русского слова были важны в нем не только сами по себе, но и потому еще, что должны были служить и большему. Это большее давно, в первые дни его приезда в разоренный Дебрянск, и стало содержанием жизни и работы Степанова: надо было сделать все, чтобы мальчишки и девчонки уразумели величие своего народа, богатство истории и культуры своих предков, всю огромную значимость совершающегося на их глазах, скрытого в скупых сводках Совинформбюро...

Урок прошел, как всегда, интересно, и Степанов забыл о впечатлении, которое произвели на него ребята вначале.

Занятия давно уже кончились, когда Степанов, проходя по коридору, заметил в полутьме Наташу Белкину. Она сидела в уголке, на поленьях, сгорбившись, сложив на коленях руки.

— Ты что, Наташа? — спросил Степанов.

— Так... — Она вытянула ноги в чиненых чулках.

— И на уроках сидела без ботинок?

— Нет, только на одном. Тетка взяла, брата в больницу сводить...

— А когда принесет?

— Скоро обещала...

Степанов предложил Наташе принести свои сапоги, чтобы девочка немедленно могла пойти домой, но та отказалась:

— Что вы, что вы, Михаил Николаевич! Не надо. Тетка скоро придет...

— Зря, Наташа... — Степанов уже хотел продолжать путь, как девочка спросила:

— Михаил Николаевич, можно вас спросить?

— Пожалуйста...

— Можно ли женщину, которая... — Наташа на секунду замялась, — ну... путалась с немцами, называть шлюхой?

Степанов не поверил своим ушам:

— Что?!

— Шлюхой. Немецкой подстилкой...

Что делать... В свои двенадцать-тринадцать лет подростки сталкивались и с этим. Быть может, не понимали полностью, что таили в себе неприличные слова, но слышали их не раз. И женщин, которых так называли, встречали не раз...

— Видишь ли, Наташа... — замялся Степанов. — Слова эти грубые. Очень грубые...

— А женщины? Разве они хорошо поступали?

— Плохо.

— Значит, они заслужили эти слова?

— Выходит, да. — Степанов заметил Машу Тетерникову, появившуюся в коридоре. Девочка явно прислушивалась к их разговору. — А ты кого, собственно, имеешь в виду?

— Да так... — замялась Наташа.

— Вообще или кого-нибудь конкретно? — допытывался Степанов.

— Вообще... Вообще! — обрадовалась подкаске Наташа.

— Хм!.. — удивился Степанов. — Вопросы у тебя... — Он укоризненно покачал головой и поспешил перевести разговор: — Ну ладно. Значит, не хочешь взять сапоги?

— Спасибо, Михаил Николаевич...

Сразу после праздников Вера поехала в Ямное, где до сих пор не открыли школу. Нужно было решать: добиваться ли открытия своей школы в Ямном или укреплять соседнюю, чтобы она обслуживала и ребят Ямного. Вера знала, какие мытарства испытывают дети, вынужденные ходить за пять — восемь километров в «чужую» школу, особенно зимой и в распутицу, и уже в Дебрянске настроилась отстаивать во что бы то ни стало школу в старинном селе Ямное...

Именно в тот вечер, когда Вера приехала, село было взбудоражено совершенно неожиданным возвращением Якова Хомякова. Еще в сорок первом получила Марья Хомякова похоронную, а сейчас он вернулся живой и невредимый, приехал на побывку после госпиталя...

Народ повалил к Марье, и до поздней ночи Яков рассказывал свою историю. Вера, которая остановилась у председателя сельсовета, не пошла вместе с ним к Хомяковым, а осталась в доме одна. Рыжий щенок выполз откуда-то и тыкался мокрой мордочкой в ноги Веры. Взволнованная происшествием, которое с особой силой вновь заставило ее ощутить боль собственной утраты и в то же время пробудило зыбкую надежду, Вера не сразу сообразила, кто копошится в ее ногах. Потом она наклонилась и, все еще отрешенная, машинально взяла щенка на колени. Щенок сейчас же принялся лизать ее руки, чуть слышно повизгивая от удовольствия. Вера увидела, какой он маленький, беззащитный и трогательный, и стала гладить по мягкой, не огрубевшей еще шерстке. Она сама не заметила, как прижала щенка к груди и прильнула щекой к его пушистой спинке...

В дом вошел председатель и принялся рассказывать о том, что услышал от Якова:

— Вера Леонидовна, чего только не бывает на свете! Чего только не бывает! Товарищи уверяли, что видели его убитым, похоронили, а он и не думал погибать...

— Действительно чудеса, Петр Петрович. Но такое чудо — одно на десятки тысяч...

Однако ночью она долго не спала: «А почему бы не вернуться и Николаю?» Сколько раз жизнь подкидывала ей надежду: Николай вернется! Вернется!

Утром, окончательно решив с председателем отстаивать открытие школы в Ямном, для чего нужно было найти двух учителей, Вера возвращалась в Дебрянск.

Подвезти ее могли только до Унечи, примерно половину пути, но и это было более чем удачно. От Унечи она уж как-нибудь доберется! Лошадка попалась резвая, мальчишка-возница, в большом не по росту полушубке, оказался забавным, и Вера боялась признаться себе, что возвращается она, несмотря ни на что, окрыленной.

— Тетя Вера, правду говорят, что есть капуста красная? У нас у всех зеленая, а где-то есть красная? Правда?

— Есть, Толя...

— Вот я такую и выращу! — уверенно заявил возница.

— Как же ты вырастишь?

— Буду поливать землю красными чернилами, и вырастет красная капуста! Вот только где чернил взять?..

Вера смеялась.

— Но сначала я выращу черную капусту, тетя Вера...

— Почему же черную?

— А у меня черная тушь есть. Подарили...

— Ну что ж, начни с черной... Что ты там еще предполагаешь совершить?

— Хочу автомобиль сделать...

— Из чего же?

— Два велосипеда, а посередине — моторчик. Все как у настоящего: четыре колеса и мотор. Вот только где взять? Пушка у нас в селе есть, и не одна, а велосипедов нету... Я б и самолет сделал. Но там — измеритель высоты. Без измерителя ничего не выйдет!

Лошадка бежала без понуканий, рассуждения Толи вызывали добрую улыбку, Вере становилось легче, вспоминалось детство...

...Маленькая девочка с папой и мамой едет в санях к щедрым родственникам на елку... На елке ей подарят куклу, которая сама закрывает глаза, красивый мешочек с конфетами, напоят горячим чаем с пирожным, покажут туманные картины на огромной белой простыне и после уложат спать в теплой комнате с лампой под розовым абажуром на столике...

«В город, в город, скорей в город...» — выбивали по дороге копыта лошадки.

Куда же, как не в Дебрянск, вернется, если ему суждено, Николай или дойдет весть о нем?

«В город, в город, в город...»

В ушах Веры серебряными бубенчиками звучала необыкновенная песня о тройку, необыкновенная потому, что едва она касалась слуха, как вспоминались, зримо виделись равнинные просторы, голубое под луной сияние снегов, черные фигуры лошадей с удалцами на санях, для которых стоверстные пространства — пустяк...

«В город, в город...»

Брызгала пыль из-под копыт честной лошадки, мелькали ее тонкие ноги, и хотелось, чтобы ветер свистел в ушах, чтобы неясное солнце отлетало назад.

Не заходя домой, Вера завернула в районо и высказала Евгении Валентиновне свое категорическое мнение: школу в Ямном открыть!

Галкина кивнула, соглашаясь, и, не задав ни одного вопроса о поездке, что было так на нее не похоже, сказала, что завтра в город приезжают два американца из торговой делегации. Сопровождать гостей по городу поручено ей, Вере Леонидовне, поскольку она знает английский и к тому же сама воевала. Короче, ее ждет Захаров...

— Американцы! — только и проговорила Вера. — Вот уж не думала, не гадала!

— Да, выразили желание взглянуть, как выглядят наши города после фашистской оккупации. Были в областном, а теперь пожалуют к нам в Дебрянск...

Поколение, к которому принадлежала Вера Соловьева и ее товарищи, любило Америку. Они знали ее по увлекательным бодрым книгам, по динамичным фильмам, по людям, прославившим свой народ, — Томасу Альве Эдисону, Марку Твену, Теодору Драйзеру, Джону Риду, Франклину Делано Рузвельту.

С детства они слышали с уважением произносимое и казавшееся чудесным слово «Америка». Северная и Южная — это были географические понятия; более емким, манящим, загадочным и недоступным было просто «Америка».

Индейцы и прерии, золотоискатели и авантюристы, Ниагарский водопад и дом в сто тридцать этажей, движущиеся тротуары и газеты в сто страниц, статуя Свободы и завод автомобилей Форда... Борьба за независимость... Уморительный и грустный человек в котелке и огромных ботинках — Чарли Чаплин...

Деловой энергичный народ не мог не нравиться, не мог не быть любим энергичной пытливой молодежью. Воспитанная в уважении к любому народу, американский она почитала. Он выступил нашим союзником в борьбе с фашистской опасностью. Америка заявила о своей готовности всячески помочь России, совершающей подвиг во имя человечества. Сталин разговаривал с Рузвельтом, их фотографии были помещены во всех газетах.

И вот представители заокеанской страны завтра приедут в Дебрянск.

И снова — иностранцы в России...

Не с ухаба на ухаб, не на возке с занавесками — на мощном «виллисе», по шоссе, размозженному гусеницами десятков танков, кое-где разбитому бомбами.

Встреченные Захаровым и вечно улыбающимся Маминым, гости не захотели «отзавтракать» и выразили желание поскорее приступить к осмотру города, чем вызвали к себе расположение: стремление сейчас же заняться работой выявляло в них тех самых деловых американцев, которых уважали наши люди.

Мистер Джек Уорфилд был высоким, стройным пожилым мужчиной, у которого все продолговатое, длинное — фигура, лицо, пальто, трость, пальцы. Волосы совершенно седые, с тем оттенком серебра, который принято упоминать в связи с определением «благородный». Лицо худое, тщательно выбритое, глаза умные, усталые. Его спутник, журналист Гейбл, был меньше ростом, моложе, неопределеннее и мельче. В коротком спортивном пальто, перекрещенном ремнями двух фотоаппаратов, он стоял, заложив, чувствовалось, сильные руки в карманы, жевал резинку.

Знакомясь с Верой, Уорфилд приподнял шляпу, поклонился и взял ее руку, чтобы поцеловать.

Вера начала снимать варежки, вышитые крестиком, не могла быстро сдернуть, смешалась. Мистер Уорфилд отодвинул край варежки и поднес Верину руку к своим твердым сухим губам. Гейбл поклонился, приподнял шляпу, пригласил в машину, сказав по-русски:

— Пожалуйста.

Она села в машину о американскими гостями. Мамин, не знавший по-английски ни одного слова, кроме «гуд бай», устроился на второй машине с представителем облисполкома Савельевым и Захаровым и считал свое положение наиболее выгодным: о чем бы он с иностранцами говорил? Да и вообще, такие солидные американцы, вдруг он скажет что-нибудь не так или сделает не так? А вот с Савельевым и Захаровым — свободно и легко.

Машины тронулись.

— Значит, город и ближайший колхоз? — спросила Вера, быстро, как ей казалось, составив английскую фразу. Только первое слово она сказала по-русски.

Уорфилд ответил по-английски. О! Понимать живую разговорную речь американцев было гораздо труднее.

— Пожалуйста, повторите, — попросила Вера. — И не очень спешите.

Уорфилд в знак того, что он слушается, наклонил голову и повторил фразу. Вера поняла, что он согласен с ее предложением и вообще согласен следовать за ней куда угодно, доверится ей.

Проехали уже несколько кварталов. Приготовившись, Вера начала:

— Ну вот... Здесь был древний русский город. В летописях он упоминается много раньше Москвы. Города сейчас нет. Он уничтожен не стихией, не случайно — преднамеренно, по плану. Специальный отряд гитлеровцев взрывал каменные дома, поджигал деревянные. Поэтому вы и видите пустыню. Но город будет.

— «Будет»... Конечно. Но где живут люди сейчас? — спросил Уорфилд.

— Лучше всего посмотреть самим, — посоветовала Вера. — Остановите машину. — Не успел Уорфилд помочь, как Вера выпрыгнула из нее. — Пройдемте в землянку. Они все одинаковы.

Она сама не думала, что так поступит. Но как рассказать американским гостям об условиях жизни наших людей? Посредством слов «коттедж», «сэндвич», «макинтош», «виски»?

Вера по отлоному скату сбежала ко входу в землянку, постучала. Боясь поскользнуться, держась за Гейбла, медленно сошел Уорфилд.

Дверь открылась.

— Тетя Паша, гости, — сказала Вера.

Мистер Уорфилд согнулся, молодежато нырнул в подземное жилище, за ним Гейбл, потом Вера.

— Гм, гм, — прокашлял Уорфилд, стоя полусогнутым и не зная, что делать. В руках он держал предусмотрительно снятую шляпу.

— Все преимущества на моей стороне, — сказал улыбаясь Гейбл, который хотя и доставал головой до потолка, но стоял свободно.

— Не на вашей стороне, а на стороне вашего роста, — поправил Уорфилд.

Услышав чужую речь, хозяйка растерянно посмотрела на гостей, которые ей поклонились, потом на Веру.

— Американцы, — сказала ей Вера.

— Садитесь, — предложила женщина и что-то стряхнула полотенцем с невидимых в полутьме табуреток. — Пожалуйста.

Гостей встретила с уважением, но без особого удивления — в этих невероятных землянках люди уже ничему не удивлялись.

Прежде чем сесть, Гейбл сказал, знакомя:

— Джек Уорфилд.

Уорфилд поклонился. Потом Гейбл представился сам.

— Сибирякова, — сказала женщина и осведомилась у Веры: — По-русски ни бельмеса или понимают что?

— Кое-что.

Женщина засуетилась. Конечно, надо было угостить, но чем? Напоить хотя бы чаем, но где его взять?

Вид жилища искренне опечалил Уорфилда. Он качал головой, и его усталые глаза выражали еще большую усталость. Гейбл — руки в карманы — безразлично рассматривал убогое жилище.

— Спросите у нее, где муж? — попросил Уорфилд Веру.

— Я и так знаю. Убит. Сын на фронте.

Женщина по взглядам, по выражению глаз поняла, о чем шел разговор.

— Угостить вас нечем, — сказала она. — Картошку и хлеб стыдно предложить. Ты им переведи, — попросила она Веру.

Уорфилд придвинулся к женщине и, положив руку ей на плечо, пытался и жестом, и словом успокоить гостеприимную хозяйку.

— Весь город живет так? — спросил Гейбл.

— Почти весь, — ответила Вера. — Увидите еще сараи, несколько домов.

Женщина задумалась. Что-то решив, смущаясь, что прямо обращается к гостю, спросила Уорфилда:

— У нас говорят о втором фронте... Говорят, что непременно будет и об этом с вашим президентом договорились. Ну, а как же так? До сих пор ведь нету!

Она виновато посмотрела на Веру: правильно ли поступает? Можно ли с ними так? Вера кивнула ей и с особым удовольствием перевела.

— Второй фронт... — произнес Уорфилд. — У вас еще поют песню: «Англичанин-мудрец, чтоб работе помочь, изобрел за машиной

машину...» Воевать можно не только людьми, хотя и наши люди тоже воюют.

Он встал и по возможности вытянулся, словно отдавая дань уважения погибшим и воюющим.

Сибирякова закивала головой: ну да, ну да...

Через несколько минут гости вышли. Гейбл — по-прежнему спокойный и невозмутимый, Уорфилд — строгий, грустный. Мамин, вместе с Савельевым оставшийся в машине, при виде опечаленного гостя почувствовал себя виноватым, и потом это чувство уже не покидало его.

Следующая остановка по плану Веры — стройка барakov. Переселиться из землянки в барак — мечта многих, и объект этот, фигурировавший в сводках, упоминаемый на летучках, совещаниях, в отчетах, был, пожалуй, номером один. Но вот подъехали к строительной площадке на Тургеневской улице, и Вера поняла, что американцам, живущим у себя дома на каком-нибудь сороковом этаже, глядеть здесь не на что. Стояли продолговатые каркасы, еще не подведенные под крышу остовы домов, стены которых собирались из двух тесовых стенок, между которыми засыпался толстый слой шлака... Валялись бревна, доски, но было очень мало щепы, стружек, обрезков: их тщательно подбирали и уносили жители.

Плотники, заинтересованные появлением двух машин сразу, посмотрели на гостей и продолжали работать. Одни обтесывали бревна, другие вгоняли тесины в пазы стояков, возводя стену барака...

— Самый первоначальный этап собственно строительства, — сказала Вера, кивнув на будущие бараки. — Бригады работают на основе социалистического соревнования.

Боясь, что американцы не поймут этот сложный термин, Вера пытливо взглянула на гостей.

— Здоровая конкуренция на русской почве, — сказал Гейбл.

— Но бригады — друзья. И они помогают друг другу, — пояснила Вера. — В этом смысл социалистического отношения к труду.

Уорфилд вспоминал прочитанное о России, в книгах ему встречалось и это многозначное определение — «социалистическое отношение к труду», чем так гордились советские руководители; но сейчас он видел плотников, нагнувшихся с острыми топорами над

бревнами, такую картину можно было увидеть и в годы освоения Америки первыми переселенцами из Англии, что было очень и очень давно, и он не мог понять, при чем тут «социализм» и «социалистический»? В трудную минуту хорошие люди всегда помогают друг другу, а плохие не помогают, стараясь урвать себе кусок побольше... При чем же тут громкое и столь любимое в теперешней России понятие «социалистический»?

Об этом Уорфилд и спросил у Веры.

Захаров и Мамин переглянулись. Они не понимали, о чем именно идет речь, но догадывались, что этот американец спрашивает Соловьеву о чем-то непростом.

Надо сказать, что Вера — наверное, так же как и ее товарищи — не раздумывала над природой социалистического соревнования, усвоив со школьной и институтской скамьи основное: оно предполагает взаимопомощь, товарищество... Но ведь взаимопомощь, как говорит Уорфилд, действительно была свойственна хорошим людям всегда... Об этом знает, помнит и она.

Вера подумала и ответила:

— Мистер Уорфилд, мы бы хотели, чтобы в принцип человеческих отношений в труде вошли традиции именно хороших людей, а не плохих. Вошли в принцип, стали бы их основой! Вы не против этого? — Вера улыбнулась, открыв дужки белых мелких зубов.

— О-о! — воскликнул Уорфилд. — Я «за»!

— И вообще, — продолжала Вера, — социализм, о котором вы столько читали, мистер Уорфилд, по-моему, предполагает прежде всего узаконение в обществе отношений, свойственных именно, как вы говорите, хорошим людям. Но это возможно при известных социальных преобразованиях.

— Революция? — как о само собой разумеющемся спросил Гейбл.

— И революция, — ответила Вера.

Гейбл улыбнулся: ну конечно же!

— Я вас отнюдь не агитирую, мистер Гейбл... Что же вам еще показать?

Вере подумалось, что смотреть больше нечего: сарайчики, клуб, строящийся дом, что же еще?

— Вера Леонидовна, — вмешался Мамин, — скажите им, что за люди строят дома, как они работают. — И сразу же обратился к

американцам: — Никто на стройке не ограничивается нормой. Все стараются дать сверх...

Мамин повел гостей за собой, желая показать этих обыкновенных и в то же время особых людей. Уорфилд, когда перешагивали через бревна, осторожно и элегантно поддерживал Веру за локоть. Вера каждый раз наклоняла голову, благодаря. Ее трогали забота и внимание пожилого корректного человека. Подумала, что эти иностранцы, видно, привыкли уважать женщину, ухаживать за ней, если даже она занята их обслуживанием, и почувствовала еще большую симпатию к случайным гостям из далекой Америки. За последнее время никто из своих не оказывал ей таких мелких, но приятных знаков внимания... Да и раньше... Могли отдать за нее жизнь, пойти вместо нее на задание... Когда готовили взрыв немецких эшелонов, старались уберечь Веру, отвести в этой операции роль, выполняя которую она меньше всего рисковала бы жизнью... Да, делали и могли сделать для нее многое, а вот такие, на первый взгляд, пустяки — о них как-то не думали...

Мамин меж тем привел гостей к Латохину, который, как и некоторые другие строители клуба, работал уже «на бараках». С гордостью представил американцам:

— Сталинградец... Защищал Сталинград...

Уорфилд первым протянул Сергею руку и крепко пожал ее:

— Впервые вижу участника этой небывалой по своему значению и масштабам битвы. Очень рад!

Гости с интересом рассматривали щуплого Латохина, дотом Гейбл потащил всех фотографироваться на фоне стройки.

— Пусть только карточки пришлют, — сказал Латохин после того, как Гейбл сделал несколько снимков.

Гейбл взглядом спросил Веру: о чем он говорит?

Вера перевела, и гость обещающе улыбнулся.

Со стройки проехали по городу — в один конец, в другой... До сих пор еще это была печальная картина — холмы кирпича, печи с торчащими трубами, норы землянок...

— Россия может продавать эти кирпичи, — сказал Гейбл. — Завертывать в целлофан и продавать как сувениры. Их купят все, кто помнит, что решалось на ее полях.

Как ни понравилась ей оценка роли России в войне, Вера заметила:

— Не только на полях. В городах, селах. Это, как видите, не только поля, но и бывшие города и деревни. Как бы вам перевести... Пустыни, оставшиеся от городов... И продавать не надо... Мы бы давали эти кирпичи-сувениры бесплатно, дарили бы всем, кто действительно понимает и навсегда запомнит, что здесь решалось и сколько людей полегло в борьбе за избавление мира от фашизма.

— Дарили? Вам не осталось бы и сотни, чтобы печь в землянке сложить... — заметил Гейбл.

— Но разве у вас так много людей, которые действительно хорошо понимают, что́ здесь происходило? — спросила Вера.

— Не знаю сколько, — сказал с сознанием превосходства Гейбл, — но в городе наверняка не осталось бы ни одного кирпича.

В колхозе за Бережком строили скотный двор, ремонтировали веялку. Всё это объехали за несколько минут.

Вера удивилась, что так быстро все осмотрели и что, по существу, больше не на чем остановиться, нечего показать. Тогда она рассказала о том, как освобождали этот город, как здесь боролись подпольщики и партизаны, как немцы, оставляя его, угоняли жителей на запад.

Гейбл записывал.

— Вы были партизанкой? — спросил Уорфилд, теперь с особенным любопытством рассматривая Веру.

— Да, воевала.

— Ваш муж? — продолжал Уорфилд.

— Муж? — Вера помолчала. — Он не вернулся. Пропал без вести.

Джек Уорфилд кивнул, закрыл глаза, он искренне соболезновал этой красивой, умной женщине.

Машина уже шла по отлогому берегу реки о кустами ивняка и склоненными к воде ракетами.

— Кстати, — заметила Вера, — здесь недалеко место расправы фашистов с советскими людьми. Не угодно ли?

— Проехать туда? — спросил Гейбл.

— Да, — сказала Вера. — Осталось несколько километров.

— Как вы думаете, Гейбл? — спросил Уорфилд.

— К сожалению, время торопит нас обратно, шеф.

— Жалко, — сказала Вера. — Очень жаль. Там лежат те, кто ждал открытия второго фронта, но так и не дождался.

— Сильно сказано, — заметил Гейбл. — Танки, да? — Он указал в поле.

— Да, — ответила Вера.

Автомобили свернули с дороги, покачиваясь, подбрасывая пассажиров, помчались к черным танкам с торчащими стволами пушек. По огромному полю было рассеяно десятка полтора-два мертвых машин.

Это был величественный памятник отгремевшему сражению стальных чудовищ... Группами и по одному «тигры», «пантеры», полусожженные, с разорванными гусеницами, подбитые, вросли в землю. Автомобили проехали полкилометра, километр, и, сколько ни расширялся горизонт, гости замечали новые танки, самоходные орудия, бронетранспортеры, автомобили...

— Техника... — сказал мистер Уорфилд. — Она видна. Но сколько здесь жизней и крови, храбрости и бессмертия... — Мистер Уорфилд снял шляпу. Гейбл последовал его примеру.

— Остановите, — сказал Уорфилд, когда проезжали мимо русского танка.

Мистер Уорфилд первым вышел из машины, помог выйти Вере. У танка не было одной гусеницы. Люк распахнут, и на нем лежал слой пыли.

— Экипаж этого танка сражался до последнего снаряда, — стала рассказывать Вера. — Когда кончились снаряды, танкисты вышли из машины и дрались врукопашную... Похоронены они вон там, в деревне. — Вера кивнула головой в сторону деревеньки. — Там есть очевидцы боя.

Мистер Уорфилд снял шляпу.

— Эти места достойны паломничества людей со всех краев света, миссис, — сказал он, обращаясь к Вере как к полномочному представителю народа, совершившего здесь чудо, проливавшего кровь во имя счастья — своего и других. Это преклонение сквозило в его топе, выражении лица и особенно во взгляде. В руках он держал шляпу, и слабый ветерок шевелил его легкие с серебром волосы.

— Благодарю вас. — Вера поклонилась, принимая это преклонение перед ее народом и выражение благодарности ему, и,

помолчав, настойчиво добавила: — Отсюда совсем близко до лагеря смерти.

Уорфилд взглянул на своего спутника, ожидая ответа. Сам он, очевидно, был склонен, даже более того — считал необходимым, посетить эти священные места. Озабоченный Гейбл, употребляя идиомы и жаргон, конечно, недоступные Вере, сказал:

— Не забывайте о своем желудке, Уорфилд. Ваше время... — и показал на часы. — И не думайте, что в этом городе, как и на сто километров вокруг него, есть что-либо похожее на приличный туалет. Вернемся в салон-вагон... — И, обратившись к Вере, сказал: — К сожалению, мы спешим...

— О да, — согласился мистер Уорфилд.

Поехали обратно.

Прощались с гостями у райкома.

— Вы восстановите город, — говорил Уорфилд Захарову. — Я верю в это. Русские — удивительный народ. Самое главное — понять их. Что касается меня, то я своими скромными силами буду стараться способствовать этому. Две великие нации, выступающие сейчас спасителями человечества, должны прийти к полному взаимопониманию. Мы ценим ваши усилия.

И далее Уорфилд говорил о том, как велики эти усилия. Выходило, что русские чуть ли не заслонили собой Америку от агрессора...

Вера переводила. Захаров внимательно слушал, лицо его оставалось невозмутимо-строгим. После того как мистер Уорфилд закончил свою краткую речь, Захаров крепко пожал ему руку и поблагодарил. Мамин приятно улыбался столь великодушному гостю. Гейбл стоял, по-прежнему заложив руки в карманы пальто, хотя что-то в его позе было от желания подчеркнуть значительность момента и речи шефа.

Когда прощались, Уорфилд задержал Верину руку в своей и сказал:

— Я признателен вам. Вы — очаровательная женщина. — Он поцеловал ее руку. — Искренне желаю, чтобы ваш муж, который, несомненно, вернется, нашел вас именно такой.

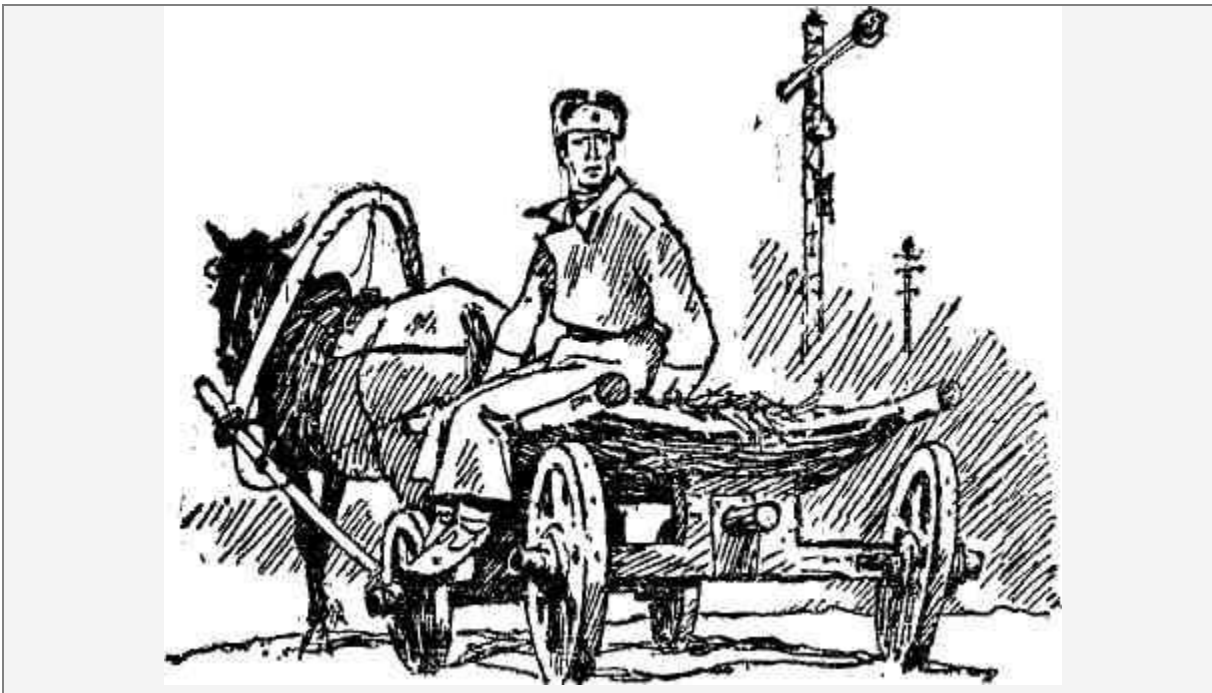
— Он не вернется, — сказала Вера, неожиданно для самой себя вдруг окончательно осознав это.

— Почему вы так думаете?

— Кому-то нужно было, как вы говорите, спасти человечество, рискуя не только машинами, свиной тушенкой, но и своей жизнью, мистер Уорфилд. Он не вернется. Не вернется, — упрямо повторила она с какой-то отрешенностью и неожиданным, странным для самой себя облегчением: теперь не на что больше надеяться, нечего томительно ждать. Эта встреча с людьми из-за океана, эти минуты, проведенные бок о бок с ними, невольно позволили ей как-то реальнее представить себе картину борьбы... Николай не вернется. Убит. Война же ведь, какая война! И в ней мы выступали, по существу, одни, один на один с Германией, пущенной фашистами по пути преступлений.

Автомобили тронули с места и сразу набрали большую скорость. Мистер Уорфилд и мистер Гейбл спешили в теплый салон-вагон.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ



1

Два дня Степанов по заданию райкома партии ездил по деревням и селам выступать с сообщениями о победах нашей армии. Всегда в таких поездках, раньше я теперь, главным оказывалось не собственно сообщение, как бы серьезно оно ни было, а ответы на многочисленные вопросы. Когда кончится война? Когда, наконец, союзники начнут оказывать более действенную помощь?

Иногда Степанову задавали вопросы курьезные, к примеру: правда ли, что у Гитлера есть двойник? И правда ли, что этот двойник умнее его?

Возвращаясь через железнодорожный переезд, Степанов увидел такое, отчего пришел в негодование. Неподалеку от переезда, почти у самой станции, стояла платформа со строевым лесом. Стояки были сломаны, большая часть бревен слетела на землю, и вчерашний (а

может, и более ранний!) дождь успел их забрызгать коричневой землей и песком... Это в городе, где на вес золота каждая щепка!

Степанов погнал лошадь в стройтрест. Оказалось, что Троицын заболел. Мамина на месте не было. Оставался, как всегда, райком. В кухоньке-приемной сидела Вера, дожидаясь Захарова, который должен был подойти с минуты на минуту.

Вера к сообщению Степанова о неразгруженной платформе отнеслась внешне спокойно:

— Все мы научились возмущаться безобразиями, и я тоже...

— И ты — о платформе?

— Да, о ней. И все бежим в райком...

Входная дверь открылась, и быстро вошел озабоченный Захаров. На приветствие ожидавших его лишь кивнул, и у них создалось такое впечатление, что он и не распознал, кто именно его ожидает.

Вера и Степанов переглянулись.

— Ты, что ль, пойдешь? — спросила Вера. Ясно, что и одному-то у секретаря райкома делать нечего, если не предложить чего-нибудь дельного.

— Пойду... — неуверенно ответил Степанов, совершенно не представляя себе, как и о чем он будет говорить с Захаровым, чтобы не выглядеть просто очередным информатором.

Секретарь райкома уже сидел за столом и что-то писал. На минутку оторвавшись от работы, поднял голову:

— А-а, Степанов... Пришли отчитаться о командировке? — И Захаров кивнул на стул: садитесь, мол. — Я сейчас...

«Бог мой! — вспомнил о ней Степанов. — Я же действительно должен хоть несколько слов сказать о своей поездке!»

Кончив писать, Захаров, вместо того чтобы выслушать Степанова, заговорил с ним сам как с человеком, который поймет его лучше других:

— Как, Михаил Николаевич, бывают, по-вашему, безвыходные положения или нет?

Вопрос был совершенно неожиданным для Степанова. Он пересел за стол и не сразу ответил:

— По-моему, нет, Николай Николаевич...

— Хм... Хорошо... Одну платформу не сумели вовремя разгрузить, а тут через четыре дня придут еще пять — с кирпичом,

железом, стеклом... Троицын болен, оба шофера призваны в армию, треть рабочих тоже вышла из строя... Вы, случайно, на фронте не шофером были?

— Минометчиком... — ответил Степанов, а сам подумал: «Он уже в курсе дела...»

— Жаль... Нужны шоферы...

И оба замолчали.

Затруднения возникали каждый день, если не час, но это, пожалуй, было одним из самых больших и досадных: материал есть, а строить нельзя! В деревнях и селах лес возили на буренках, но в городе сейчас не было ни одной коровы, хотя до войны держали их многие, особенно те, кто жил на окраинных улицах. Что делать? Опять та же мысль: звать на помощь солдат из воинской части? Но за чем уже только не обращались в воинскую часть? Не просили, пожалуй, лишь «катюш» и птичьего молока...

Собственно, заниматься такими вопросами, как обеспечение разгрузки, шоферами, у Захарова не было возможности: не хватало ни сил, ни времени. Но сейчас был случай особый: почти сразу — шесть платформ. Эту очередную трудность Захаров воспринял как некую нелегкую задачу, которую во что бы то ни стало нужно решить. Выход непременно будет найден, но какой именно?

— Невозможно, Михаил Николаевич, выжить, не умея смотреть на некоторые трудные дела как на самые интересные.

Зазвонил телефон в коричневом ящике. Захаров снял трубку.

По нескольким коротким фразам, оброненным Захаровым, Степанов понял — на проводе была область. Разговор шел о хлебозакупках. С Захарова, видимо, требовали зерна больше, чем было намечено... «Надо!»

Ух, как умели разговаривать на том конце провода! Захаров тяжело вздыхал, слушая, суровел, но отвечал, ни разу не изменив уважительного тона, не повысив голоса.

Что можно было возразить? Захаров сказал, что завтра он доложит новые цифры, и положил трубку. С полминуты сидел молча, потом стал листать тощее «Дело». Еще более озабоченный, взглянул на Степанова, словно припоминая: «А он здесь к чему?»

Взгляд этот удивил Степанова: словно всего несколько минут назад и не говорили о платформах со стройматериалами и тем более об

отчете о поездке... Захаров весь ушел в себя, поглощенный другим и более важным...

Наконец Степанов нарушил молчание:

— Николай Николаевич, вам сейчас не до стройматериалов... Я переговорю с Туриным, думаю, что райком комсомола возьмет это на себя...

— Что?.. Ах, хорошо бы! Значит, еще пять платформ через четыре дня. Пожалуйста, Михаил Николаевич, возьмите на себя... — обрадовался Захаров, не скрывая облегчения. — Дела!

Захаров встал и протянул Степанову руку.

Идя в райком комсомола, Степанов думал о том, что вдвоем с Туриным они сегодня же наметят мероприятия: что делает райком комсомола, что стройтрест... Если нужно будет, в поисках рабочей силы обойдут все землянки и сарайчики... Метод не новый, но что придумаешь другое? И Ваня, с его организаторскими способностями, конечно же блеснет ими в этом сложном деле...

Но оказалось, Турина в городе не было: уехал на два дня в Ружное и Ревну.

— Хлебозакуп... — только и ответил Власов, не ожидая вопроса Степанова.

Но Степанов уже знал: где два дня, там может быть а три, и четыре... И вернется Турин измотанным до предела...

«Придется все начинать одному...»

Но с чего и как, он пока не знал.

2

В столовую Степанов попал поздно. И вот, когда ушли все, Евгения Валентиновна Галкина, явно затягивавшая обед, под села к Степанову:

— Михаил Николаевич, я хочу с вами поговорить... Скажите, это верно насчет вашей ученицы?

— Какой ученицы?

— Относительно девочки Наташи... Вашего ответа на ее непростой вопрос?

Степанов припомнил разговор в школьном коридоре, отчетливо увидел сгорбленную фигурку остроносой некрасивой девочки в чулках без ботинок, сидящей на груде поленьев, вспомнил, что предлагал свои сапоги, и самым последним всплыл в памяти ее недетский вопрос.

— Да, да... Она интересовалась, простите, таким понятием, как «шлюха».

— Вот, вот! — Галкина помолчала и, покусав от чувства неловкости нижнюю губу, спросила: — Михаил Николаевич, а вы не находите, что ваш ответ на ее вопрос был несколько, если не ортодоксален, то по крайней мере неосторожен?

— Ортодоксален?

И это говорила ему та самая Галкина, которую он считал ортодоксальным и односторонним человеком? Та самая?..

— Не понимаю вас, Евгения Валентиновна!..

— Да вы хоть знаете, что произошло в вашем классе? Знаете?

— Нет...

— Как же так?!

— Виноват, хотя и не осведомлен. — Претензии Евгении Валентиновны показались Степанову чрезмерными, и он не упустил случая съязвить. — А в чем дело?

— Вчера произошло весьма неприятное событие. Ваша эта девочка... Наташа и мальчик Калошин...

— Леня? — уточнил Степанов.

Леня Калошин был одним из самых старательных и способных учеников. Степанов считал, что Леня оттаял не без его помощи. Удивляло, с каким упорством, буквально стиснув зубы, преодолевает трудности этот мальчик и учится, учится... Ни одной жалобы, никаких ссылок на обстоятельства... Как будто живет в хорошем доме, в нормальных условиях. Ведя урок, Степанов выверял его доходчивость, чаще всего поглядывая на Леню Калошина: понятно? Не понятно? Нравится? Не нравится? Ему трудно было представить себе класс без Калошина. Не будь Лени, заниматься стало бы трудней...

— Да, Леня Калошин... Вместе с Наташей они как-то нашли на пожарище коньки... Коньки Ленины, и он долго их искал...

— Не сумели поделить?

— Слушайте, слушайте... Калошин спросил, умеет ли Наташа кататься. Та ответила, что не умеет. Тогда Калошин попросил отдать

коньки ему, тем более что они его. Так эта девочка, Михаил Николаевич, заявила, что коньки не отдаст, хотя кататься не будет и учиться кататься тоже не будет. Мальчик обиделся, но промолчал.

— Да, эта девочка не простая...

— А несколько дней назад, — продолжала Галкина, — Калошин снова попросил отдать ему коньки, которые Наташе совершенно не нужны. Девочка сказала, что не отдаст. Тогда Леня заметил, что это не по-человечески вообще, а в условиях их города трижды не по-человечески, а по-фашистски. Наташа, вспыхнув, ответила, дескать, не Лене говорить о фашистах, потому что его брат — сын фашиста, а мать — фашистская шлюха, и еще кое-что в этом роде...

Степанов вспомнил тот день, когда, придя в класс, почувствовал неладное. Вспомнил и разговор с Леной на пепелище о его матери.

«Мать у меня болеет...»

«Не тиф, надеюсь?»

И уклончивое: «Нет, не тиф...»

Выходит, Леня все знал, все понимал и молча нес непосильную для ребенка тяжесть беды и позора, а он, Степанов, посчитал его судьбу благополучной и даже ни разу не зашел к нему в землянку, когда мальчик жил уже с возвратившейся матерью... Ведь Леня не пропустил ни одного занятия, никогда не опаздывал, всегда справлялся с уроками...

— Ребята вступились за Калошина, — продолжала Галкина. — Быть может, ничего бы дальше не произошло, если бы не ваши, Михаил Николаевич, неосторожные, скажем так, слова, которых, по совести говоря, я от вас никак не ожидала...

— Что я сказал?.. — припоминал Степанов. — Я сказал Наташе, что это слово грубое...

— Но заслуженное?

— Да...

— Вот видите! Вы почему-то не поинтересовались, идет ли речь вообще или о каком-либо конкретном человеке, а конкретный человек этот, как говорят, достойная женщина, с которой случилась беда... И вы, Михаил Николаевич, рубите вдруг с плеча топором!

— Это не так... Не так, Евгения Валентиновна... Я настойчиво пытался узнать: вопрос вообще или о ком-либо конкретном. Но она сказала, что просто так спрашивает...

— Михаил Николаевич, дети просто так не спрашивают. Всегда за вопросом стоит нечто конкретное: случай, факт... Всегда!

— Это верно...

Галкина помолчала, готовясь к самому неприятному в разговоре.

— Но это еще не все... Вы сами не знаете, как велико ваше влияние в городе! И вот девочка, когда одноклассники стали ее укорять, заявила: «Я права, а не вы. Права потому, что так думает и наш Михаил Николаевич!» Леня Калошин обвинил Белкину во вранье: «Наш Михаил Николаевич не может так думать!» — и ударил ее. Началась драка... А потом какая-то другая девочка, которая была в коридоре, подтвердила, что Белкина не врет... Мальчик не мог заниматься, его отвели в землянку. Матери не было, но, когда она вернулась, видимо, выпытала о причинах драки.

Степанов сидел озадаченный. Словно издалека слышал он голос Галкиной:

— Мать Лени собрала вещички, взяла ребенка и решила уехать в Бежицу, к сестре...

— Уехала? — сдержанно спросил Степанов.

— Соседи отговорили... Да и Леня стал у двери и не пускает мать...

— Спасибо, — сказал Степанов и поднялся.

Галкина ожидала всего чего угодно, только не этой лаконичной концовки разговора и недоуменно посмотрела на Степанова.

— Благодарю вас, — повторил он, оделся и вышел на улицу.

Галкина положила руки на стол, сцепила пальцы и задумалась.

Мальчики и девочки, учившиеся в школе, как и взрослые, пережили чрезмерно много. И жизнь раньше времени вооружила их житейской мудростью и даже стариковской осмотрительностью. Кто был пособником ненавистных оккупантов? Конечно же, полицаи, старосты и другие предатели, которых давно постигла суровая, но заслуженная кара. Как будто все ясно... Но вот соседка тетя Нюша стирала немецкому офицеру белье и получала за это деньги и продукты... А соседка напротив, у которой уцелела корова, продавала немцам молоко... Возьмет какой-нибудь неумный и недобрый человек и скажет теперь: «Пособники!» А ведь это не так. В оккупации надо было как-то продержаться, чтобы выжить...

И вот безмолвно сложившееся товарищество много перестрадавших людей сотрясает происшествие в школе. И настораживает: если сегодня можно вот так оскорбить одну и не заметить этого, значит, завтра можно оскорбить другую, третью и усугубить и без того сильное у некоторых чувство вины неизвестно за что...

Но почему же он, Степанов, ничего не знал, что произошло у Лени? А мог бы знать! Должен был знать!

Никто из горожан ничего не скажет ему в упрек, но и не простят. И правильно! Это только доказывает, что люди сохранили в себе, пронесли через унижения, бесправие и муки оккупации все человеческое. Досадно было одно: он совсем не хотел обижать кого-либо, ответил на вопрос как бы абстрактный, а жестокий ответ пришелся на живого человека!

3

Вера решила навестить Пелагею Тихоновну: давно у нее не была, да и часок-другой свободный выдался. Но случилось так, что сама Пелагея Тихоновна заглянула в подвал, где жила Вера.

Чуть ли не каждый день навевалась Пелагея Тихоновна в райком партии, хотя, казалось бы, зачем сыну, останься он в живых, писать на адрес райкома?.. Она утешала себя тем, что он не мог знать, что их дом остался цел, а сама она, слава богу, вернулась.

В райкоме ее уже хорошо знали, и сегодня тоже, едва Пелагея Тихоновна показалась в дверях, инструктор, молодая женщина, отрицательно покачала головой: «Нет... Нет... Нет...»

Тем не менее Пелагея Тихоновна подошла к столу и, тяжело вздохнув, начала — в какой раз! — перебирать треугольники и конверты; некоторые из них уже были порядком замызганы.

— Нету... — убедилась Пелагея Тихоновна, но не ушла, а опустилась на табуретку. — А твой пишет? — спросила у инструктора уже на правах старой знакомой.

Не отрывая взгляда от бумаг, которыми была занята, инструктор ответила:

— Все мои мужья на фронте... И ни один не пишет...

— Что говоришь-то? — удивилась Пелагея Тихоновна.

— Не успела я мужем обзавестись... Воюет мой суженый-желанный... Вот так-то, Тихоновна... А ты, случайно, не знаешь, Клецова вернулась?

— Которая? — Половина Дебрянска была из Клецовых и Калошиных...

Взяв конверт, инструктор прочла:

— Татьяна Михайловна.

— Господи! — спохватилась Пелагея Тихоновна. — Как же я не заметила письма! Говорят, вернулась...

— А мы не можем ее найти.

— Дай-ка мне... — Пелагея Тихоновна решительно взяла конверт. — Найду. Не иголка в стогу.

Почти каждый день Пелагея Тихоновна находила адресатов одного-двух писем. Но бывало и так, что, как ни старалась, как ни билась, найти кого-либо из близких не удавалось. Погибли? Угнаны в Германию? Еще не вернулись? Распроклятая доля сталкиваться еще и с горем чужим! Но бывает ли горе чужим?

Но зато сколько радости выплескивалось на Пелагею Тихоновну, если письмо от мужа, брата или сына попадало к нетерпеливо ждущим родственникам! Ее обнимали, целовали, пробовали угощать, делились последним...

Танюха Клецова, дородная, не в меру полная женщина, с громким голосом и, как ни странно, спорая в работе и скорая на руку — вклеить непослушному сыну подзатыльник, огреть прутом поросенка, — раньше жила на улице Урицкого. Где теперь? Пелагея Тихоновна обошла ее знакомых и узнала: в подвале на Остоженской. Там она ее и застала.

— Мне?.. — неуверенно спросила Танюха, когда Пелагея Тихоновна протянула ей треугольник. Она его развернула, но читать не могла: голова начала дрожать, буквы расплывались, и, как ни пробовала, разобрать, кроме обращения и подписи, ничего не могла. Конечно, ее уже окружили жильцы.

— Жив... Жив... Сыночек жив... — твердила Танюха и попросила добрую вестницу: — Прочитай...

Письмо было бодрым, но сын Танюхи не столько писал о себе, сколько спрашивал о родных и их судьбе. Цел ли дом и сад? Где

устроились, если он сгорел? Как себя чувствуют? Сколько хлеба в день дают?

Танюха вдруг присела на койку и обмякла:

— Что же я ему напишу? Ведь ничего не осталось... И где ж он теперь? Может, и близко где... — Она тихо заплакала.

— Вот что, — неожиданно для себя сказала Пелагея Тихоновна. — Никаких слез в письме! И так ему лихо! Отпиши, все, мол, хорошо! Хлеба хватает... Люди помогают... Здоровье еще ничего... Надеемся на скорую победу... Бей их, гадов! И поскорее возвращайся... Поняла?

— Верно... Верно... Нечего ему душу кислотой травить... — согласилась Танюха. — Жив! Живой!

Уходя от Танюхи, Пелагея Тихоновна заглянула за занавеску, где жила Вера, и потащила ее к себе.

Дом и двор Пелагеи Тихоновны стоял в том захолустном окраинном месте, которое обошли злостный огонь и взрывчатка.

Некоторые сотрудники финансового и земельного отделов райисполкома, которому Пелагея Тихоновна сдавала комнаты, сначала и спали в них — на своих столах и прямо на полу. Потом постепенно попристроились кто где: один, что побойчее, нашел в Орасове молодую вдову, у которой и ночевал; другой ушел жить в сносный сарайчик... Оставался ночевать лишь тощий пожилой человек с впалыми щеками, Елисеев, да и то не всегда — его часто посылали в район с различными поручениями.

Работники райисполкома не тронули ни фикусов в кадках, ни картинок в рамках — «Ласточкино гнездо», «Лунная ночь», ни фотографий: пусть висят, даже как-то уютней — напоминает потерянный дом и семейную жизнь.

В первые дни по возвращении в город Вера часто оставалась ночевать у Пелагеи Тихоновны.

Ночь... Тихо...

За стенами дома — разоренный, почти уничтоженный дотла, но свой — без немцев — город. На кухне — две койки. На одной — Пелагея Тихоновна, на другой, принадлежавшей Николаю, — она, Вера. В комнатке Николая — столы финотдела. Заняли и стол Николая.

А его самого нет... И от этого пусто в душе, пусто в доме, даже если и толкнутся здесь пришедшие по делам люди.

В такие ночи Пелагея Тихоновна, случалось, вставала и подсаживалась к спящей Вере. Еле угадывая в темноте руки и лицо, подолгу смотрела на неожиданно объявившуюся невестку и порою, не выдержав, осторожно и ласково касалась потрескавшимися пальцами любимой сыном женщины.

Потом вернулась в город Верина мать и Вера стала ночевать у Пелагеи Тихоновны все реже и реже — мать хворала. Затем окончательно перебралась в подвал.

В этот вечер конторщики, как называла Пелагея Тихоновна работников райисполкома, уже разошлись, а Елисеева, как обычно, куда-то послали.

— Долгонько не была, — сочла нужным заметить Пелагея Тихоновна. — Долгонько...

— Да, Пелагея Тихоновна, давно.

— Возвращаются, приходят, да только не мой Николай, — вздохнула Пелагея Тихоновна. — Сгинул... Сгинул...

Вера сейчас не знала, что ответить. Обычно говорила, что, мол, всякое бывает... Ведь действительно возвращаются и находятся даже те, кто не раз был оплакан, кого уже похоронили... Но с каждым днем надежды на возвращение становилось все меньше и меньше. Вера, собственно, уже не надеялась на возвращение Николая. Но что сказать его матери? Лгать во имя утешения? Чуткая ко всякого рода фальши, Вера ответила:

— Возвращаются, Пелагея Тихоновна, надо ждать. Но я уже не надеюсь, как раньше...

Она смотрела на мать Николая: сейчас укоризненно покачает поседевшей головой или скажет что-нибудь не без упрека: «Как это не надеяться? Перегорело в сердце? Стала забывать?..»

Но Пелагея Тихоновна не обиделась, не удивилась.

— Да, да... — после молчания бесстрастно проговорила она. — Дай я тебя чайком угощу, Верочка.

Вера не отказалась от сладкого чая и хлеба, угощения в этих условиях щедрого: все равно Пелагея Тихоновна настоит на своем. Не побаловать гостя, родного человека хотя бы чаем?.. Как же это можно? И Пелагея Тихоновна угощала, часто отдавая последнее. Вера тоже

старалась принести ей что-нибудь из съестного посущественнее: граммов сто сливочного масла, сахара... Ваня Турин, вернувшийся из очередной поездки, как-то преподнес ей и Козыревой по кусочку ветчины. Потом Вере удалось совершенно случайно выменять на кофточку фунт сала. И этим богатством поделилась Вера с Пелагеей Тихоновной.

— Сейчас я взогрею. — Пелагея Тихоновна ушла на кухню, а Вера оглядела знакомую обстановку и закрыла глаза.

Пелагея Тихоновна принесла побитый жестяной чайник, с которым она вместе с другими горожанами проделала крестный путь до Погар и обратно, принесла две чашки, накрыла на стол.

— Эх, Верочка, Верочка, пей, милая... Что есть...

— Спасибо, Пелагея Тихоновна...

Пелагея Тихоновна держала блюдце на растопыренной пятерне, подносила ко рту и втягивала глоток-два горячего, обжигающего чая. От сахара откусывала крохотные кусочки мелкими, удивительно белыми зубами. И вдруг тихо проговорила:

— погоди, Верочка, еще немножко да выходи, милая, замуж...

Вера поставила кружку на стол.

— Пелагея Тихоновна... — В растерянности она не знала, что сказать.

— Не обижайся, я старше тебя. Не во всем глупее.

— Я не об этом... Не думала я ни о каком замужестве...

— Верю, знаю. Ты такая. А все же подумай.

— Что вы, Пелагея Тихоновна!

Но Пелагея Тихоновна либо не слышала возражений Веры, либо не хотела принимать их в расчет:

— Вон Степанов-то, Миша, ходит неприкаянный. Раненый, побитый войною... Ты одна, он один. Я же знаю, как вы дружили... На вас все смотрели и говорили: пара!

Вера закрыла глаза: боль слепила. И казалось бы, неожиданная боль.

— Зачем вы об этом, Пелагея Тихоновна?..

— Вот видишь! Не забылось...

Вера опустила голову, ладонью охватила лоб. Молчала.

— Не обижайся, Верочка, послушай, что скажу. Отец — один, мать — одна, а вот жены и мужья... Мало ли что в жизни бывает... Я

тебе, Верочка, счастья хочу.

Горькие слова... Но что случилось, то случилось: сына нет. Пропал. Сгинул. И она, мать Коли, давала его жене Верочке, которую успела полюбить, добрый совет.

Они попили чаю, поговорили о делах в городе, о положении на фронте и взятых нашей армией городах.

— Вот, Верочка, Гомель на днях наши отбили... У меня ж там сестра, племянники. Живы ли? Написала, вот жду. Все жду и жду...

— Да, все, наверно, так, Пелагея Тихоновна. Даже если ждать некого. Мои тоже совсем покой потеряли, как наши вошли в Белоруссию. У нас ведь в Минске тоже много родственников. У тетки там сын, он инвалид, не в армии, так она вон что учудила: написала письмо и пометила, что, мол, переслать в Минск, когда освободят. Чтобы, значит, как можно скорее до него дошло...

— Говорят, многие так делают. Да, материнское сердце никогда покоя не имеет... Сколько писем ходит по свету в поисках человека! А у людей подчас и адреса-то нет.

— Миша мне рассказывал, по радио передают письма, в которых люди разыскивают своих близких...

— Скорее бы у нас радио наладили! — вздохнула Пелагея Тихоновна. — Может, и Коленька отыщется... — И хотя она и сама прекрасно понимала, что прежде всего он приехал бы или написал сюда, в Дебрянск, эта неведомая им передача по радио добавила ей немножко надежды...

— Мне, пожалуй, пора. — Вера накинула свое пальтишко, застегнула надежный ремень.

Пелагея Тихоновна сидела за столом в прежней позе: руки сжаты, голова опущена. Надо было попрощаться, сказать ей что-нибудь хорошее. Вера подошла к столу:

— Пелагея Тихоновна. — Она погладила шершавые, сухие руки свекрови. — Пелагея Тихоновна, спасибо вам...

Пелагея Тихоновна вдруг взяла Верины ладони в свои:

— Слышишь, Верочка... Колю-то, говорят, видели в Хвалынском...

— Ох, Пелагея Тихоновна. Если бы видели в самом деле!.. — вздохнула Вера. — Ведь сколько раз это уже было.

Но Пелагея Тихоновна тоже знала об этом. Проходил слух: видели там-то, мелькнул здесь, шел в колонне... А потом ничто не подтверждалось. Знала и все же говорила:

— Сходи, Верочка... Я бы сама, да разве дойду? Сходи, милая...

Несчастливая мать забыла обо всем: о вольной, только что данной ею Вере, и о том, что и ждать-то вроде как бы нечего. Вдруг из Хвалынского потянется ниточка, которая приведет к счастью? Как же пренебречь хотя бы тенью надежды?

Вера молча, с состраданием смотрела на Пелагею Тихоновну.

Обычно все, что касалось Коли, говорилось в первую минуту их встречи, и Вера знала, почему сегодня сделано отступление от неписаного правила. Не хотела Пелагея Тихоновна больше связывать ее, Веру, с горькой судьбой сына. Выказалась, а потом не выдержала... Как она просила: «Сходи, Верочка... Сходи...»

Но идти совершенно незачем. Ни в Хвалынское, ни куда-либо еще. Пора перестать тешиться иллюзиями. Хватит! И Вера мысленно утвердилась в том, что открылось ей в минуты, когда провожали американских гостей: «Кто-то же должен был жертвовать не только свиной тушенкой, но и своими жизнями!»

Из происшедшего с Ниной Ободовой и Леной Калошиным Степанов сделал один вывод: шаблон в мыслях, невнимание к человеку, нежелание думать многолики, тянутся из века в век, меняя лишь окраску и форму, и их ни по чьему приказу не отменишь, из минометов не разобьешь и даже «катюшами» не прикончишь. Что-то в человеке должно быть сильнее минометов и даже «катюш». Надеяться больше не на кого. Только на человека! И он себе приказывал: «Ну вот и будь крепче и сильней!»

Утром Степанов вошел в класс бледный. В учительской Владимир Николаевич за минуту до этого спросил его:

— Не заболел ли, Михаил Николаевич?

— Нет, — ответил Степанов и — скорее в класс.

Ученики встали. Степанов удостоверился: Ира здесь, Леня Калошин здесь, Наташа Белкина здесь... Хорошо!

— Вот что, ребята, — приступил он. Глуховатый голос учителя сразу насторожил ребят. На Степанова смотрело четырнадцать пар глаз, четырнадцать душ широко распахнулось, чтобы принять в себя его добрые слова.

— Как по-вашему, полезно ли мучиться? — с неожиданной для самого себя улыбкой спросил Степанов. — Бывает ли лень совести и души?

— Зачем же мучиться, Михаил Николаевич? Мучиться не надо, — сразу же ответила Наташа Белкина. — А лень бывает разная-преразная. Умываться утром холодной водой разве не лень? Мука! Но умываешься. А за хлебом в драном пальто стоять, когда мамка болеет? Тоже лень. Но стоишь и мучаешься. Надо!

— Вот видишь? — подхватил учитель. — Не хочется, но приходится, потому что с самого начала ясно: надо! Но ведь бывает так, что сразу не понимаешь, сразу не все ясно. Допустим, приходит к тебе человек в беде, можно сказать, в крайних обстоятельствах, когда много нужно передумать самому и самому решить, что подсказать, как лучше помочь, а тебе от этих мыслей становится муторно, и ты отмахиваешься от них, как от надоевшей мухи. А потом с тем человеком случается беда. А ты ведь вполне мог ему помочь, если бы не поленился помучиться и поразмыслить.

Степанов сделал паузу: говорить было тяжело, и он, пожалуй, впервые испытывал подобное. А класс ждал и, Степанов видел, сочувствует ему. Вот это и облегчило разговор.

— Или, — продолжал он, — тебе задают вопрос, а ты, не вникнув, чем он вызван, отвечаешь по шаблону, о чем этому человеку уши прожужжали.

— Это он о Леньке, — громко прошептал кто-то.

— Без учения каждый день, без овладения знаниями, накопленными до нас, человек не может стать личностью. Так сказал Ленин... Человек учится с рождения: дома, в школе... Его воспитывает пионерская и комсомольская организации, газеты, радио, искусство... Но самое неистребимое в человеке — истина, добытая собственным опытом. Случилось так, что вы на деле познали немецкий фашизм. Разве можно себе представить, даже допустить на минуту, что кто-то

из вас когда-нибудь перестанет его ненавидеть и вдруг даже полюбит его? Дикая мысль! Это всем ясно. Человека от начала и до конца жизни обступает неисчислимое количество вопросов и проблем. На какие-то мы отвечаем, повторяя чужие слова, они нам кажутся правильными. Перед какими-то останавливаемся: надо поразмыслить... А если думать трудно, не хочется? Нельзя ли жгульничать перед самим собой?

— Как это?.. — вдруг раздался вопрос. Он вырвался у Вити Клецова неожиданно для него самого.

— А так, Витя, как я уже рассказал. — Степанов сделал паузу. — Помните, ребята, человек отвечает за все на земле, и, если он хочет приобрести подлинные знания о жизни, он не должен освобождать себя от раздумий, даже сомнений, душевных мук в поисках правды, точного, единственно верного решения. Стало мне однажды тяжело, и решил я облегчить себе жизнь, освободить себя от трудной работы — каждый шаг свой проверять собственной совестью. И вот: беды одного человека не разглядел, другого невольно оскорбил... Передай своей маме, Леня Калошин, что я прошу у нее прощения.

Леня Калошин поднял руку:

— Можно, Михаил Николаевич?

Уверенный, что Леня хочет задать вопрос, Степанов ответил:

— Пожалуйста...

Потеснив соседей, кому-то наступив на ногу, Леня выбрался из-за стола и выбежал из класса. Все проводили его взглядом. Дверь за ним захлопнулась, а ребята с возрастающей тревогой ожидали: должно произойти что-то еще...

Теперь уже внимание всех было обращено на Белкину. Озираясь по сторонам, девочка кусала полные губы.

— Думаете, побегу просить прощения? — недобро сощуриив зеленоватые глаза, спросила она. — Да? Не ждите!

Никто не ответил Наташе. Одни смотрели, узнавая ее с какой-то неведомой им стороны и удивляясь, другие — оторопело: и это при учителе? После всего, что сказал сейчас?..

И, чувствуя неодобрение и неприязнь класса, Наташа с вызовом повторила:

— Не ждите! И не подумаю...

— Никто, Наташа, не заставляет тебя просить прощения, — тихо и спокойно заметил Степанов. — Тем более что извинение из-под палки и не извинение вовсе, а так, незнамо что... Нет, мы не заставляем тебя бежать за Леной, но хотели бы знать, почему ты не хочешь извиниться перед ним?

Со всех сторон Наташа чувствовала недоуменные, неприязненные взгляды. Чувствовала даже спиной. Она постаралась придать лицу каменное выражение и, явно подражая кому-то, ответила:

— Убежал!.. Стукнул бы меня табуреткой по голове, если он такой правый! Вот и весь разговор, цирлих-манирлих... А то — бежать. Слабак!.. — И сразу остановилась: не слишком ли далеко зашла?

— Та-а-ак, — печально и тяжело протянул Степанов. — Наташа Белкина, ученица пятого класса дебрянской школы, высказалась. Кто согласен с Наташей, поднимите, пожалуйста, руки.

У девочки застыл взгляд. Стоявшая за первым столом, она могла только догадываться, что делалось у нее за спиной.

Ни одна рука не поднялась.

Наташа не удержалась: повела большими зеленоватыми глазами направо, налево... Все против нее!

— Как же так можно!.. — осудила Наташу Ира. — Леня столько перенес...

И снова — тишина...

Какие скрытые силы управляли Наташей? Кто и что кроме школы, новой обстановки в городе влияло на нее?

— Наташа, — спросил Степанов, — скажи, пожалуйста, а я, по-твоему, тоже человек слабый? Признался в ошибках, просил прощения. Разве сильные личности так поступают?.. Скажи откровенно.

Наташа все еще продолжала смотреть в угол. Нижняя губа ее мелко дрожала. Чего доброго, девочка разрыдается.

— Ладно, не будем сейчас об этом... — сказал Степанов. — А сейчас — объявление, и приступим к собственно уроку... Таких городов, как наш Дебрянск, ребята, десятки, если не сотни. Всем им без исключения страна протягивает руку помощи. Мы восстановили больницу, клуб, школу, построили детский сад, новый корпус больницы, пять барачков... Это только начало. Завтра на станцию прибывает новая партия строительных материалов. Их нужно срочно

разгрузить. Рабочих не хватает. Скажите всем, кто может помочь в этом, что учитель Степанов просит прийти в воскресенье на станцию. Только тем, кто может.

Когда уроки кончились и школа опустела, в коридоре показался Леня. Он заглянул в класс, где обычно сидел Степанов:

— Можно к вам, Михаил Николаевич?

— А-а, Леня... Заходи! — И Степанов поднялся навстречу мальчику.

Леня попятился и в нескольких шагах от учителя остановился. Степанов подошел к нему вплотную, тронул за локоть. Мальчик дрожал.

— Пойдем, Леня... Сядем...

Почему-то Степанов вспомнил, что в «его» школе вот так, вытянув руку, выставив ученика впереди себя, водил провинившихся к директору самый непопулярный и, к счастью, пробывший в школе совсем немного учитель биологии Богатых. Вспомнил и сейчас же отпустил локоть Лени, обнял мальчика за плечи.

Они сели, и Степанов, глядя на бледного, тоненького мальчика в рваном пальтишке, из которого он давно уже вырос, ужасался от сознания незащитности этого неокрепшего и уже много перенесшего существа. И вот одним из тех, кто совершенно бессознательно нанес ему удар, стал он...

— Замерз, Леня?

— Нет... — Леня вскинул на него взгляд и, преодолевая волнение, вдруг сказал: — Я сегодня убежал из класса, Михаил Николаевич... сам не знаю почему... Может, это нехорошо. Но я не против вас... — Он поправился: — Я хочу сказать, не из-за вас... — Запутавшись, он замолчал.

— Ну что ты, Леня, я все понимаю... Бывают минуты, когда человеку надо побыть наедине с собой, — пришел ему на помощь Степанов.

— Вот правильно, Михаил Николаевич, я хотел побыть один... — И вдруг с каким-то облегчением добавил: — А в школу я завтра приду! Обязательно!

— Вот и хорошо, Леня!

— Я пойду... — Но Леня не уходил. Видно, хотел сказать что-то еще и никак не мог решиться. Наконец проговорил: — А вы не расстраивайтесь, Михаил Николаевич! Не расстраивайтесь. Не надо...

— Нет, Леня, — твердо ответил Степанов, — бывают случаи, когда необходимо расстраиваться, чтобы в другой раз крепче думать, что делаешь и что говоришь...

5

После разговора с Леной Степанов еще долго не в силах был ни за что взяться, ходил по классу, стоял у окна, глядя на старый парк. Потом решил набросать список дел на завтра. Он мог начать заниматься ими с самого утра — уроков у него не было. Прежде всего надо найти Бориса Нефеденкова, сегодня в школе Паня сказала ему, что видела Бориса в городе. Потом продумать, как организовать воскресник, зайти к Мамину насчет машин, к Троицыну... Сама мысль о воскреснике возникла у него неожиданно, на уроке, когда он говорил с детьми об инциденте в школе... Ну хорошо, дети скажут кое-кому, в основном женщинам, те придут... А сил-то у них хватит?

Бригада грузчиков, состоявшая сплошь из девушек и женщин, как могла, разгружала товарные вагоны, платформы. А вот вывозить все эти грузы в город подчас было не на чем. Пакгаузов же на станции не осталось, хранить негде. Иногда приходило сразу несколько платформ, девушки не справлялись, платформы стояли неразгруженными, железнодорожное начальство рвало и метало, грозясь заслать груз в другой город.

Так случилось и на этот раз.

На какое-то мгновение у Степанова мелькнула мысль: «И черт дернул идти к Захарову! Сам и напросился на задание!» Но он сразу же отогнал ее и снова принялся мучительно искать выход. С какими предложениями он придет завтра к Мамину?

Степанов перебирал возможности — реальные, полуреальные и совсем фантастические... Но в том-то и беда, что порою фантастические казались ему легко осуществимыми, а реальные — фантастическими...

Что можно придумать еще, кроме уже не раз испытанного: обращения к населению и в воинскую часть? Что?!

И еще вопрос: пойдет ли народ в воскресенье?

В воскресные дни город обычно оживал. Сговорившись с владельцами тележек, по двое, по трое жители отправлялись на разживу. Одни — за дровами: подобрать сухие сучья, распилить на чурбаки поваленные бурей и войной деревья, на худой конец, подпилить усохшую невысокую елку или березу. Другие — в близкие и дальние деревни за картошкой, мукой или капустой. Меняли последнее, что оставалось из имущества, меняли сэкономленное жидкое мыло и кусочки сахара...

Неожиданно дверь в класс распахнулась, и Степанов увидел Веру и Власова, а за ними Латохина с Гашкиным. Он даже не слышал, как они прошли через парк, по крыльцу. Задумался!

— Принимай гостей, Миша! — вместо приветствия сказала Вера.

Степанов понял в один миг: пришли помочь... И собрала всех Вера!

Он осторожно, испытующе посмотрел на нее, но Вера ничем и никак не выдала себя.

— Разрешите присутствовать на совещании военного совета, — шутливо сказал Латохин, выступая вперед. У него осталось прежнее, еще школьное уважение к старшему, хотя фронт давным-давно уравнил их.

Степанов улыбнулся и предложил рядовому Латохину Сергею на совещании военного совета присутствовать.

— Вот что, — с ходу начал Латохин, подчеркивая, что совещание носит сугубо оперативный характер, — я пройду с Власовым по землянкам и сарайчикам и всех, кого можно, на воскресник вытащу!

— Первый воскресник... — заметил Степанов. — Я детям сказал, чтобы они тоже обошли жителей... Кое-кто, конечно, придет, но вот сколько? Хватит ли людей?

Вдруг из какого-то дальнего класса послышалось нестройное пение:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой...

— Хоровой кружок, — объяснил Степанов несколько удивленным товарищам.

Хоровой кружок стал неожиданно многолюдным. Спевки вела Паня. Искусства в пении еще было немного, но песня напомнила всем о многом: о первых днях войны, о проводах на фронт, об утратах и победах...

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Священная война.

— Значит, вы пройдетесь, — прервал молчание Степанов, обращаясь к Латохину и Власову.

— Ты, Миша, иди к Мамину и Троицыну, — сказала Вера. — Это же и их дело, а в воинскую часть я сама схожу.

— Самочинно? — спросил Степанов.

— Я выступала у них... Майор меня знает, а просить буду самую малость: хотя бы человек пятнадцать...

— Смотри, — предупредил Степанов, — влетит тебе от Захарова.

— Майор на меня ссылаться не будет. Мол, узнали — и сами!..

— Договорились, — подвел итог Степанов. — Все!

Когда стали расходиться, Степанов окликнул Веру. Она была уже у выхода. Остановилась, но распахнутой двери не закрыла. Слышно было, как, оживленно беседуя, удалялись Латохин и Власов, как стучал костылями Гашкин. С крыльца послышался голос Латохина:

— Вера Леонидовна! Где вы там?.. — Конечно же, ее хотели проводить.

— Идите! Сама доберусь! — откликнулась она.

Шаги и разговор затихли, только Паня заставляла хор повторять один и тот же куплет, исполнение которого почему-то не нравилось ей.

Степанов сказал:

— Твоя работа, Вера? Спасибо тебе...

— За что?.. Как же иначе? — почти без выражения, тихо ответила она и, подойдя к столу, села. Подперев голову руками и невидяще глядя впереди себя, грустно продолжила: — Вот ведь как получилось,

Миша! Ты не думай, что все забыто... Все-таки, это наша юность. Но люблю я Николая...

Они сидели и молчали, прочно связанные прошлым. Казалось бы, что теперь-то?.. О чем тут думать?.. Но вот, оказывается, сразу не поднимешься и не уйдешь. Степанов знал, что любит ее до сих пор, но, если бы каким-то чудом вернулся Николай, он, конечно, был бы только рад за него и за нее. Вера же, прекрасно понимая разумом, что никакой вины за ней нет и что в таких делах вины вроде не бывает, и думая, что Миша, видно, страдает (слово-то какое, господи!), нет-нет да и ловила себя на том, что все-таки она, как ни оправдывай случившееся властью неподвластных разуму чувств, — все-таки в чем-то перед ним виновата.

— Ну что же, Миша, надо идти. — Вера поднялась.

— Проводить тебя?

— Не надо, Миша...

Степанов долго с грустью смотрел вслед Вере. Помогать ближнему, делать ему добро, приходиться в тяжелую минуту на помощь — как умела это делать Вера! Не каждый так умеет и готов к тому. Ой, не каждый. Хотя считается, что доброта и отзывчивость в природе человека.

И Степанов, в какой уже раз, вспоминал своего фронтового командира. Ведь он был так еще молод! Сколько душевной щедрости, внимания к людям таил он в себе! Каким был справедливым и добрым! Вспомнилось, как однажды, после долгого ночного марш-броска, вышли они на какое-то заброшенное кладбище: могилы заросли травой, кресты почти все повалились, березы глушили его.

Едва лейтенант Юрченко скомандовал привал, Степанов, скрывая предельную усталость, опустился на первый попавшийся холмик.

— Подкрепись. — Командир уже протягивал ему ломоть хлеба и кусок сала.

Откуда он узнал, что силы бойца иссякают? Степанов старательно скрывал свое состояние, но это было так. Откуда же узнал? Значит, был внимателен и видел то, что незаметно другим... Внимательность и желание помочь... Мелочь? Как сказать... И что считать мелочью?.. И все же, почему он мог больше остальных? Да потому, прежде всего, что был богат совестью и состраданием, не пытался Иван Федорович

Юрченко облегчить себе жизнь. И еще потому, что никогда не боялся признаться в ошибке или незнании...

Утро у Степанова началось с неудач.

В стройтресте он узнал, что Троицын все еще болен, сильно простудился.

В райисполкоме застал одного Мамина, да и то, как говорится, за хвост поймал — его вызывали в область. О платформах Мамин уже знал, но сказал, что помочь ничем не может, так как две машины у него есть, а вот шоферов нету — обоих на днях призвали в армию, новых еще не нашли. Не было надежды и на Соловейчика (ох, как бы он пригодился сейчас!), его накануне увезли в больницу — тиф. Соловейчик — и тиф! Эти два слова так не вязались друг с другом в сознании Степанова, что он готов был не поверить. Но факт оставался фактом!

Райком комсомола был закрыт. Никого!.. С тех пор как он перестал быть местом жительства сначала для него, потом для Турина, не раз случалось, что на дверях висел амбарный замок, наверное, еще из имущества бывшего владельца дома. Все в разгоне: сельские организации требовали к себе внимания значительно большего, чем городские. Разъехались райкомовцы... Всех пораскидал Ваня Турин...

Степанов стоял в растерянности.

— Товарищ Степанов! Михаил Николаевич!

Степанов оглянулся. Игнат Гашкин прыгал к нему на своих костылях. Всегда, видя вот так скачущего Гашкина, Степанов испытывал чувство страха: упадет, черт! Он поспешил навстречу Гашкину.

— Как дела, Михаил Николаевич? Удалось что-нибудь сделать?

— Пока неважно, Игнат. Машины есть, шоферов нет.

Гашкин на минуту задумался, потом решительно сказал:

— Надо к дяде Мите идти. Он что-нибудь придумает! — И, кивнув на закрытую дверь райкома, спросил: — А вы небось к Ивану Петровичу. Он уехал. Позавчера еще...

— Послушай, Игнат, ты Нефеденкова не встречал? Говорят, он вернулся.

— Нефеденков-то? Вернулся. — И воскликнул с осуждением: — Ну и типчик этот ваш сумасшедший приятель! Не желает Нефеденков с товарищем Туриным даже здороваться!

— Как?.. А где это было? Он приходил в райком?

— Будет он приходиться в райком!..

Игнат Гашкин, уверенный, что наверняка знает, кто безусловно прав, кто безусловно виноват, рассказал о возмутившем его случае.

...Два дня назад Гашкин убедил Ивана Петровича неприменим пойти и посмотреть, как вселяются в барак семьи фронтовиков. Окончание строительства барака Игнат считал и личным достижением, чем немало гордился и что отнюдь не думал скрывать. Иван Петрович пришел, пришел Троицын, кто-то еще из начальства. Пришли соседи и знакомые новоселов — посмотреть и поздравить, а если нужно, и помочь. Можно сказать, только музыки не хватало... И вот в торжественную минуту, при стечении народа это все и произошло...

Откуда-то вдруг появился Нефеденков. Ваня Турин радостно бросился ему навстречу:

— Борис! Здравствуй!

Борис Нефеденков на глазах у всех прошел мимо Турина, словно его и не было. Ваня ничего не понял и опять:

— Борис! Здравствуй!

Нефеденков, не оборачиваясь, дальше, дальше своей дорогой. Все видят: секретарь райкома комсомола стоит и ждет, когда его изволят заметить, когда к нему повернутся, поздороваются... Но его не замечают, к нему не поворачиваются, с ним не здороваются...

— Так, — наконец вымолвил Ваня Турин. — Обиделся...

А кругом народ, все смотрят. Турин был и уязвлен, и растерян... Троицын сделал вид, что ничего не заметил, некоторые последовали его мудрому примеру.

— Скажи ты!.. — все же проговорил кто-то из новеньких в городе, провожая Нефеденкова неприязненным взглядом, в котором сквозило твердое убеждение, что, во всяком случае, с секретарем райкома следует обходиться по-иному. — Скажи ты!..

Слава богу, что в радостной суматохе и хлопотах вскоре забыли об инциденте.

— А где Нефеденков? — спросил Степанов Игната. — Живет где?

— Михаил Николаевич, про это ты у кого-нибудь другого спрашивай! — отмахнулся Гашкин и стал упрашивать: — Написал бы ты, Михаил Николаевич, в какую-нибудь центральную газету о нашем бараке, как в него семьи фронтовиков въезжали... Такой материал газеты охотно помещают... Я бы тебе все рассказал, а ты бы — заметочку!

— Ты и сам можешь не хуже других, Игнат. Карандаш в руку — и по бумаге... — Потом с улыбкой добавил: — А чтобы не запутаться в придаточных предложениях, пиши короткими фразами.

— Чего, чего?

— Пиши, говорю, короткими фразами. Это так называемый газетный стиль.

— Ты не шутишь? — подумав, спросил Игнат.

— Если и шучу, то все равно говорю истину. В газете любят лаконизм. Это сущая правда. И что писать короткими фразами легче — тоже правда.

Гашкин радостно хлопнул Степанова по плечу:

— Умнейший ты человек, Степанов! Ведь я же и спотыкаюсь всегда именно на этих длинных предложениях, черт бы их драл! А если короткие... Короткими я напишу. Короткими я смогу... Спасибо, Михаил Николаевич! Так до завтра, я побегу. Мне еще одну улицу обойти надо! А вы к дяде Мите все-таки сходите.

Степанов подошел к землянке-пещере в горе, где жила Евдокия Павловна. У двери он остановился, постучал. Ему не ответили. Но вот послышались шаги, что-то нащупывая, пальцы поскребли по тесине, щелкнула задвижка, и наконец дверь открылась.

Ничего не видно!

— Проходите, проходите... — прозвучал приветливый и словно помолодевший голос Евдокии Павловны.

В сторону отодвинулась занавеска, сберегавшая драгоценное тепло, Степанов пригнулся и нырнул головой вперед...

На столе — коптилка, за столом — Борис. Он напряженно смотрел в сторону двери: кого это бог принес? Степанова вскоре узнал, однако выражение напряженного внимания не исчезло...

— Здравствуй, Борис!

— Здравствуй... — Нефеденков встал и пожал протянутую товарищем руку. — Садись.

— Я рад тебя видеть, Борис. Ни секунды не сомневался в тебе. — Степанов нащупал ногой табуретку, сел.

— Спасибо.

— Я тоже сомневалась не в своем сыне, а в сыновьях других матерей, — сухо сказала Евдокия Павловна. — Что же будет, если мы начнем жить не разумением своей совести, а упованием на мудрость другого? Ведь Турин спал с Борисом в одной землянке! Однако своей совести не доверился... Впрочем, хватит об этом: у кого что болит, тот о том и говорит. Я сейчас угощу тебя чайком, Миша.

— Что вы! Что вы! Не надо чаю, я завтракал, Евдокия Павловна, — запротестовал Степанов.

— Надо, Миша, надо.

Нефеденкова чиркнула спичкой, щелкнул замок керосинки, на потолок вскинулся и встал на свое место неясный желтый кружок. Сильнее запахло копотью.

— Я разденусь... — сказал Степанов, снимая шинель.

— А не замерзнешь? — спросила Евдокия Павловна. — Впрочем, сейчас станет теплее.

Только теперь Степанов обратил внимание на то, что Борис сидит в ватнике, Евдокия Павловна — в пальто.

Холод! И это сейчас, когда еще не ударили настоящие морозы!

— Где думаешь работать? — спросил Бориса Степанов.

— До лета где угодно. А потом подготовлюсь — и в духовную семинарию. — Борис смотрел с вызовом: «А что?! Запрещено, что ли?..» — Не бойся, поступлю в юридический, если пройду. Буду стоять на страже законности... Порадовался за тебя: работаешь с большой отдачей. Хвалят.

Степанов покосился на Бориса: не знаешь, как я провинился, как мучает меня совесть, а то бы так не говорил!

— Да, да, — подтвердил Борис. — Хвалят!

Степанов, чтобы не вступать в спор по этому поводу, лишь махнул рукой: пустое!

— Зря, Миша, скромничаешь. Ты в классе был нашей надеждой, как говорил Владимир Николаевич, и приятно, что оправдываешь ее. Хорошо, что твое влияние в городе растет.

Степанов поежился — от неуютности, от холода, от невозможности рассказать Борису о том, что тяготило его, об истории с Ниной, с Леней Калошиным, о завтрашних заботах. Что сейчас Борису его беды, его заботы!.. Справиться бы ему со своими...

— Евдокия Павловна, вам карточки дали? Прописали?

— Да, да, Миша... Наверное, и ты руку приложил? Спасибо тебе!

— За что?.. И ты, Борис, не тяни, оформляй все...

Поговорили о том о сем, а тут подоспел чай. Степанов захватил с собой граммов двести хлеба и несколько кусков сахара. Намеревался отдать сразу, да совсем забыл. Сейчас вспомнил, достал из кармана шинели, положил на стол. За скромным чаем Борис вдруг яростно сжал кулаки:

— Эх вы! Нину чуть не загубили! Она здесь родилась, выросла, хотела работать с вами. А вы!..

И по тому, каким Степанов неожиданно увидел Бориса — ожесточившимся, решительным, с глазами, не предвещавшими ничего хорошего, — он понял, что этот невысокий и не богатырского склада, прекрасно воспитанный Борис, поклонник Блока и Тютчева, способен на решительные поступки.

Евдокия Павловна незаметно для сына дотронулась до колена Степанова рукой, как бы предостерегая его.

— Боря, — как можно осторожнее сказал Степанов, — Нину в комсомоле восстановили... Работает... Ну не в Дебрянске, в другом городе. Разве это так важно? Так ей самой, может быть, легче...

Но Борис словно не слышал:

— Когда я вернулся и увидел Нину, я поразился ее глазам. В них не было жизни. Я пришел к ней в сарайчик. Как она обрадовалась мне! Как будто я сделал для нее невесть что. Какая она была ласковая! Как ловила каждое доброе слово, каждый знак внимания и доверия!.. Больше ей ничего и не нужно было...

Борис отпил глоток чаю, но чай застревал в горле, и Борис отставил чашку.

— Ты говоришь, работает, восстановили. Но такие травмы не проходят для человека даром. И никто не виноват. Вот в чем дело: нет виноватых!

Степанов, который ни одним словом не перебил Бориса, приложил ладони к вискам, сжал голову. В голове звон становился пронзительным, жгучая боль все чаще и чаще быстрой молнией пробегала в затылке.

— Что с тобой, Миша? — первой заметила неладное Евдокия Павловна. — Голова?

— Ничего... Ничего...

— Аспирина бы таблетку... Но аспирина нет. Хотя подожди...

Она поднялась, достала из-под койки маленький фанерный чемоданчик и стала копаться в нем.

От керосинки в землянке заметно потеплело, но это всего на каких-нибудь полчаса. У потолка запах копоти был ощутимей, крепче. Лампадка у черного лика в углу, заметил Степанов, не горела.

— А где же хозяйка? — кивнув на икону, спросил он, лишь бы нарушить молчание.

— В область уехала, — ответила Евдокия Павловна, задвигая чемодан обратно под койку. — Вот, Миша... — Она подала ему порошок в желтоватой провощенной бумаге. Евдокия Павловна явно дожидалась момента, когда можно было вмешаться и притупить остроту разговора, успокоить сына: — Вот я и говорю, Боря, что непросто все. Конечно же!.. И с Ниной непросто.

Степанов всыпал порошок в рот и запил остатками чая.

— Непросто, — подхватил Борис. — Наши предки разбили шедших на Русь половцев, монголо-татар, псов-рыцарей, шведов, поляков, французов... Мы разобьем и этих фашистских недоносков, которые, на свою беду, не знают истории. Но какая будет жизнь на этой трижды испепеленной земле? — спросил Борис, не обращая внимания на старания матери и Степанова успокоить его.

— Такая, какую мы все заслужим своими делами. Не лучше и не хуже.

— Вот я вернулся... Что мне теперь делать? Скажи...

— Хотя я и не директор, говорю: приходи к нам в школу работать и будь непримирим к пошлости, нежеланию думать, мещанству.

— В школу? Я же не кончил вуза!

Борис рос без отца и после окончания школы, вместо того чтобы, как большинство одноклассников, поступить в институт, пошел библиотекарем на прядильную фабрику. Он не мог, как говорил, сесть на шею матери: на одну стипендию не проживешь, а мать бы выбивалась из сил, но обязательно подбрасывала ему деньги. Библиотекарем Борис стал неплохим, кроме того, иногда читал лекции о литературе, и они пользовались успехом у молодежи.

— Не кончил вуза. Неважно. Есть такие, кто кончил два, а толку от них — грош. Преподавай черчение, труд, физкультуру, пение... Хочешь — немецкий, ты хорошо его знаешь...

— Да ну его к черту! Теперь его учить и силой не заставишь. А вот черчение... — Борис задумался. — Черчение, пожалуй, смог бы с грехом пополам... До прихода дипломированного... Эх, библиотеку бы мне... Собрать из ничего, выбить из области и работать... Очень даже привлекательно!

— Так приходи, Борис, в понедельник... Чего откладывать? Вера тебя знает. С Галкиной мы поговорим. Впрочем, прийти можешь уже завтра — на станцию, на воскресник...

— А что? Вот возьму и приду.

— Ждем.

Когда Степанов возвращался от Бориса, по дороге на Ружное проехала зеленая новенькая трехтонка, полная молодых солдат в полушубках и шапках.

Степанов увидел их, и его словно что-то толкнуло: «Действуй! Не упускай момент!» Но что именно нужно было делать? Остановить машину и просить помощи?..

Трехтонка скрылась за пригорком... И хотя Степанов сам не знал, как он должен был поступить, но вид этих здоровых ребят, машины, без всякого усилия преодолевшей крутой подъем, не мог не оставить ощущения, что он упустил то, что должен найти: рабочую силу, машины и шоферов. Ему даже представилась картина, как эти ребята без особого труда и наверняка с шутками и прибаутками разгружают

платформу за платформой, перевозят доски и бревна на уже подготовленные площадки для строительства барачков.

Степанов даже остановился, словно можно было вернуть машину с гвардейцами, которая была поистине чудесной силой. Но шум мотора затихал, затихал и наконец перестал быть различимым...

Минут через двадцать Степанов был уже возле сарайчика, в котором жил дядя Митя. Постучал в дощатую, обитую клоками лохматого войлока дверь и вошел в сумрак человеческого жилья с запахами копоти и керосина. Степанов поспешил захлопнуть за собой дверь, и неяркий день словно померк. Окошечко было маленьким, перед ним сидел дядя Митя и крутил ножную мельницу. Увидев вошедшего, оторвался от работы, поднял голову, пытаясь распознать, что это за посетитель.

— Дмитрий Иванович, это я, Степанов...

Но дядя Митя не слышал, а понять сказанное по движению губ не мог: темно. Он поднялся и наконец-то узнал вошедшего:

— А-а, Степанов! Проходи, садись.

— Ты не очень спешишь? — осведомился хозяин. — А то я закончу, и тогда спокойно поговорим.

Степанов удивился: дядя Митя словно угадал, что к нему пришли по серьезному делу...

— Конечно, подожду, Дмитрий Иванович...

Хозяин вернулся к прерванной работе и, казалось, забыл о присутствии Степанова. Ножная мельница, пожалуй одна из немногих в городе, сооружение капризное. Принцип работы ее такой же, как и у ручной, которую Степанов уже видел в сарайчике учителя, только здесь был прилажен ножной привод, поэтому мельница была более мощной.

Рассеянно разглядывая жилище, Степанов обратил внимание на два топчана, стоящие в противоположных углах, и вспомнил, как Таня Красницкая рассказывала, что дядя Митя приютил у себя совершенно незнакомую больную старуху, три сына которой на фронте...

Вошла женщина, закутанная в платок, и спросила:

— Готово, Иваныч?

Очевидно уже зная, кто и зачем пришел, дядя Митя посмотрел на часы и сказал:

— Я же тебе велел в двенадцать...

— Есть хотяют... — ответила, оправдываясь, женщина. — Им не объяснишь...

— Посиди. — Дядя Митя кивнул на топчан, на котором сидел и Степанов.

Женщина хотела сесть рядом, но, рассмотрев, кто это, устроилась на краешке.

Минут через десять зерно было смолото, и дядя Митя отдал муку женщине. Та поблагодарила и быстро ушла.

— Ну что, Михаил Николаевич?.. — обратился к Степанову дядя Митя. — Дел невпроворот, а? Зачем тебе понадобился старый инвалид? Ответствуй. — Он подсел к нему поближе.

Не мешкая, Степанов выложил ему все свои заботы и закончил, как бы подводя итог:

— Людей, думаю, найдем, а вот шоферов!

— Хм, хорошо... Один шофер, считай, у тебя уже есть. — Дядя Митя ткнул пальцем себя в грудь. — Прав, конечно, не имею, но приходилось всякую технику водить. Справлялся. А вот другого!.. За другим нужно в Девять Дубов идти, раз такое дело. Командир у меня там, младший лейтенант... Тоже раненный, но с машиной справится. Вот только не свалился бы, не дай бог.

— Сходите, Дмитрий Иванович! Другого, наверное, ничего не придумаем...

— Сходить-то схожу, а вот кто будет зерно молотить? Ко мне в день человека три-четыре обязательно приходят. Может, совладаешь с этой техникой? — Дядя Митя указал на мельницу.

— Придется совладать.

Дядя Митя возвратился под вечер. Вошел, не раздеваясь, сел, уставший, и тяжело вздохнул. Степанов, все еще крутивший мельницу, подумал, что дело плохо, но спрашивать ничего не стал.

— Грудь у него болит, — заговорил наконец Дмитрий Иванович. — Здорово его фрицы покалечили... Но сказал, что придет и за руль сядет...

Турин возвращался из поездки по району через Бережок. Подбросила его до Дебрянска случайная подвода: километрах в шести, на перепутье, попалась ему телега, на которой молодуха везла в больницу мальчишку лет пяти. На просьбу Турина подкинуть до города ответила радушным согласием, но предупредила, что у мальчонки тиф.

— Если бояться тифов, нужно жить на небесах... — ответил Турин.

Подвода уже проехала школу, как Турин вдруг решил заглянуть к Степанову и, поблагодарив молодуху, спрыгнул с телеги. Он знал, что Миша не спит: когда подъезжали к школе, в щелке между рамой и светомаскировочной шторой он увидел желтый свет.

Действительно, Степанов не спал, сидел за столом и листал однотомник Пушкина.

— Почему вернулся раньше времени? — спросил Турина, намереваясь хотя бы поставить его в известность о просьбе Захарова.

— А я и не вернулся, — ответил Турин, садясь за стол.

— То есть как?..

— Встану в семь — и в противоположный конец района: даешь хлеб!

Ваня осведомился, как Степанов живет, осмотрел немудреное его хозяйство и, опечалившись за товарища, сказал, что послезавтра же узнает насчет общежития.

— Если я школе не мешаю, мне переезжать незачем, — мрачновато заявил Степанов.

Турин отметил про себя необычный тон разговора и спросил:

— Почему это?

— Мне здесь неплохо, а под новую крышу можно вселить стариков, женщин, детей.

— Посмотрим, — неопределенно проговорил Турин и стал рассказывать о поездке: — Трудно что-либо понять... В одном месте — пусто, в другом — густо: где-то немцы не успели вывезти, где-то полицаи и старосты запрятали хлеб...

Конечно, не мог не поведать и о своих злоключениях. Ночуя в доме председателя колхоза в одной деревне — а он за эти дни побывал в семи деревнях и селах, — так угорел, что еле остался жив; переезжая из Опочек в Верхние Выселки, чуть не провалился с телегой под мост:

построили наспех, а потом про него забыли до случая... В общем, намотался. И все спешил, спешил...

Турин положил руки на стол, на руки — голову. Видно было, как он устал, как измотался в этом путешествии на случайных подводах и пешком: райисполкомовский Орлик был занят.

«Но если так устал, зачем зашел?» — подумал Степанов.

И когда ему показалось, что Иван сейчас заснет, тот поднял голову:

— Борис-то!.. Руки не подал, при всех отвернулся!..

«Вот оно что! Обида заела!»

— Так тебе и надо! — разделяя слоги, по-прежнему мрачноватым тоном ответил Степанов.

Турин повернулся к Степанову: что это он?!

Тот все еще сидел за столом и листал Пушкина, выхватывая из стихотворений отдельные фразы и слова и не понимая их смысла.

— Черт тебя подери!.. Ничем нельзя заменить голос собственной совести... Сколько бы авторитетных организаций ни существовало!.. И если ты заглушаешь этот голос, то совершаешь нечто равносильное предательству или даже само предательство, — закончил Степанов. — Почему же Борис должен подать тебе руку?

Побагровев, Турин встал.

— Что ты говоришь!

— По сути, так и есть: предательство!

— Не слишком ли круто берешь? — спросил Турин, немного опомнившись после внезапного нападения.

— Нет, не слишком. Это относится, впрочем, и ко мне.

— А к тебе-то за что?

— За многое.

Поняв, что и себе Степанов не прощает каких-то ошибок, Турин сел и, утишая свою ожесточенность, забарабанил пальцами по столу.

— Ты, Миша, вот что должен понять... Мне оказано великое доверие. Вручена власть. Вместе с высоким званием мне придан и авторитет этого звания, хочу я того или не хочу. Автоматически! Но я и ответствен, и у меня есть обязанности, извини за высокие фразы, перед партией, перед народом! Не могу авторитет этого звания ронять. Не имею права!

— Так вот и не роняй! — заметил Степанов.

— Мне приходится другой раз наступать на горло собственной песне...

— Однажды вот так наступишь — и задохнешься! — отпарировал Степанов. — Да-а... получается-то вот что: ты готов удушить себя ради авторитета высокого звания, а авторитет-то твой, когда наступаешь на собственную совесть, неизменно падает, если не летит кувырком.

— К примеру?.. — спросил Турин.

— Для тех, допустим, кто знает историю Нефеденкова, твой авторитет упал.

— Нет, — уверенно ответил Турин. — Ошибки, говоришь... Срывы. Знаешь, Миша, я работаю честно, с полной отдачей и пока еще замечаний и тем более выговоров по партийной линии не получал... Да, кстати, ты что это за кашу заварил с платформами какими-то? Я дядю Митю встретил...

Степанов коротко рассказал о своем посещении Захарова, о том, что сам, как говорится, напросился на задание, да еще такое нелегкое.

— А, ну-ну... — сказал Турин. — Давайте, разгружайте. Стройматериалы городу нужны. И не забудь про динамо-машину, они мне всю голову продырявили, эти железнодорожники: забирай да забирай, хотя вроде бы и договорились, что подождут...

— Да, надо воспользоваться случаем: будут машины.

— Вот-вот! — наставительно проговорил Турин. — Давай, действуй, а то меня не будет...

Степанов почти не сомневался, что люди не подведут его, придут на воскресник: был высокого мнения не о себе, а о тех, кого узнал за эти тяжелые месяцы, и все-таки — волновался. Дойдя со Советской улицы, остановился, огляделся.

По Советской к станции тянулись люди. Незнакомые и те, кого он знал. Мать Иры... Пелагея Тихоновна Акимова... Группа бережанских переселенцев во главе с так запомнившейся ему бойкой молодкой... Девушки из бригады дяди Мити... Паня со старшими школьниками...

— Здравствуйте, Михаил Николаевич! — присоединилась к Степанову Галкина. — Смотрите, народ-то идет!

Их догнала мать Лени Калошина:

— Михаил Николаевич, я не могу... Ребенок! А Леня пошел...

— Что вы, Юлия Андреевна, идите домой!

Громко сигналив, словно пробиваясь сквозь толпу, подпрыгивая на ухабах, проехала зеленая машина с военными. В кабине Степанов разглядел Веру в знакомом пальтишке. Она приветливо помахала ему рукой в огромной варежке.

На углу Дзержинской к ним присоединился дядя Митя. Он поздоровался и доложил Степанову:

— Прибыл мой командир. Там уже. — Он кивнул в сторону станции. — Сейчас мы на машины...

На перроне они увидели Владимира Николаевича и Бориса Нефеденкова. Стояли, о чем-то оживленно беседовали. Рядом — Евдокия Павловна.

— Владимир Николаевич, а вы-то здесь зачем?..

— Ну как же, Миша, иначе?.. Может, и я схожусь на что-нибудь...

«А Таня на дежурстве, — вспомнил Степанов. — Жаль!»

Люди все подходили, и он увидел, что идут не только те, кто может работать, но и старики, инвалиды, дети. «Если не помочь, то хоть побыть вместе со всеми... — подумал Степанов. — Конечно, ничего особенно масштабного и эффектного сегодня не произойдет. Не будет яростных атак, залпов могущественных «катюш», тщательно продуманных в штабах операций по окружению противника, массивных ударов с воздуха... Ничего этого не будет. Но и без того, что сделают сегодня дебрянцы, невозможна жизнь...»

На путях, около платформ, уже хлопотали солдаты — времени у них было в обрез. Ими руководил вернувшийся ночью Мамин. Там же суетился, прыгая на своих костылях, неугомонный Гашкин. Размахивая руками, что-то горячо доказывал солдатам Латохин.

Степанов отыскал Веру, Власова, и они втроем быстро наметили, как распределить людей по участкам работы. Сгружают с платформ пусть солдаты, таскать придется женщинам и подросткам, а вот грузить на машины будут мужчины — женщинам не осилить.

Из своего закутка в пожарном сарае выбежал начальник станции, показал пальцем в конец платформы, где громоздилось что-то укрытое

мешковиной.

— И это увозите! Хватит мне ее сторожить!

Несколько женщин пошли туда, откинули мешковину. Под ней нечто холодно-металлическое и, видно, очень-очень тяжелое.

— Что это, бабы?

— Да кто его знает...

— Динамо это. Динамо-машина! — пояснил невесть откуда появившийся Гашкин. — Электрический ток будет давать... Вот отроем где-нибудь подвал кирпичного здания, и там будет электростанция. Со временем, конечно...

— Что же, — совсем робко спросила бережанская молодка, и это так не вязалось с ее характером, — у нас и свет будет? И радио? Может, и кино тогда? «Волгу-Волгу» увидим... «Чапаева»?..

— Сюда все! Идите динамо грузить! Свет будет!

— Кто там басни рассказывает?!

— Почему басни?.. Вот оно, динамо...

Женщины попробовали сдвинуть машину с места.

— Ой, бабы! Да она стопудовая!.. Животики надорвем, не сдвинем... Надо мужиков звать!

В конце концов динамо погрузили на машину солдаты.

В самый разгар работы, урвав свободную минутку, на станции появился Захаров. И не сразу понял, что происходит. Зачем здесь столько народу? Зачем здесь дети, старики? И кто без его ведома вызвал военных? Уж не напутал ли Степанов чего? Но, чем больше он вглядывался в лица людей — и тех, кто работал, и тех, кто только смотрел, — тем больше начинал понимать происходящее. Впервые после двадцати двух месяцев фашистской оккупации в городе организовали воскресник! А ведь люди и слово-то это, верно, забыли!..

Захаров не знал, как выразить им свою признательность. Сказать речь? Но к чему здесь слова? Да и не найдешь сейчас таких слов, а может, их и вовсе нет...

Он подошел к женщинам, тащившим толстое бревно.

— А ну, бабоньки, потеснитесь, дайте и мне поразмяться...

На лицах женщин неуловимо проскользнула растерянность, смущение. Сам секретарь райкома партии!

Через час Захаров ушел к своим неотложным и нескончаемым делам. Их не могли отменить и воскресенья...

А люди продолжали таскать и грузить тес, кирпичи, кровельное железо, стекло.

Как бы ничего особенного. Ничего примечательного...

Часа в три, перед самыми ранними сумерками, начал медленно и торжественно падать белый пушистый снег. Он покрывал черные пепелища и развалины, бугры от домов и одинокие печи. Дебрянск неузнаваемо преобразался. Эдакий чистенький, свеженький городок из нескольких домов, десятков сарайчиков и землянок, с клубом и двумя старыми церквями! А пройдут годы, пять или десять, — какой непохожий на современный, какой неузнаваемый Дебрянск отстроят здесь! Какая непохожая на нынешнюю будет жизнь в нем! И не забудется ли под напором других событий, окончательно не отойдет ли в неинтересное прошлое жизнь Дебрянска поздней осенью тысяча девятьсот сорок третьего года? Ведь не случилось в нем взволновавших мир событий, интригующих происшествий, не прогремели в нем битвы, повернувшие ход истории... Но в нем жили и живут люди, которые были и остались русскими. Правда, за то, чтобы они имели честь ими зваться, и осталось пока в Дебрянске из двадцати пяти тысяч всего пятьсот человек.